

ЛЕХАИМ N 2 (202)

**ФЕВРАЛЬ
2009г.**

**КИСЛЕВ
5769**

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА, СОЗНАНИЯ И ДУХА

לִיבּוֹ אֲנֵהוּ אֵינִי עֹיֵתִי - אִיךְ אֲנֵי אֵיךְ

О проблемах с речью и заикании

О хрипоте

<...>Вы пишете о проблемах со здоровьем, прежде всего о хрипоте. Сообщаете, что консультировались с врачами; им не удалось определить точную причину хрипоты, но Вам предписали отдых, по крайней мере для голосовых связок – чтобы Вы как можно меньше разговаривали. Полагаю, стоит спросить у Вашего врача, как Вам общаться, чтобы речь не утруждала Вас, носила бы, так сказать, “поверхностный характер” (в физическом плане, но не в духовном – Б?же сохрани!).

За последние несколько десятилетий ораторы – даже вполне здоровые – освоили способ речи, не приводящий к ненужному напряжению голосовых связок (в их числе есть люди, которым приходится говорить довольно много).

Основная особенность этого метода, как следует из самого слова “поверхностный”, состоит в том, чтобы речь человека, даже говорящего громко и взволнованно, затрагивала бы только внешние области вокализации, но не голосовые связки.

Конечно, научиться говорить таким образом было бы очень полезно в Ваших нынешних обстоятельствах – и вполне возможно, это пригодилось бы даже после того, как Вам станет лучше и Вы полностью выздоровеете.

Как победить заикание

Вы пишете, что страдаете от заикания и несколько врачей уже лечили Вас, но безрезультатно.

Поскольку врачи-специалисты обычно успешно справляются с заиканием, по крайней мере в известной степени, Вам нужно найти именно такого специалиста и проконсультироваться с ним.

<...>Кроме того, согласно нашим благословенной памяти мудрецам, Тора и мицвот – это сосуд, из которого мы получаем благословения Б?жьи. Поэтому Вам следует с большим прилежанием изучать Тору и тщательно соблюдать мицвот. Тем самым увеличатся благословения Б?жьи на все, что бы Вам ни потребовалось.

<...> Замечу также, что, как правило, заикание вызвано отсутствием мира в душе, неудовлетворенностью собой и недостаточной уверенностью в себе, страхом перед людьми. Вне всяких сомнений, заикание связано не с физиологией, а с нервами.

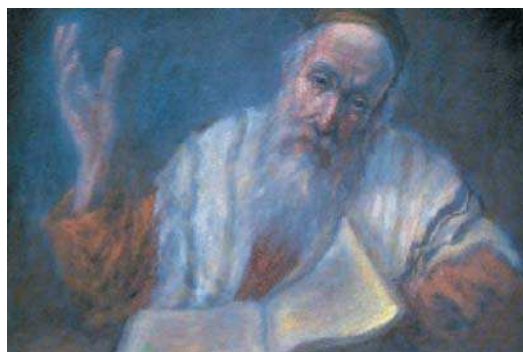
<...> Поскольку физическое связано с духовным, то в ситуации, подобной Вашей (когда возникают проблемы с речью), Вам нужно улучшить Вашу “мицва-речь”, то есть произнесение слов Торы и молитв.

Вам также следует строго воздерживаться от нецензурных слов, от оскорбительных речей и даже от разрешенных, но несущественных слов – от всего того, что перечислено в комментарии Рамбама на Мишну, в конце главы Авот. Состояние нервозности можно преодолеть, когда размышляешь о предметах, укрепляющих веру в Б'га, – особенно о том, что Б'жественное провидение распространяется на каждый аспект жизни человека.

Благодаря этому для Вас не будет иметь значения, что думают о Вас люди. Вы станете гораздо менее чувствительны к реакциям извне, что повысит Вашу самооценку.

Несомненно, лечащий врач даст Вам дополнительные рекомендации и подробно расскажет, как преодолеть заикание. Кроме того, когда Ваше общее здоровье улучшится, успокоятся нервы, последствия нервозности, то есть заикание, уменьшится.

<...> Пусть в Вашем сознании навсегда запечатлится мысль: “Представляю Г'спода пред собой всегда“ (Теилим, 16:8). Он есть воплощение добра и желает добра Своим творениям, Он направляет каждого по уготованной ему Б'жественной стезе, как подробно разъясняет нам учение хасидизма.



<...> Когда у Вас в сознании запечатлится эта мысль, уменьшатся и ослабнут нежелательные явления – следствие неуверенности в себе и робости – как об этом сказано в стихе: “Г'сподь со мной, не утрашусь” (Теилим, 118:6).

<...>Когда Вы укрепитесь в вере, Вас не будет пугать необходимость выступать перед людьми, и Вы начнете говорить спокойно. Мало-помалу речь Ваша улучшится.

Р. С. Я бы также настоятельно советовал Вам проверить тфилин, чтобы убедиться в их кошерности согласно еврейскому закону, и давать несколько монет на цдаку перед утренней молитвой в будние дни.

О нечеткой речи

Вы сообщаете, что Ваша дикция и артикуляция требуют исправления.

Проконсультируйтесь со специалистом в этой области, поскольку в последнее время открыты многие новые методы эффективного лечения. Проблема дикции почти всегда связана с нервозностью и мыслительными проблемами, поэтому чем меньше внимания Вы будете обращать на Вашу манеру речи и расстраиваться из-за того, что она не такая, какой должна быть, тем эффективнее будет лечение, и Ваше состояние улучшится.

По мере укрепления Вашей веры в Б?га, Творца и Вершителя судеб мира, Который видит все и каждого направляет по уготованной ему Б?жественной стезе, страхи и огорчения все реже будут посещать Вас, и Ваша речь исправится. Ибо, размышляя над сказанным выше, Вы придете к выводу, что нет причин огорчаться, ведь Б?г есть “Воплощение добра” и “в природе Того, Кто добр, творить добро”.

Очевидно также, что чем усерднее и прилежнее Вы будете изучать Тору и соблюдать мицвот, тем больше благословений будет Вам на все Ваши дела. Поскольку всякое дело нуждается в Б-жественной помощи, Вам нужно соблюдать традицию ежедневного чтения Теилим после утренних молитв, согласно месячному циклу чтения, так же как давать в будние дни несколько монет на цдаку до утренней молитвы. Кроме того, проверьте ваши тфилин на кошерность.

Дам и практический совет: почувствовав, что Вам трудно произнести какие-то слова, не пытайтесь произнести их немедленно. Воздержитесь от произнесения одного-двух слов или поговорите о чем-то ином. Когда напряжение от неудачной попытки ясно и четко произнести конкретное слово спадет, ситуация исправится сама собой.

Об алексии

<...> Вы пишете об N, который не может складывать буквы в слова. Видимо, этот человек страдал от разновидности алексии, так называемой “словесной слепоты”.

Вам следовало бы проконсультироваться со специалистом в этой области. Целесообразно также стремиться повышать свой статус в других сферах деятельности: очень часто люди, страдающие подобными заболеваниями, успешно развиваются и трудятся в иных областях – иногда даже достигают уровня выше среднего.

"НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ" СПСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ

Ааде́ Еацад

Эти строки я пишу в Израиле, в дни, когда контртеррористическая операция ЦАХАЛ в Газе еще продолжается. Надеюсь, что, когда вы раскроете этот журнал, очередной раунд военных действий на Ближнем Востоке завершится и люди вздохнут свободно. Но сама тема противостояния терроризму в любом случае будет существовать, пока цивилизованные страны не искоренят террор полностью.

Когда Армия обороны Израиля начала операцию “Литой свинец” с целью обезопасить граждан страны от непрекращающихся обстрелов из сектора Газы, пресса и чиновники ООН тут же обвинили еврейское государство в “непропорциональном применении силы”. Для российских евреев и для граждан России в целом это, кстати, знакомая песня. Всего полгода назад те же журналисты и чиновники обвиняли Россию в “непропорциональном применении силы” на Кавказе. А уж сколько подобных обвинений раздавалось во время войны с террористами в Чечне, про то и говорить не стоит.

Разговоры о “непропорциональном” применении силы основаны на изначально неверном тезисе. Операция в Газе рассматривается как своего рода “акт отмщения”. Критики Израиля в принципе согласны, что еврейское государство имеет право на самооборону. Но тут же добавляют, что оборона должна быть “адекватной”, то есть ответный удар не должен быть более разрушительным, чем предшествовавшая ему атака боевиков.

Эта логика основана на архаичной правовой норме, существовавшей в древности, на принципе “адекватного повреждения”: “око за око, зуб за зуб”. Между тем этот принцип отвергнут уже столетия назад. В Талмуде особо подчеркивается, что принцип “око за око” следует трактовать как обязанность преступника заплатить за ущерб. Кровная месть сохраняется только в самых примитивных культурах.

Еврей вообще не имеет права мстить. Б-г мстит за кровь убиенных, это не прерогатива человека. В Торе есть специальное указание на это: “Не мсти и не имей злобы...” (Ваикра, 19:17). Талмуд толкует этот запрет расширительно: даже если, к примеру, твой сосед просит у тебя молоток, а сам он, когда ты у него попросил, ответил отказом – даже в этом случае “ответный отказ” не допускается. Наши мудрецы учат, что мстительность – это показатель плохой натуры человека, каждый должен изживать в себе это качество.

Операция в Газе – не “акт возмездия”. Здесь действует иная логика – логика защиты невинных людей от убийц. Израиль всегда стремился к одному: к безопасности для своих граждан, для своих детей. А его враги делали все, чтобы этой безопасности не было. Они засылали террористов-самоубийц, захватывали заложников, взрывали автобусы... Случались периоды относительного затишья, но каждый раз они сменялись очередной террористической войной против евреев.

Вся жизнь наших братьев в Израиле протекает под огнем врага. Один мой сын учится в ешиве на юге – сейчас там закрыты школы, потому что главари “Хамас”

официально объявили еврейских детей “законной целью” для своих ракет. Снаряды долетают до Ашдода, Ашкелона, Беэр-Шевы, жизнь людей протекает не между работой и домом, а между бомбоубежищем и больницей.

Так жить нельзя. Защита жизни людей не может быть “непропорциональной”. Есть угроза жизни – государство должно применить все средства, чтобы ее устранить.

Критики Израиля обвиняют нас в гибели гражданского населения в Газе. Но никто даже не отрицает, что террористы используют гражданское население как живой щит: они запускают ракеты по израильским городам с территории школ, мечетей, жилых домов... В подвалах больниц размещаются склады снарядов и мастерские, где собирают ракеты!

Когда израильская армия узнает, что в жилом доме или школе находятся объекты террористов, тут же оповещается гражданское население и дается время на эвакуацию. Главари “Хамас” в ответ угрожают этим людям: покинете дом – это будет “пособничество сионистам”. По сути, Израиль куда больше ценит арабских женщин и детей, чем палестинские власти в Газе. Как сказала в свое время Голда Меир: “Мир с арабами будет возможен только тогда, когда они начнут любить своих детей больше, чем ненавидят наших”. Но мы своих детей ценим не меньше, чем палестинских, и будем защищать их всеми средствами.

То, что число жертв в Израиле относительно невелико, не должно вводить в заблуждение. Это не потому, что террористы не хотят больших жертв. Просто Б-г помогает Своему народу. Но наш исторический опыт говорит, что мы можем быть уверены в этой помощи, только если сами будем поступать, как Б-г того хочет.

Есть парадокс в израильской жизни: стоит государству пойти на уступки ради мира, дело кончается войной. Два года назад, когда Ариэль Шарон вывел евреев из Газы “ради продвижения мирных соглашений”, многие предупреждали, что это опасный шаг. Не только потому, что политики отдают землю, которую Б-г обещал евреям, но и потому, что на эту землю сразу же придет террор. Так и произошло. Слава Б-гу, евреев не начали эвакуировать “ради мира” из Иудеи и Самарии. Если бы так случилось – сейчас ракеты рвались бы на улицах Иерусалима и Тель-Авива.

Ребе всегда предостерегал от территориальных уступок. Когда мы отдаем землю врагам, говорил он, это лишь дает им новые возможности, чтобы убивать евреев. При этом мало можно найти таких миролюбивых людей, как Ребе. Просто для него мир воплощался не в договорах политиков, а в реальной безопасности людей.

Этот подход основан на наших религиозных ценностях. В “Шульхан арух” (Законы шабата, 329:6-7) сказано, что если чужаки осадили еврейский город, то, даже если они не говорят, что пришли убивать, но только лишь есть такая угроза, – надо брать оружие и сражаться с врагом, даже в нарушение субботы. Последнее замечание показывает, что оборонительная война является категорическим императивом для верующего еврея.

В Торе сказано: “Того, кто пришел убить тебя, убей первым”. Нельзя ждать, пока враги нас убьют, надо пресечь саму возможность для них нас убивать. Пусть это противоречит новомодным теориям, что нельзя трогать убийцу, пока он не убил. Зато следование этой заповеди спасает жизни людей. Для нашего народа, для нашей веры – это важнее.

РАББИ ЯАКОВ-ЙОСИФ. ИЗ ПОЛОННОГО

וַיֵּרָא אֶל-יְהוָה וַיִּשְׁמַע אֶת-קוֹל יְהוָה וַיֹּאמֶר אֶל-יְהוָה אֲנִי אֶבְרָם

Рабби Яаков-Йосеф не оставил камня на камне от крепости раввинизма и разнес в пух и прах казуистический метод его учения. Он расчищал место, чтобы взрастить хасидизм, а бразды правления передал цадикам.

Он смотрел на весь необъятный материальный мир через призму духовности: в любой материи, в любой вещи он видел ее душу, ее Б-жественность. “Все в глубине своей несет искры Шхины, Б-жественного присутствия, как сказано (Теилим, 103:19): „И царствие Его владеет всем,,. Нет ничего, что было бы оторвано от Него, царствие Его владеет всем, и все есть простое единство, как черепаха, панцирь которой растет из нее самой. Но тайна эта открыта не всем, а лишь возвышенным, коих немного”. И еще в том же духе: “весь видимый мир – не более чем обман зрения, на самом деле все есть сущность от сущности Его. <...> Есть несколько одеяний и покрывал, за которыми прячется Всевышний”. Он высказывался и совсем афористично: “Природа есть Шхина”. Она, Шхина, витает и обитает в этом громадном теле – видимом материальном мире, который является “престолом духовности”, поскольку “ни одно материальное тело не может существовать без духовной составляющей – своей души”. Названия вещей, на его взгляд, определяют их духовную основу: “духовное в еде зовется „хлебом,, а в платье – „одеждой,,”. С той же позиции рабби Яаков-Йосеф рассматривал и человека, в частности еврея. “Человеческое тело – не более чем платье человека, – писал он, – и только душа в нем называется человеком”. Этот взгляд он распространял и на народ Израиля в целом: “Подобно тому как тело человека, состоящее из 248 органов и 365 сухожилий, является всего лишь оболочкой, а не самим человеком, и только душа его (точнее, три составляющие души: нефеш, руах, нешама) и есть человек, так и в народе Израиля есть тело из 248 органов и 365 жил, а праведники – его душа, жизненная сила поколения”.

Здесь вырисовывается основная концепция хасидизма по рабби Яакову-Йосефу: простой народ сам по себе не имеет значения, “простой народ – неплодородное дерево”, “эрев рав, т. е. сброд многочисленный”. Народ – это неодушевленный материал, не имеющая жизненных сил субстанция; возможность его существования зависит только от души – цадика. Цадик – “основа мира”, глубина, “внутренняя часть сущего”, он – “душа и витальность мира, а остальные люди подобны органам тела, обволакивающим душу”. Цадик – это “сердце мира, а другие люди – части тела, черпающие жизнь из сердца, это канал, по которому животворящий поток исходит из источника жизни и поступает к остальным органам – людям его поколения”. Следовательно, цадик является посредником между народом и Б-гом, подобно “Моше, который был посредником между Израилем и Святым, да будет Он благословен”. Оттого народ должен приблизиться к цадику, связать себя с ним узами, потому что лишь тогда у него есть шанс “обрести духовную составляющую”. С помощью цадика у человека появляется реальная возможность выполнить задачу своего существования, ради которой он был создан, – “подчинить материю духовности и освятить Имя Всевышнего”, что и есть “верх совершенства”.



Титульный лист книги рабби Яакова-Йосефа “Бен-Порат Йосеф”

Средство же, которым человек может привязаться к цадику, – это вера. Он должен полностью и безоговорочно верить в праведника и исполнять все, чего тот потребует. “Надо верить в цадика абсолютной верой и не пытаться подвергнуть анализу его действия или оценить его поведение, а если увидишь, что он прибегает к скверным качествам, например ко лжи и т. п., не презирай его, ибо он использует их ради служения Небесам. <...> И помни: если ты привязан к цадику, ты привязан к жизни, то есть к Самому Всевышнему”. Цадик “полностью сливается со Всевышним, и они как бы становятся одним целым”, поэтому тот, кто привязался к цадику, “привязан непосредственно к Б-гу”.

Рабби Яаков-Йосеф предостерегает: “Привязанность к цадику не должна поддерживаться ради материального – чтобы тот попросил для тебя достатка и т. п., а ради духовного”. Духовность толпы несовершенна: “на простонародье, не сознающем величия и важности Торы, изучение Торы, молитва и ярмо заповедей лежат тяжким грузом, и соблюдают они законы и предписания по привычке – как обязанность, от которой не освободиться”. Простой еврей, “даже когда он занят духовным, молитвой например, помыслы его обращены к материальному, к делам мирским”. Исправить все это можно, только обрета связь с цадиком, когда “молитва простонародья соединяется с молитвой избранных, – это связь души с телом”, поскольку “материальное не может подняться кверху и быть услышано там без того, чтобы соединиться с духовным, и тогда вместе с духовным будет услышано и материальное”. Но понятно, что, даже поддерживая связь с цадиком, нельзя полагаться только на него: человек и сам должен пытаться

приподняться над собой и достичь высот, так же как лучше, “когда народ не полагается на героя, а сам способен воевать”.

Цадик всю свою жизнь занимается духовными материями и не может обеспечивать себя всем необходимым – это должна взять на себя его паства. “Простонародье, поддерживающее и обеспечивающее цадика, называется „несущими ковчег,,”, и при таком распределении ролей могут существовать обе части общества – духовная и материальная.

Что представляет собой цадик? Как человек достигает такого уровня, что его влияние воздействует на все поколение? Каковы должны быть поступки человека, которого хасидизм провозгласил посредником между “Б-гом и Шхиной”, т. е. между Б-гом и Его присутствием в материальном мире? Каковы особенности “высшего человека, живущего над природой”? Рабби Яков-Йосеф отвечает на эти вопросы так: цадик “все свое время проводит над Торой, в молитве и тшуве (т. е. покаянии), заботясь о душе и духовном”. Он тщательно и с радостью исполняет заповеди, за что прозван “живым”, от него “исходят слова Торы и поучение, ведь все заповеди, даже связанные с речью, такие, как молитва, изучение Торы и благословения, не более чем оболочка, одеяние, и необходимо постоянно направлять в них духовную основу и насыщать светом Бесконечного, которые и даруют им жизнь”. Он не устает повторять: “внешняя, явная оболочка еще не есть Тора, только глубинный духовный смысл есть Тора”, и добавляет: явная часть Торы называется “Торой человека”, а ее внутренняя, скрытая часть называется “Торой Б-га”, направить и раскрыть которую способен только истинный цадик.

Рабби Яков-Йосеф видит в цадике, держащем в своих руках все блага неба и земли и влияющем на весь мир, смысл всего сущего и призывает всех праведников на войну против йецер а-ра, злого начала в человеке. Сердцем он чувствует, что йецер а-ра изо всех сил пытается разобщить цадиков, чтобы те “не вышли против него единым фронтом”: там праведник умирает раньше времени, в других случаях “цадики и великие скитаются по бездорожью и не имеют сил вести реальную борьбу”. Сокрушаясь, он взывает к современникам: “Не на кого нам положиться, кроме как на вас – стоящих с нами здесь и сейчас, дабы вместе выйти на битву”.

5. Рабби Яков-Йосеф предписывает евреям приблизиться к цадик и полностью положиться на него, но также указывает, что и цадик, в свою очередь, обязан поддерживать связь с паствой. Ведь “как тело не может без души, так и душа не может без тела”. Духовное состояние праведника во многом зависит от народа, поскольку “недостатки народа сказываются также на цадике. <...> Весь мир – лестница, подножие которой – простой народ, а вершина – мудрецы, как сказано в Торе (Берешит, 28:12): „вершина ее достигает небес,,. И так как они – части одного целого <...> „ангелы Б-жьи,,. т. е. праведники, которые не пренебрегли своими обязанностями и исполняют свою миссию, „поднимаются вверх,,. И если поколение следит за своими поступками, главы того поколения могут подняться выше <...> а если, не дай Б-г, наоборот, – могут „спуститься,,. Как говорили мудрецы, Шмуэль Малый был достоин того, чтобы на нем покоилась Шхина, но поколение того не заслуживало. Ведь голова человека, спустившегося в яму, тоже опускается, а поднявшегося на гору – тоже поднимается”.

Из всего вышесказанного следует, что цадик должен общаться с народом и пытаться “возвысить его”. Для этого иногда ему самому приходится спуститься на очень низкую ступень, так как “чтобы поднять толпу наверх, сначала надо к ней присоединиться”. И поэтому цадик порой должен приобрести некую грубую черту характера, дабы иметь нечто общее с простонародьем.

“Притча о царском сыне, которого отец послал в деревню, чтобы тот, увидев всю тяжесть положения простого народа, больше ценил жизнь во дворце и близость родителя. Но сын, пожив некоторое время среди селян, полностью перенял их образ жизни: стал довольствоваться малым, носить их грубую одежду, жить их интересами и в конце концов забыл отца и свое прежнее положение. Обеспокоенный отец послал одного из своих министров, чтобы образумить царевича, но тот вернулся ни с чем. Тогда был послан более мудрый и искушенный министр. Этот оделся по-деревенски, поселился рядом с царским сыном и завел с ним дружбу. Он перенял все местные привычки – так же говорил, жил и общался с людьми. Постепенно их дружба окрепла, царевич начал прислушиваться к словам министра и через какое-то время снова вернулся во дворец”. С помощью этой притчи рабби Яков-Йосеф объясняет, почему цадик обязан подвергать свою душу опасности, “приобретать на время грубые качества грешников” и даже использовать такие “ядовитые снадобья, как ложь – оружие йецер а-ра”. В этом вопросе он как бы признает, что “цель оправдывает средства”.

Цадик, конечно, не горит желанием идти на такой шаг, опасаясь, что не сможет вернуться на свой прежний уровень и впадет в грех, но “Всевышний стоит над ним и охраняет от возможного отрицательного влияния, которое иногда возникает при общении с толпой”. В то же время связь цадика с народом должна быть проникнута любовью: он должен “искать любви простых людей, даже невежд”, относиться к ним, как “мать к сыну, и, жалея, обращать их к добру”.

И если материальное и духовное единение цадика и простонародья оказывается прочным, праведник приносит великую пользу не только в этом мире, где он направляет и наставляет свою паству, но и в будущем мире, где “душа праведника пройдет по дороге к вратам ада и уведет оттуда направляющиеся к ним души так же, как он делал это с людьми при жизни”.

Из приведенных рассуждений рабби Якова-Йосефа видно, как настойчив он был в своих стараниях принизить воспитательную роль раввинов, мечтая заменить их цадиками, которым он жаждал передать власть над еврейскими душами. Но была еще одна важная сфера, которую он хотел переkreпить по-своему, – нравственная проповедь, исходящая из уст “обличителя”. В те времена еврейские проповедники имели значительное влияние на мысли и поступки людей. Перед глазами рабби Якова-Йосефа стоял живой пример идеального, как ему казалось, проповедника – образ его покойного друга, Обличителя из Полонного. Именно такими людьми он хотел заменить существующий институт записных ораторов.

Рабби Яков-Йосеф не раз подчеркивал значимость наставника и наставления: “Человек должен не только работать над собой, но и совершенствовать других”, а делается это посредством назидания и наставлений, ведь “когда в мире звучит назидание, в нем пребывает благословение”. И еще: “Лучшее снадобье для тела и души – слушать и воспринимать наставления мудрецов, ведь они лучшие врачеватели души”. Но назидание должно быть подано в мягкой форме, ведь “где нет любви и мира, там нет места наставлению”. Он резко выступает против проповедников, “служащих обвинителями собственного народа”, против тех, кто “подробно перечисляет грехи всех присутствующих и тем пробуждает обвинения против соплеменников. Взывающий к суду – умножает грех”. В идеале назидание должно даваться в легкой и доступной форме, без замысловатых притч и экивоков и без гневных нападок. “Сказано в Писании (Йешаяу, 55:1): „каждый страждущий – идите к воде,, – т. е. к прозрачному наставлению, а „у кого нет желанья,, – лишь для такого надо прибегать к притчам”. Он считает неспособность воспринимать назидание в прямой форме признаком душевного нездоровья, ведь

“здоровый человек для утоления жажды пьет воду, а больному требуется вино или молоко. Точно так же человек, здоровый духом, с наслаждением пьет слова назидания, а страдающему недугом души сладкое кажется горьким, вот для него и приходится облекать поучение в рассказ или притчу, дабы подсластить кажущуюся горечь”.

Сам “обличитель” должен быть скромн и не походить на тех, кто “в проповеди пытается показать широту своих знаний и остроту ума, чтобы снискать себе громкую славу”. Проповедник должен уметь распознать характер человека и каждому дать наставление, сообразное с его наклонностями. Например, когда наставляешь сведущих в Торе, “приведи им какое-нибудь мудрое толкование и лишь потом начни поучать, даже если это покажется тебе проявлением нескромности; поступай так, ведь иначе они не станут слушать твои слова”. Для людей простых надо выбрать совсем другой стиль проповеди, к скромному и тихому требуется свой подход – такого призывай очистить свои помыслы и сделать праведными дела. “Человека шумного, который при служении гамом привлекает к себе внимание, призови совершать какие-либо публичные действия. Ведь уже нашему учителю Моше было сказано (Шмот, 19:3): „Так скажи дому Якова и возвести сынам Израиля,, – чтобы с каждым он вел себя соответственно его характеру и душевным качествам”.



6. На пути служения Всевышнему рабби Яков-Йосеф направляет нас дорогой бештовского хасидизма. Подобно своим предшественникам, он считал, что “человек создан в этом мире, чтобы готовиться к будущему миру” и что “цель человека – служить храмом Б-гу”. Отличие состояло в понимании средств достижения этой цели: что есть истинное служение, посредством которого человек сможет прийти к Б-гу? Ответ рабби Якова: “Цель всего сущего – слиться со Всевышним, прилепиться к нему душой”. А приходят к этому состоянию посредством веры – только так человек сможет “обрести душу”. Близость к Б-гу может быть достигнута, лишь когда человек обуздает свою материальную сторону: “Душа всегда будет счастлива приблизиться к Творцу, но материя мешает сближению, и только если победишь ее, восторжествует сила разума”.

Однако власть над своей физической составляющей не достигается истязанием плоти или отказом от чувственных наслаждений. “В человека при его сотворении было

заложено соблюдение Торы и заповедей так, чтобы он жил ими, а не умерщвлял себя. <...> Посты и аскезы повергают человека в печаль, а приближение ко Всевышнему достигается только радостью”. Таким образом, рабби Яков-Йосеф полностью принимает оптимистический подход хасидизма, отвергнув пессимизм лурианской каббалы, который так сильно влиял на него в юности, что Бешту пришлось остеречь его в процитированном выше письме. Когда он говорит об “обуздании материи”, имеется в виду ее освящение, преобразование материального в духовное. “Даже когда ты занимаешься повседневными делами, мысли твои должны быть направлены на глубинный смысл учения Торы”. Материальное должно служить средством достижения духовного ради служения Творцу: “Человек должен есть, пить и наслаждаться, чтобы быть радостным, и тогда он сможет прильнуть ко Всевышнему. <...> Только наивные простаки думают, что можно служить Б-гу исключительно занятиями Торой и молитвой, на самом деле „царство Его властвует над всем,, (Теилим, 103:19), и даже самая грубая материя необходима в вышних. <...> Как требуется кавана (т. е. душевное стремление и настрой) в действиях духовных: молитве, изучении Торы, исполнении заповедей, и главное назначение человека – труд по выявлению и сбору искр Б-жественного света (рассыпанных в материальном мире с момента так называемого разбития сосудов при сотворении мира), так же она нужна и при совершении повседневных действий – еды, питья и работы”. В том же ключе он толковал талмудический рассказ о рабби Шимоне бар Йохане и его сыне, рабби Эльзаре: “Вначале они считали, что служение заключается только в молитве, занятиях Торой, посте или покаянии и т. п., и потому, увидев людей, поглощенных повседневными делами, возмутились: „Оставляют они жизнь вечную и занимаются жизнью преходящей?!,, чем пробудили силы суда в мире, за что и были отправлены Б-жым гласом назад в пещеру. Там они осознали, что их наставляют на правильный путь – путь милосердия, путь служения Всевышнему посредством любых действий человека, если только он понимает, что Б-г присутствует и там”. Или, как сказал Бааль-Шем-Тов, “Всевышний хочет, чтобы Ему служили всеми способами”.

Поэтому рабби Яков-Йосеф отдает предпочтение тому, кто использует в служении все, даже материальные, средства, и ставит его выше того, кто служит Б-гу только посредством Торы и молитвы, ведь первый все время сталкивается с йецер а-ра и побеждает его, а “подчинив левую сторону правой, создает гармонию в высших мирах, что и является целью всего сущего”. Он учил, что надо превращать зло в добро, йецер а-ра в йецер а-тов, врага – в друга, ведь и в злом начале есть частичка Всевышнего, Шхина пребывает и среди клипот (шелухи, внешней оболочки). А тот, кто служит Творцу исключительно посредством Торы и молитвы, не вовлекая в служение свое злое начало, идет только по “правой стороне”, и в его служении нет ни жизненности, ни продвижения вперед.

Поэтому рабби Яков-Йосеф не одобрял тех, кто, затворившись дома, непрерывно занимался учебой, боясь выглянуть во внешний мир из страха угодить в сети мирской суеты и тем согрешить против Б-га. Он призывал к иному: “Человек не должен приучать себя постоянно заниматься лишь учебой, он должен общаться с людьми, и именно там должна проявляться его Б-гобоязненность, дабы исполнить сказанное „Представляю Б-га перед собой постоянно,, (Теилим, 16:8). Несмотря на то что на первый взгляд он отдаляется от Торы и молитвы, он должен понять, что и там можно найти наставление для себя и возможность служения Всевышнему”. А когда человек сблизится с обычной жизнью и поймет других людей, он сможет не только помогать им и приобщать их к служению, но и для себя извлечь пользу, учась у простых людей и получая уроки жизни. Можно научиться хорошему даже у злодея и из всякой встречи извлечь полезное наставление, например: “если он рано встает на работу, и я должен пораньше вставать

ради служения Небесам, если он вкладывает старания, чтобы увеличить оборот в торговле, – я должен вкладывать больше сил в учебу”.

Служение Всевышнему должно быть очищено от каких-либо сторонних соображений: “каждую заповедь надо исполнять ради нее самой, без посторонних мыслей и желаний”, так как “исполнение заповедей и занятия Торой ради чего-то кроме них губят душу”. Добро надо делать ради добра, а не с мыслью о вознаграждении. Сама заповедь и есть награда, и состоит она в том, что Всевышний удостоил человека исполнить Его желание, а нарушение заповеди и есть наказание, как было сказано еще в Мишне (Пиркей Авот, 4:2).

Человек, желающий искренне и незапятнанно служить Б-гу, не должен гнаться за материальным достатком; пусть насыщается хлебом, а не яствами, потому что “когда душа пресыщена материальными наслаждениями, она не воспринимает духовность”.

Один из важнейших способов служения, по мнению рабби Якова-Йосефа, – молитва. “Молитва высвобождает искры Б-жественного света и называется „работой,, потому что молящийся близок к смерти, когда в жажде прильнуть к духовному он освобождается от телесного”. Главное в молитве – сосредоточенность и настрой, причем всякий день отличается от предыдущего. Ибо это ошибочно, когда человек молится так же, как молился вчера и третьего дня, когда язык его сам по себе произносит слова, голова послушно склоняется в начале славословия Модим, а сердце находится далеко.

Человек должен молиться ради освящения Имени Всевышнего, не ради удовлетворения собственных потребностей, а на благо Шхины. Если он молится только для себя, Шхина плачет: “Отдал Г-сподь меня в руки, из которых я не могу подняться”. Молиться надо радостно, громким голосом, хлопая в ладоши, с жаром и пламенем души, ведь главное – воодушевление. Иначе все это напоминает кузнеца, который, обучив подмастерье своему ремеслу, забыл сказать, что сначала надо разжечь огонь. А так, воспламеняясь во время молитвы, человек сможет раздуть и свою внутреннюю искру.

Рассмотрев и исследовав взгляд рабби Якова на служение Всевышнему и сближение с Ним, мы приходим к выводу, что с особой взыскательностью он относился не к исполнению заповедей, а к чистоте помыслов и веры, полагая, что “при нехватке веры теряешь всё”. Он считал, что “живущий верой сознает, что все, что случается, происходит под прямой опекой Всевышнего, и тогда нет места ненависти к другому человеку, мир воцаряется между ним и ближними, что позволяет ему исполнять все заповеди Торы. А если человек считает, что что-либо произошло случайно, – нечист и он, и помыслы его, ведь нет в мире места, свободного от Б-жественного присутствия”. Наиважнейшей, по его представлению, является духовная составляющая заповедей, их душа, именно она может помочь верующему подняться на высшую ступень. “Мудрецы Талмуда сказали, что в будущем заповеди будут отменены, то есть не будет заповедей в их физической форме, останется только духовная часть. И даже в наше время, если бы нашлся человек достойный такой ступени, он не должен был бы выполнять заповеди физически”.

Служение Всевышнему, практическое исполнение заповедей, молитва, изучение Торы – все это лишь пути достижения высочайшего духовного уровня, любви к Б-гу и сближения с Ним. Достичь этого можно посредством мысли и сосредоточенного намерения: “Когда человек связывает свои помыслы со Всевышним, все 248 органов и 365 сухожилий его тела подчиняются этой мысли и устремляются вслед за ней”.



7. Ценя во всем прежде всего духовность, рабби Яков-Йосеф предписывал своим последователям развивать положительные черты характера и прямоту, всеми силами “искоренять врожденные дурные качества, берущие начало в грубой материи, из которой состоит тело человека, и сжиться с добрыми свойствами так, чтобы казалось, что они были присущи тебе с рождения или впитаны с молоком матери”. Он напоминал слова псалмопевца (Теилим, 24:3-4): “Кто достоин взойти на гору Г-сподню?.. Тот, у кого чисты руки и непорочно сердце”, – и пояснял: “Как желающий подняться на вершину горы сбрасывает с себя всю поклажу и лишнюю тяжелую одежду, так и тот, кто хочет подняться к Г-споду, должен сбросить со своей души всякий грех и идти с чистыми руками и непорочным сердцем”. А очистившись от греха и порока, человек будет счастлив и в повседневной жизни, так как “физический галут (т. е. состояние изгнания) есть следствие галута духовного”.

Рабби Яков-Йосеф отличался оптимизмом и другим советовал смотреть на все происходящее только с хорошей стороны. Он утверждал, что в мире нет ничего абсолютно злого и постыдного, “даже когда увидишь что-либо злое и порочное в человеке, знай, что и там присутствует Имя Всевышнего, ведь нет места, где бы Он не находился”. Исходя из этого, он поучал: “Не презирай никого, даже человека подлого и никчемного, видя в нем раба, восставшего против хозяина, потому что и он тоже выполняет волю Всевышнего, а деяния злодеев – престол для деяний праведников”.

Гордыня, в его глазах, – корень всех грехов, а скромность – основа мудрости, богатства и силы, ведь только у скромного они могут считаться достоинствами, а у кичливого становятся недостатками. Скромность требуется и в служении: “пусть человек не пытается понять больше, чем ему дано, не следует заглядывать дальше, чем ему положено на данном уровне”. Продвигаться надо неспешно и с кротостью. “Тот, кто хочет подняться на гору Г-сподню, должен всходить по ступеням”. Он издевается над людьми, которые выставляют напоказ свою праведность и благочестие и торжественно собирают в субботу собственный миньян, дабы все убедились в их значимости и Б-гобязанности.

Но и скромность должна иметь разумные пределы. “Как я слышал от своих учителей, излишняя скромность приводит человека к отказу от служения, ведь из-за смирения он теряет веру в то, что его учение и молитва влияют на все миры и даже ангелы получают силу благодаря ему”. Тем более это относится к стоящему во главе – он не может позволить себе слишком предаваться самоуничижению, иначе его станут презирать, “невежды начнут вытирать о него ноги, и он утерять все свое влияние”.

Подобно тому как рабби Яков-Йосеф ненавидел гордыню, он терпеть не мог уголивости и подобострастия. Он говорил: “Человек должен найти себе такой вид деятельности, чтобы ему не пришлось преклоняться и лебезить перед кем-либо, ведь раболепствующий хуже идолопоклонника”. А для этого достаточно довольствоваться малым, что и есть “удел счастливого”.

Рабби Яков-Йосеф призывал к немногословию, следуя в этом рабби Ицхаку Лурии: “А-Ари говорил, что первое условие постижения мудрости – меньше говорить и больше молчать, чтобы не произносить лишних, пустых слов”. В этом его подход отличался от бештовского, поскольку Бешт учил так: “Всевышний хочет, чтобы Ему служили всевозможными способами. Иногда человек идет по дороге и говорит с людьми... и не может молиться или учиться как обычно. Пусть он не терзает себя – ведь Б-гу угодно служение разными способами, иногда в одной форме, а иногда в другой. Для того человеку и предоставляется возможность путешествовать или общаться, чтобы он мог менять вид своего служения”.

Человек должен следить за чистотой своих мыслей. Кристально чистая, незапятнанная мысль возвышает человека. Иногда усилия души примкнуть к кристально чистому помыслу приводят человека к состоянию, близкому к пророчеству.



Рабби Якова-Йосефа выделяло особое отношение к человеческому мышлению. Благочестивую мысль, как, например, стремление к раскаянию, которое иногда посещает даже грешников, он считал пробуждением Свыше, отзвуком Б-жественного гласа, который каждый день призывает: “Вернитесь, мятежные сыны”. То же и в отношении греховных помыслов. “Поэтому, – объяснял он, – человек не подлежит судебному

наказанию за запрещенные мысли, так как может сослаться на то, что они внушены ему Свыше”. Это и есть Б-жественный глас, исходящий с горы Хорев (Синай), о котором упоминали мудрецы Талмуда, и “если человек настроится и попытается услышать призыв, он сможет это сделать, поскольку тот возникает в виде мысли, а она доступна каждому”.

Перевод с иврита Мордехая Гринберга

Окончание следует



ВОЗВРАТИ СУДЕЙ НАШИХ, КАК ПРЕЖДЕ

אָנײַעס עאַנען

Словарный запас современного иврита в значительной мере образовался благодаря “секуляризации” части библейской и талмудической лексики. Стараниями Э. Бен-Йеуды и его последователей многие слова, изначально употреблявшиеся в сугубо религиозном контексте, получили новое значение, которое со временем стало основным. В частности, подобная участь постигла слово “мусмах” – в современном языке оно означает “дипломированный специалист” и применяется почти только в светском контексте (дипломированный электрик, дипломированная медсестра и т. д.). Несколько больше “повезло” однокоренному слову “смиха” – обычно его применяют в значении “раввинский диплом”. Соответственно, утверждение, что у рава Моше “есть смиха”, означает, что он успешно сдал экзамен на знание еврейских законов.

Между тем изначальное значение этих слов было существенно иным. Термин “смиха” (“посвящение”) означал специальную церемонию передачи полномочий от учителя к ученику. Соответственно, раввина, получившего определенные полномочия, называли “мусмах”.

Согласно Рамбаму, начало смихи положил уже Моше: “Моше-рабейну дал смиху Йеошуа бин Нуно. Также Моше-рабейну дал смиху семидесяти старейшинам, и снизошло на них Б-жественное присутствие. Те старейшины передали смиху мудрецам следующего поколения, а те – дальше; таким образом, все, кто имеет смиху, получили это посвящение по цепочке передачи, восходящей к Суду Йеошуа бин Нуна и далее – к Суду Моше-рабейну” (Мишне Тора, Законы о Сангедрине и наказаниях, которые он применяет, 4:1, 2). Таким образом, традиция, возникшая еще во времена Исхода, сохранялась в течение веков.

Согласно книге Бемидбар, Моше посвятил Йеошуа сам: “И сделал Моше, как повелел ему Г-сподь; и взял Йеошуа, и поставил его перед Эльзаром, священником, и перед всей общиной. И возложил на него руки, и дал ему наставления...” (27:22, 23). Талмуд, однако, постановил, что для этой церемонии необходим специальный бейт дин из трех мудрецов, из которых хотя бы один должен был иметь смиху. Изначально такой суд мог составить каждый из мудрецов. Но во II веке эти полномочия были делегированы патриарху (наси) (Иерусалимский Талмуд, Сангедрин, 1:2, Вавилонский Талмуд, Сангедрин, 13б). Возложение рук также было признано необязательным – посвящаемый и посвящающие могли даже находиться в разных местах, правда, непременно в пределах Эрец-Исраэль. В результате церемония стала выглядеть так: “Называют его [посвящаемого] „рабби,, и говорят ему: вот, ты рукоположен [самух], и теперь у тебя есть право судить даже дела о штрафах” (Мишне Тора, Законы о Сангедрине и наказаниях, которые он применяет, 4:3).

Как видно из этих слов Рамбама, смиха давала мудрецу право на дополнительные почести (звание “рабби”), а также дополнительные полномочия. В-первых, посвященный раввин получал право приговаривать воров к штрафу (кнас), то есть к денежным выплатам, превышающим стоимость украденного имущества (например, в случае кражи домашнего скота): “Если украдет кто-то быка или овцу и зарежет его или



продаст его, то пять быков заплатит за быка, а четыре овцы за овцу” (Шмот, 21:37). Во-вторых, только посвященные мудрецы могли входить в состав суда, занимающегося вопросами еврейского календаря, то есть решающего, какой день считать началом нового месяца и какой год следует объявить високосным (чтобы лунный год не отставал от солнечного, семь лет из каждых 19-ти следовало объявлять високосными, добавляя еще один, тринадцатый месяц [второй адар]). И наконец, только судьи, обладавшие смихой, могли приговаривать преступников к телесному наказанию и даже к смертной казни.

Таким образом, смиха имела огромное значение для сохранения как полноценной религиозной жизни, так и юридической автономии. Поэтому неудивительно, что во время гонений Адриана евреям под страхом смерти было запрещено не только обучать Торе, но и участвовать в церемонии посвящения: казни подлежали как посвящавшие, так и посвящавшиеся, а кроме того, указ налагал суровую ответственность на весь город, в пределах или окрестностях которого имело место “противоправное” действие. Однако эти драконовские меры напугали далеко не всех. К примеру, известный мудрец Йеуда бен Баба продолжал посвящать, невзирая на грозный запрет, и, в конце концов, принял мученическую смерть, застигнутый на месте “преступления” (Вавилонский Талмуд, Сангедрин, 13б, 14а).

Запреты Адриана были отменены вскоре после смерти грозного императора. Евреи вновь получили право выдавать достойным смиху, не опасаясь преследований и гонений. Тем не менее через какое-то время связь времен нарушилась – традиция посвящения, восходящая к эпохе Моше, внезапно прервалась. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, когда и почему это произошло. Согласно наиболее традиционной точке зрения, последние посвящения были в IV веке, во времена патриарха Гилеля бен Йеуды (320–370) – так, в частности, считали Рамбан и рав Шимон бен Адерет (Рашба). Однако некоторые исследователи полагают, что это произошло существенно позже, уже в эпоху гаонов.

Как бы то ни было, все согласны, что к началу Крестовых походов у евреев уже не было ни одного мудреца, имевшего право на звание “рабби”.

Как ни странно, на жизни подавляющего большинства евреев это совершенно не отразилось. Многие, полагаю, этого и вовсе не заметили (именно поэтому ученые сегодня вынуждены спорить и строить догадки, когда это произошло). Ибо к тому времени мудрецы уже успели принять необходимые и достаточные меры, чтобы еврейская жизнь продолжалась и в отсутствие смихи. Вместо штрафов, упомянутых в Торе, во всех общинах были установлены другие экономические санкции, позволявшие весьма эффективно пресекать имущественные преступления. Еврейский календарь был рассчитан и освящен “до конца времен” в 360 году бейт дином тогдашнего палестинского патриарха Гилеля бен Йеуды. Наконец, что касается вынесения смертных приговоров, то еврейские суды утратили это право еще в эпоху Второго храма. То есть на практике необходимость в судьях, имеющих смиху, к моменту исчезновения этого института фактически сошла на нет.

В течение многих веков отсутствие “настоящих” раввинов волновало евреев разве что теоретически. Однако в XV–XVI веках ситуация неожиданно изменилась после



того, как в Стране Израиля обосновалась значительная община выходцев из Испании, среди которых было немало бывших марранов.

Покинув Пиренеи, эти люди, многие годы хранившие в сердцах верность Торе и заповедям, присоединялись к еврейским общинам и начинали открыто жить по закону Моше и Израиля. Однако на душе у них было неспокойно. Живя внешне христианской жизнью под пристальным взглядом соседей и инквизиции, марранам приходилось то и дело нарушать различные заповеди – есть некошерное, работать по субботам и т. д. Многих из них волновал вопрос, удастся ли им искупить все эти грехи (и, прежде всего, грех вынужденного отступничества) или же их ждут вечные адские муки.

Среди тех, кому не давал покоя этот вопрос, был знаменитый раввин Яков Берав (1474, Испания – 1541, Цфат). Особенно его беспокоили грехи, за которые, согласно Торе, полагалось самое страшное наказание – карет, то есть полное уничтожение души после смерти.

Согласно Мишне, если человек, которому полагается карет, будет приговорен судом к 39 ударам, тем самым этот грех будет искуплен (Макот, 3:15). Однако право назначить подобное наказание есть только у судей, имеющих смиху. В поколении рава Берава таковых, как мы сказали, уже не было. Поэтому раву Бераву пришлось задаться вопросом: можно ли восстановить прерванную традицию или же смиху (а вместе с ней и возможность искупления) следует признать утраченной безвозвратно?

За несколько столетий до него над этим вопросом задумывался Рамбам, который не только пришел к выводу, что прерванную традицию можно восстановить, но и предложил конкретный путь для осуществления этого: “Мне представляется, что, если все мудрецы Земли Израиля согласятся назначить и посвятить судей, такие судьи будут считаться имеющими смиху и будут иметь право судить в делах о штрафах и смогут передавать смиху другим. Если так, почему наши мудрецы огорчились из-за отсутствия смихи, а вместе с ней – возможности судить дела о штрафах? Дело в том, что народ Израиля рассеян, и невозможно, чтобы все пришли к единству; если же был бы мудрец, получивший смиху от имеющего смиху, он не должен был бы просить согласия всех знатоков Торы его поколения, а судил бы, в том числе и дела о штрафах, для всех евреев, так как имеет на это право” (Мишне Тора, Законы о Сангедрине и наказаниях, которые он применяет, 4:12).

Рав Берав, не только знаток Торы, но и человек действия, немедленно приступил к реализации своего плана, обратившись за содействием к другим мудрецам, жившим в Цфате. Те единодушно поддержали его инициативу. И в 1538 году 35 палестинских раввинов, собравшихся в Цфате, торжественно провозгласили возобновление смихи. Первым “посвященным” стал, естественно, сам рав Берав, который тут же посвятил несколько других кандидатов. В разных источниках их число варьируется от четырех до десяти. Достоверно известны два имени: рав Йосеф Каро и рав Моше Трани (Мабит).

Закончив процедуру посвящения, рав Берав и его сторонники начали рассылать сообщения о случившемся. И тут выяснилось, что они кое-чего не учли.



Одним из самых известных раввинов в тогдашнем Иерусалиме был рав Леви бен Яков Хабиб (Ральбах) – бывший марран из Португалии, посвятивший жизнь изучению Торы. В Иерусалиме рав Берав несколько раз встречался с равом Хабибом, но отношения у них почему-то не сложились. Поэтому, собирая раввинов в Цфате, рав Берав решил не приглашать иерусалимского талмудиста, а лишь послать ему *post factum* уведомление о случившемся.

Возможно, рав Берав полагал, что рав Хабиб воспримет это как должное. Однако он жестоко ошибся: узнав о том, что произошло в Цфате без его участия, рав Хабиб почувствовал себя глубоко оскорбленным и выразил решительный протест: проект рава Берав был объявлен сомнительным, недействительным, ненужным и вредным!

Во-первых, рав Хабиб усомнился, действительно ли можно восстановить прерванную традицию согласно процедуре, предложенной в Мишне Тора. По его мнению, даже сам Рамбам, а также многие другие раввины не были в этом вполне уверены. Но даже если предположить, что эта процедура и кошерна, то цфатская “конференция” все равно не имела необходимых полномочий. Ибо Рамбам требует участия и согласия всех палестинских раввинов, а он, рав Леви бен Яков, в Цфат не ездил и согласия не давал (и не даст *post factum*, как он тут же заметил).

Рав Берав не скрывал, что главная цель всей затеи – создать суд, наделенный правом приговаривать к 39 ударам, тем самым спасая грешников от загробного наказания. На это рав Хабиб ехидно заметил, что подобному наказанию можно подвергнуть только того, кого заблаговременно предупредили о том, какие последствия повлечет за собой его проступок. И поскольку марранов никто не предупреждал, то приговорить их к порке не удастся. Впрочем, это даже не главное. В еврейской традиции и без того есть эффективное средство, позволяющее искупить любой грех, – искреннее, чистосердечное раскаяние. А раз так, то зачем затевать еще и какие-то специальные судилища?

Наконец, появление раввинов со смихой, вероятно, приведет к тому, что они вновь начнут устанавливать календарь по свидетельским показаниям. А это, считал рав Хабиб, не принесет никакой пользы – только вред. Ибо своевременно оповещать общины, разбросанные от Балтики до Йемена, ни один палестинский суд не в состоянии, поэтому никто не будет знать, когда отмечать тот или иной праздник.

Разумеется, рав Берав встал на защиту своего детища. В ответном послании он доказывал, что процедура, предложенная Рамбамом, – безусловно и несомненно кошерная, что слова “все раввины” следует понимать как “большинство” и т. д. Однако доводы рава Хабиба по поводу 39 ударов, судя по всему, произвели на него впечатление. Вот почему нет никаких свидетельств, что кто-либо был этому наказанию подвергнут.

Поскольку не было “искупительного ритуала”, большинство сторонников рава Берав довольно быстро охладели к его идее. Да и сам рав Берав не посвятил больше никого из своих учеников. Так что идея возрождения смихи постепенно утратила актуальность.

Едва ли не единственным, кто попытался продолжить дело рава Берав, был рав Йосеф Каро, который не только до конца жизни пользовался званием “рабби”, но и сам в

какой-то момент посвятил одного из своих учеников – известного талмудиста и мистика рава Моше Альшеха (ум. после 1593). Тот, в свою очередь, дал смиху ближайшему ученику Аризаля раву Хаиму Виталию (1542–1620). Продолжил ли он эту традицию, неизвестно. Однако двое из его учеников, рав Авраам Ланиада и рав Йешаяу Пинту, пользовались званием “рабби”. Последний из них умер в 1648 году. После этого цепочка, идущая от рава Берава, прервалась окончательно.

Попытка рава Берава и его сторонников возродить смиху была самой известной и наиболее близкой к успеху, но далеко не единственной. В последующие столетия подобные попытки предпринимались неоднократно.

В 1830 году эту идею попытался осуществить ученик Виленского гаона рав Исраэль из Шклова, поселившийся в Иерусалиме. Сначала он хотел воспользоваться предложением Рамбама, однако отказался от этой идеи, ознакомившись с аргументацией рава Хабиба. Тем не менее в еврейских источниках ему удалось отыскать другую идею: по мнению египетского раввина Давида ибн Аби Зимры (Радбаз), кошерная смиха могла сохраниться... у одного из десяти пропавших колен, живущего где-нибудь в неведомых азиатских землях! Узнав об этом, рав Исраэль предпринял активные научные изыскания и даже послал своего эмиссара, рава Пинхаса Баруха, в Йемен, где, по его мнению, могли обитать остатки колена Реувена (экспедиция, разумеется, закончилась безрезультатно, а сам рав Барух трагически погиб).

В 1901 году рав Ааарон-Мендл Коен собрал подписи 500 раввинов, призывающих к возобновлению смихи в соответствии с мнением Рамбама. Однако дальше этого дело не пошло: сначала рав Коен с головой ушел в политическую деятельность, приняв активное участие в создании партии “Агудат Исраэль”. А затем началась первая мировая война, и всем стало не до того.

О возрождении смихи мечтал рав Йеуда-Лейб Маймон, первый израильский министр религий. В 1949 году он даже предложил собрать для этого общенациональную конференцию раввинов. Однако это предложение было встречено весьма сдержанно, в том числе главными раввинами страны. Так что от этой идеи вновь пришлось отказаться.

Как уже говорилось, отсутствие раввинов, имеющих посвящение, практически не сказывается на современной религиозной жизни. Тем не менее не думать об этом нельзя. Во-первых, неспособность восстановить смиху – грустное свидетельство того, как трудно евреям прийти к согласию по какому-либо вопросу. А во-вторых, исчезновение важного религиозного института, восходящего к Моше-рабеину, стало еще одним печальным следствием изгнания. И то, что смихи до сих пор нет, лишний раз напоминает нам, что изгнание еще не закончилось.

Так что остается надеяться на грядущее Избавление и трижды в день повторять в молитве: “Возврати наших судей, как прежде”.

1. В эпоху Второго храма и Мишны дата новомесячья зависела от того, предстанут или не предстанут перед бейт дином два кошерных свидетеля, видевших молодой месяц. Если на исходе 29-го дня месяца два человека или более вместе видели новую луну и сообщали об этом иерусалимскому Сангедрину, то он тридцатого числа провозглашал: «Освящен» – это означало, что предыдущий месяц состоял из 29 дней, новый месяц освящен, а текущий день – это первый день нового месяца, рош ходеш. Если же на тридцатый день новая луна не появлялась, это означало, что месяц полный и состоит из 30 дней. Тридцать первый же день, независимо от наблюдений, объявлялся в таком случае первым днем нового месяца, так как на 31-й день новая луна заведомо должна появиться, даже если этого никто и не видел.
2. Julius Newman. *Semikhah [ordination]. A study of its origin, history, and function in Rabbinic literature.* Manchester University Press. Manchester, 1950. P. 152.

3. Рамбан, Сефер азхут. К этому времени подавляющее большинство евреев уже жили в различных странах диаспоры. Поэтому традиционный календарь с «плавающим» новомесячем доставлял им массу неудобств, поскольку при тогдашних средствах коммуникации палестинские мудрецы не имели возможности своевременно сообщать, когда начался очередной месяц (и, соответственно, когда наступает тот или иной праздник). Кроме того, палестинские ешивы постепенно приходили в упадок, и местным мудрецам становилось все труднее регулярно собираться для освящения месяца.
4. Согласно Торе, наказанию карет подлежат в том числе те, кто ел квасное в Песах и не постился в День искупления. Между тем законы и обычаи этих праздников были хорошо известны инквизиции, которая пристально наблюдала, как ведет себя в эти дни тот или иной «новый христианин». Поэтому соблюдать эти заповеди без риска для жизни было весьма непросто.



Чем плох компромисс?

אֲדָוָה עֲוֹנָה

“И сказал Йеуда братьям своим: „Что пользы, если убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его ишмаэльтянам, а рука наша да не будет на нем, ибо он наш брат, наша плоть,,. И послушались его братья <...> вытащили, и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа за двадцать сребреников ишмаэльтянам, которые отвели Йосефа в Египет” (Берешит, 37:26-28).

В Мидраше мы находим чрезвычайно острую критику в адрес Йеуды. “Рабби Меир говорит: „Каждый, кто благословляет Йеуду (за то, что он спас Йосефа от смерти, предложив продать его в рабство в Египет), гневит Всевышнего,,”, – потому что, комментирует Талмуд, “говорит то, что некрасиво и неправильно” (Сангедрин, 10б).

На первый взгляд слова рабби Меира вызывают изумление. Йеуда ведь ясно сказал, что не следует убивать Йосефа, за что похвалил и благословил его отец: “Молодой лев – Йеуда, от насильства ты, сын мой, удалился” (Берешит, 49:9) – Раши прямо связывает это со словами, с которыми Йеуда обратился к братьям, желавшим убить Йосефа. А рабби Овадья Сфорно в своем комментарии уточняет: “Ты, сын мой, поднялся выше того, чтобы растерзать и умертвить его в своем гневе – хотя и ненавидел его”. Если сам праотец наш Яаков одобрил образ действий Йеуды, почему рабби Меир осуждает его?!

Чтобы получить ответ на этот вопрос, следует затронуть проблему, которая на первый взгляд относится совсем к другой сфере – сфере этики.

Есть два пути в жизни. Первый – неуклонное следование своим убеждениям, не поддаваясь соблазнам и не обращая внимания на препятствия. И второй – путь компромисса, когда человек поступает тем, что считает второстепенным, дабы сохранить то, что считает для себя главным. Какой из этих двух путей предпочтительнее?

В судопроизводстве, согласно законам Торы, судья всегда старается привести обе стороны к компромиссу. Например, рассматривая дело о нанесении материального ущерба, судья прилагает все усилия к тому, чтобы стороны пошли на взаимные уступки и помирились. Для этого, в общем-то, есть два основания. Во-первых, чрезвычайно трудно проникнуть в самые глубины спорного вопроса и с полной уверенностью решить, кто прав, а кто виноват. Чаще всего случается, что и истец, и ответчик в известной мере правы, а в известной мере виновны. Во-вторых, даже если судье удастся с уверенностью обвинить одну сторону, часто, к сожалению, случается, что проигравший преисполняется яростью и к судье, и к противоположной стороне, и в конечном счете возникают новые раздоры, порождающие новые судебные разбирательства.

Когда два человека спорят, кто первый поднял находку, и никто из них не в состоянии доказать свою правоту, нет опасности, что кто-нибудь станет им подражать или решит, что в подобном случае можно совершить несправедливость и остаться безнаказанным. Поэтому судья решит, что стороны, ведущие тяжбу, должны поделить между собой находку или ее стоимость, и все будут довольны подобным решением. Однако совсем иное дело, если речь идет о жизни человека – не дай Б-г, об убийстве: тут

никакой компромисс между убийцей и семьей убитого невозможен. Преступление в этом случае совершено не только против другого человека, но против всего общества и, главное, против Всевышнего, строго запретившего убийство. Компромисс в этом случае будет новым преступлением, новым нарушением воли Всевышнего, предписавшего наказывать убийцу.

То же самое во взаимоотношениях человека и Всевышнего. От человека, нарушившего волю Всевышнего, выраженную в Торе, требуется полное раскаяние и абсолютная готовность исправиться. Никакой компромисс тут невозможен: невозможно признать грешника наполовину правым и наполовину виноватым. Перед лицом Истины никто не осмелится выступить с оправданием своего несогласия с ней.

Пример неуместного компромисса приводит Талмуд (Сангедрин, 7а). Когда от первосвященника Аарона стали требовать, чтобы он “сделал божество, которое пойдет перед нами” (Шмот, 32:1), он понял: если не согласится, его убьют. Аарон посчитал, что убийство первосвященника-пророка – более страшное преступление, нежели создание литого божества, и потому исполнил требование нечестивцев, чтобы не ввести их в больший грех.

Так же как Аарон не желал, чтобы сыны Израиля поклонялись золотому тельцу, Йеуда не желал, чтобы братья продали Йосефа в рабство. Он всего лишь пошел на компромисс: лучше продать его, чем убить. Однако тем самым он совершил тяжкий грех, так как отказался от всякой борьбы за спасение Йосефа. Йеуда имел столь большой авторитет в глазах братьев, что если бы он недвусмысленно заявил: “Не дам вам убить Йосефа и сделать несчастным нашего отца!” – те отступили бы. Вместо того Йеуда пошел на уступку, которая причинила множество страданий и Йосефу, и Яакову в течение двадцати двух лет.

Но что могло случиться, если бы братья вдруг не послушались Йеуду? Почему наши мудрецы не принимают во внимание подобную возможность и осуждают Йеуду за его компромисс? Чтобы понять это, следует обратить внимание на те опасности, которые подстерегали Йосефа в египетском рабстве.

Каждый человек испытывает влияние среды, в которой находится, и, как правило, влияние это очень сильное. Если человек находится в неблагоприятной среде, ему трудно противостоять дурному воздействию своего окружения. Неудивительно, что Авраам не нашел десяти праведников в Сдоме (см. Берешит, 18:23-32): кто остался бы праведником в таком городе?! Ни один человек не может быть настолько в себе уверен, чтобы сказать: я сумею отстоять себя при любом влиянии! Хочет он или не хочет, раз живет среди других людей, то их поведение, их образ мысли и их речи воздействуют на него.

Мудрецы наши приводят такое сравнение (см. Мидраш Мишлей, 13:20). Один человек заходит в лавку, где продают духи; несмотря на то что он ничего не купил, он все же уносит с собой аромат, впитавшийся в его одежду за то время, что он там находился, и целый день благоухает. Другой человек заходит в кожаную мастерскую; хотя он ничего не берет, он все же уносит с собой зловоние, которое успевает впитаться в его одежду, пока он там находился, и в течение целого дня его преследует дурной запах.



Особенно тяжело, когда человек вынужден стоять один против всего общества. Если у него есть единомышленники, положение гораздо лучше: внутри большого общества образуется малое сообщество, члены которого поддерживают друг друга и помогают сопротивляться воздействию извне. Однако одиночка почти неизбежно теряет критерии, при помощи которых должен различать, что хорошо, а что плохо: окружающие внушают ему (и рано или поздно он сам начинает так думать): возможно ли, чтобы ты один был прав, а весь мир ошибался?!

Теперь представим себе положение Йосефа в Древнем Египте. Это была страна высочайшей культуры. Даже сейчас, спустя тысячи лет, сохранившиеся там с древнейших времен храмы, скульптуры, гробницы (в особенности пирамиды, служившие гробницами фараонам, царям Египта), барельефы, образцы живописи производят колоссальное впечатление. Более того, древнеегипетская культура до сих пор таит в себе загадки, остающиеся для современных исследователей тайной за семью печатями. Что же говорить о Йосефе, из безлюдных степей попавшем в совершенно новый для него мир, в котором жизнь бьет ключом!..

Не надо забывать и того, что Египет был богатейшей страной в мире. Благодаря своим природным условиям он не зависел от наличия или отсутствия дождей, как все остальные страны в тогдашнем мире. Нил, разливающийся раз в году, в начале лета, орошал поля и одновременно удобрял их своим илом, обеспечивая высокие урожаи. Не случайно Тора называет Египет “Б-жьим садом” (Берешит, 13:10). Из истории с Йосефом мы видим: даже тогда, когда весь остальной мир страдал от засухи и голода, в Египте “был хлеб” (Берешит, 41:54). Неудивительно, что Египет связан был торговыми отношениями со множеством стран и народов (опять-таки в истории Йосефа упоминаются “караван ишмаэльтян” из Гильада, везущий в Египет “пряности, бальзам и ладан” [Берешит, 37:25], а также “люди Мидьяна, купцы” [Берешит, 37:28], доставившие Йосефа в Египет). И поскольку изобилие внутри Египта и доставляемое в него извне зависело от уникальной особенности Египта – разливов Нила, – нетрудно понять, почему в умах египтян возникло представление о том, что Нил – добрый бог, даритель жизни и благополучия. Древним идолопоклонникам нельзя отказать в своеобразной логике: раз вся жизнь зависит от Нила, с ним необходимо поддерживать добрые отношения –



поклоняться ему, восхвалять его в гимнах и славословиях, молиться и служить ему как божеству.

Так что Йеуда обрек своего брата на величайшие испытания. Прежде всего на испытание бесправием, нищетой и тяжелейшей работой. Известно, как мало ценилась жизнь раба в Древнем Египте. Любой другой на месте Йосефа постарался бы установить самые лучшие отношения со своими хозяевами, а для этого прежде всего сгладить и уничтожить в себе все то, что было чуждо египетским обычаям, образу жизни и мировоззрению. Однако Йосеф – несмотря на то, что ему было только семнадцать лет, – приложил все усилия, чтобы не поддаться влиянию египетской среды. Он ничего не забыл из того, чему научили его отец – Яков и дед – Ицхак. “И видел господин его, что с ним Б-г” (Берешит, 39:3). Как же он это видел? Он обратил внимание на то, что “Имя Всевышнего постоянно на устах Йосефа” (см. Раши на Берешит, 39:3), и “всему, что он делает, Б-г дает успех” (Берешит, 39:3). Господин связал эти обстоятельства воедино, возвысил Йосефа и в конце концов перепоручил ему управление всем своим достоянием.

Так Йосеф избавился от первого испытания, но лишь для того, чтобы подвергнуться еще более тяжкому.

Тора называет Египет “срамным местом земли” (“наготой этой страны”) (Берешит, 42:9,12) и строго предостерегает евреев: “По обычаям страны Египетской, в которой вы жили, не поступайте” (Ваикра, 18:3). Надо сказать, египтяне были развращены до крайней степени, и все виды половых излишеств и извращений у них были самым обычным делом. Использование молодого и красивого раба для удовлетворения своих вожделений было правом госпожи (и господина), которое никто не подвергал сомнению. Какой же силой должен был обладать Йосеф, чтобы не поддаться искушению! А что это за сила, он сам объяснил своей госпоже, приложившей все усилия, чтобы уложить его с собой на ложе: “Как же сделаю я это великое зло и провинюсь пред Всесильным?” (Берешит, 39:9). Боязнь нарушить Его волю помогла Йосефу выстоять в этом искушении.

Третьим испытанием стало заключение в тюрьме – в “яме” (см. Берешит, 40:15; 41:14). Но и там “был Б-г с Йосефом <...> и даровал ему благоволение в глазах начальника темницы” (Берешит, 39:21). А когда Йосеф чудесным образом оказался освобожден из заключения и вознесен на самую вершину общественной “пирамиды” Египта, он должен был напрячь все свои душевные силы, собрать все свое мужество, чтобы, став правителем Египта (и, следовательно, образцом для всех его обитателей), устоять против соблазнов культуры, искусства, морали и воззрений Египта. Ведь теперь любые его желания могли быть удовлетворены в мгновение ока! Но Йосеф сумел и на этот раз остаться Йосефом – сыном Якова, внуком Ицхака и правнуком Авраама.

Страшно подумать о том, что во все время своего пребывания в Египте Йосеф находился буквально на волосок от духовной гибели! И теперь мы поймем, почему мудрецы наши употребляют столь жесткие выражения в адрес Йеуды, обрекшего брата на такие испытания, и, наоборот, весьма снисходительны к Реувену, предложившему бросить Йосефа в яму в пустыне. Вроде бы Реувен едва не причинил Йосефу куда худшее зло: яма та “пустая, в ней не было воды”, зато “змеи и скорпионы были” (Берешит, 37:24; Раши на Берешит, 37:24). Фактически Реувен предложил братьям “не наложить руки нашей” на Йосефа (Берешит, 37:22): не убивать его своими руками, а поручить это змеям и скорпионам! А Йеуда? Он спас Йосефу жизнь!

Но дело в том, что Реувен был уверен в праведности Йосефа и в том, что змеи и скорпионы не причинят ему вреда. Если же нет – что ж, Йосеф погибнет физически, зато останется чист духовно. А из-за Йеуды Йосеф мог потерять свой Будущий мир, что куда страшнее, чем потеря этого мира. И привести к этому способен был тот компромисс, на который пошел Йеуда.

«Но маленькая лошадка где-то там есть!»

Еְיָוֵי עַיִ

Однажды, много лет назад, один крестьянин рассказывал своим товарищам об увиденном им чуде: “Несколько огромных карет, связанных между собой, едут по двум железным колеям сами собой! И никто их не тянет, и никто не толкает – диво дивное!” Призадумались крестьяне и начали обсуждать услышанное. Да, действительно, диво дивное... Один предлагает свое объяснение, другой с ним не соглашается и дает свое, третий не принимает оба истолкования, но своего не имеет... Наконец, исчерпав все возможные предположения, решили пойти и самим посмотреть.

Сказано – сделано. Шли, шли, пришли на вокзал и стали придирчиво осматривать поезд. Да, в эти “кареты” не впряжены ни лошади, ни волы... Паровоз загудел, и поезд двинулся с места. “Вот! – радостно закричал один из приятелей, старый, выдавший виды извозчик. – Понял я, понял: большой лошади и вправду тут нет, но маленькая лошадка где-то там есть!”

Наш разум не может отказаться от привычных представлений о реальной действительности. Даже приняв, что “воля Творца непостижима”, он продолжает упорно добиваться: какой же при всем при этом есть смысл в повелениях Всевышнего и какое благо они с собой несут?..

Вышеприведенную историю хасиды рассказывают как иллюстрацию ограниченности человеческого разума. Действительно, возможности его огромны, и, в частности, он способен прийти к заключению, что существуют вещи, превышающие его способность постижения. Однако и тут он никак не может полностью выйти за собственные пределы: “большая лошадь” или “маленькая лошадка” – это для него приемлемо, однако вообще без лошади – невозможно!

Есть ли смысл у хуким?

Заповеди Торы разделяются, в самом общем плане, на три группы: мишпатим, эдуйот и хуким. Мишпатим, “установления”, – это такие заповеди, аналоги которых есть у всех цивилизованных народов: запрет убийства, грабежа, насилия, необходимость иметь законодательные и исполнительные органы для поддержания общественного порядка и т. п. Эдуйот – это “свидетельства” нашего еврейства: соблюдение субботы как знак веры в Единого Творца, сотворившего вселенную за шесть дней и прекратившего эту работу в день седьмой; празднование Песаха как годовщины нашего освобождения из египетского рабства и т. п. Но хуким, “законы”, – или, вернее, “декреты” – не имеют смысла, доступного человеческому разуму. Любое объяснение, для чего следует совершать обрезание, почему запрещено есть свинину или надевать одежду, сотканную из овечьей шерсти, перемешанной со льном, заведомо неполное и легко может быть опровергнуто контраргументом. Таким образом, в хуким Б-жественное проявляется наиболее очевидно: поскольку человеческий разум не мог бы придумать их (и даже склонен представлять их себе как абсурдные требования), они – поистине вердикты Б-жественной воли.

Ребе Раяц пишет: принято думать, что еврей должен стремиться к такому же исполнению абсолютно непонятных хуким – с энтузиазмом, душевным подъемом, – как к исполнению мишпатим и эдуйот, необходимость которых совершенно очевидна. Но на

самом-то деле все как раз наоборот: мишпатим и эдуйот следует исполнять так же, как хуким: с сознанием, что они – не плод творчества гениального законодателя-человека, а вердикты Б-жественной воли. То есть исполнять с той же безусловной покорностью власти Царя вселенной, с тем же благоговением – но и с той же гордостью избранника, удостоившегося миссии Свыше.

Наш Ребе, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, поясняет это следующим примером. Учитель поручил ученику сделать что-то, не объяснив, для чего это нужно. Тот в точности исполнил поручение – несмотря на то, что, с его точки зрения, оно казалось бессмысленным. Можно сказать, ученик явил образец безусловного подчинения воле учителя. Но можно взглянуть и с другой стороны: на этот раз действительно ученик не получил никакого объяснения, но в предыдущих девятнадцати случаях оказывалось, что учитель – великий мудрец, имеющий далеко идущие замыслы, и все его поручения ведут к определенной цели. Поэтому и теперь, на основании предыдущего опыта, ученик полностью положился на мудрость учителя в надежде, что когда-нибудь в будущем ему станет ясен смысл этого поручения.

То же самое в исполнении хуким. Здесь также в основании разум: а именно умственное признание того, что Всевышний мудр Б-жественной мудростью и ведет всю вселенную по определенному, ясному для Него пути. Непонимание же нами смысла Его поручений, которые называются хуким, – не более чем “техническая мелочь”: теперешняя неспособность нашего разума вместить все величие Б-жественного замысла. Еврей исполняет заповеди, смысл которых ему совершенно непонятен, как вердикт Свыше, не требуя никаких разъяснений. Но, говорит Ребе Раяц, точно таким же должно быть исполнение и других заповедей: лишь потому, что Всевышний “освятил нас Своими заповедями и повелел нам” делать то-то и то-то, мы обязаны исполнять установления, понятные нашему разуму, как вердикты Свыше – с тем же абсолютным подчинением Б-жественной воле, которое характерно для исполнения хуким.

Но так дело обстоит только на первый взгляд. Ребе объясняет, что сказанное относится не только к действенной стороне исполнения заповедей – практическому воплощению Б-жественного поручения. Заповеди являются выражением Б-жественной воли по самой своей сути – независимо от того, как мы понимаем или истолковываем их. И с этой точки зрения нет никакого различия между хуким, мишпатим и эдуйот: оно – чисто “конвенциональное”, то есть соответствующее ограниченным возможностям человеческого разума. Но и это тоже порождение Б-жественной воли: именно она определила, какие из заповедей поддаются рациональному объяснению и в какой степени, а какие – нет. Так что наличие или отсутствие смысла заповедей – лишь их “одежка”, по сути же своей все они вердикты Б-жественной воли, априори превышающей возможности человеческого интеллекта.

Зачем подчеркивать иррациональность заповедей?

**Что хорошего в том,
что не поддается
логическому
объяснению?**

Напрашивается вопрос: какое достоинство Б-жественной воли мы подчеркиваем, настойчиво повторяя, что она именно иррациональна, непостижима для нашего разума? Ведь тем самым мы показываем, что заповеди изначально лишены всякого содержания, а его отсутствие всегда представляется нам каким-то недостатком?



Дело в том, что все понятия – “значение”, “достоинство”, “содержание”, “смысл” и т. п. – такие же творения Всевышнего, как все творения в мире. И к Самому Творцу – беспредельному по истине – неприменимы понятия, которые Он же и создал. Так, вышеприведенный вопрос о “достоинстве” Б-жественной воли не имеет абсолютно никакого смысла, поскольку безграничное нельзя определить с помощью дефиниции, имеющей ограниченный смысл.

Теоретически это так. Однако, казалось бы, лишь теоретически, потому что человеческий разум упорно сопротивляется подобным представлениям. Он продолжает спрашивать: при всем при том, как обозначить достоинство, которое содержится в иррациональном?

То есть “маленькая лошадка все-таки где-то там есть!”.

В главе 9-й второй части «Таньи», которая называется “Врата единства и веры”, Алтер Ребе говорит о несоизмеримости Б-жественной мудрости, открывающейся в сотворенном мире, и Самого Творца. Ребе выражается так: в действительности даже сказать о Творце, что Он выше мудрости, нельзя, потому что это все равно что сказать о каком-то очень глубоком и возвышенном знании, что его невозможно потрогать руками из-за крайней глубины его. “Каждый, кто это услышит, будет смеяться...”

Возьмем, к примеру, огонь. Несмотря на то что он, безусловно, имеет материальную природу и осязаем, потрогать его невозможно. Или звук и запах: хотя они также материальны, однако еще более “тонки”, чем огонь: их невозможно даже увидеть. При этом у всех трех есть общее качество: они материальны, воспринимаемы органами чувств и локализованы в пространстве. А различие между ними в том, как именно воспринимают их органы чувств: огонь – видят (и даже нередко слышат – например, как трещат сгорающие сучья), ощущают его жар, звук – только слышат, а запах – только обоняют.

Однако прийти и сообщить “новость” – некое знание, дескать, столь глубоко, что его нельзя потрогать руками, – просто абсурдно. Потому что знание вообще не принадлежит к области осязаемых объектов. Также меры (то есть критерии), с помощью которых мы определяем, насколько “глубоко”, “ново” или “возвышенно” знание, ни в малейшей степени не связаны с материальной сферой.

Теперь мы лучше понимаем, что имел в виду Алтер Ребе, когда писал, что, если кто-нибудь придет и сообщит “новость”: Творец выше мудрости, это заявление будет столь же абсурдно, как если бы было сказано, что мудрость нельзя потрогать руками.

Конкретный пример:

Возьмем в качестве примера двоих людей. Один – человек грубый, «приземленный». Его кругозор ограничивается лишь тем, что можно взять в руки и потрогать. Такой человек будет называть реальным лишь то, что его органы чувств воспринимают и определяют как жесткое или мягкое, приятное или неприятное и т. п. Если мы придем к нему и расскажем о чем-то совершенно новом, ему неизвестном, какой будет его первая реакция? Он спросит: а какого рода этот предмет – мягкий или жесткий, тяжелый или легкий, какого он цвета и т. п. И если услышит, что все эти свойства здесь не



имеют места, придет к однозначному выводу: все это сказки, в природе нет ничего подобного!

А если то, о чем мы ему расскажем, – разум, то он с уверенностью заявит: никакого разума в действительности нет!

Другой человек одарен способностью воображения и понимания. Если мы расскажем ему о факте существования разума, который не поддается восприятию органами чувств, он, скорее всего, примет наши слова – но лишь в принципе. Он согласится, что такое явление может существовать, но все-таки постарается представить его себе более наглядно. Он примется рассуждать: так, разум нельзя пощупать – но и огонь, который, без сомнения, существует, тоже нельзя пощупать руками. А звук и запах даже увидеть невозможно – однако они тоже, без сомнения, существуют! Следовательно, придет к выводу наш знакомый, существуют явления,

которые не видны, не слышны, не осязаемы и все-таки принадлежат к области нашей реальности.

Чтобы достичь этого результата, человек должен будет подняться по “лестнице” примеров: от более грубых к более тонким. Однако сообщение, что разум имеет природу чисто духовную и вообще не принадлежит к миру материальных явлений, человек этот принять не сможет. И причина в том, что он не найдет никакой аналогии в реальной действительности, отталкиваясь от которой сможет составить себе некое представление.

Два человека, которых мы нарисовали, это олицетворения двух форм одного и того же подхода к познанию. Общее для них состоит в том, что никакая реальность не мыслится вне определенных форм существования. Можно принять, что существует нечто более высокое, нежели данная реальность, – но насколько более высокое? И тут уже все зависит от способности человека к абстрактному мышлению и от тонкости его воображения. Интеллектуально одаренный человек попытается выйти за пределы своего повседневного опыта, но и тогда все-таки будет употреблять меры и понятия, почерпнутые им из окружающей действительности. Возможно, он достигнет такой высокой степени абстрагирования, что ему начнет казаться, будто он уже поднялся в сферу духовного. Но при этом согласится ли он с тем, что есть и такие явления, которые вообще выходят за рамки реальной действительности?.. Нет уж! Пусть “большой лошади” тут и вправду нет, но чтобы не было вообще никакой – даже “маленькой”?! Никким образом!

Возможно ли единение с беспредельным?

Когда человеческий разум узнает о существовании Б-жественного, его реакция в точности такова, как у двух описанных выше людей. Если разум груб и «приземлен», он сразу отвергает такую идею. То, что не поддается моему пониманию, заявляет он, не может существовать вовсе. Более тонкий ум согласится с тем, что в принципе возможно существование Б-жественного, превышающего рамки человеческого разума, однако тут же примется искать аналогии, с помощью которых постарается уяснить себе природу Б-жественного.

Это естественный путь нашего мышления. Когда человеческий разум размышляет о понятиях, связанных с Б-жественным, то такие понятия, как “знание”, “интеллект”, “достоинство”, “совершенство”, он принимает как позитивные, поскольку и

они сотворены Всевышним. И когда человеческий разум узнает, что заповеди Торы – выражение воли Творца, непостижимой для него, он все-таки старается отыскать связь между ними и кругом своих понятий. То есть человеческий разум всегда пытается отыскать приемлемый для него смысл даже в том, что априори выше возможностей его постижения, ибо не в состоянии полностью отказаться от аналогий из багажа собственного опыта.

А истина? Истина в том, что все понятия, которыми оперирует разум, не больше чем творения. Однако Творец и Его воля истинно беспредельны и не поддаются никакому интеллектуальному определению. К ним абсолютно не приложимы понятия, с помощью которых разум (который сам не больше чем творение) познает, понимает, постигает. Суть же воли Всевышнего для человеческого разума – абсолютно не понятный приказ Свыше: “Приказ Я отдал, закон Я установил” (Бемидбар раба, 19:1). Именно в этом-то и выражается ее беспредельность, аналогичная беспредельности Самого Творца.

Однако, когда еврей исполняет любую заповедь Творца практически, он соединяет с Ним свою душу. Причем не имеет значения, какую именно заповедь он исполняет: пусть даже она относится к разряду мишпатим, необходимость которых якобы понятна человеческому разуму. Главное, что еврей при этом не размышляет о ее полезности и не превращает эту “пользу” в фактор исполнения заповеди, но исполняет ее именно как Б-жественное повеление Свыше, как “приказ”, который отдал Сам Творец, как “закон”, который Он установил.

Слово “мицва” (“заповедь”) – однокоренное со словом “цавта” (“соединение”). Как видно, даже в простом смысле этого слова содержится указание на эффект, достигаемый исполнением заповедей: соединение со Святым, благословен Он, абсолютно не постижимым человеческим разумом, поистине беспредельным.

"Иудейский прозелитизм" в греко-римскую эпоху

Ἰ εὐαγγέλιον ὁμοῦ

В отличие от христианства и ислама, классический иудаизм, как правило, не считается миссионерской религией. Иудеи готовы принять в свои ряды отдельных неевреев, желающих присоединиться к еврейскому народу и жить по законам Торы, но активным прозелитизмом они занимаются крайне редко. В отличие от христианской и исламской традиций, раввинистический иудаизм не считает, что он является единственно правильным путем для всего человечества. Но было ли так всегда? Как известно, на протяжении своей истории религиозные системы претерпевают разнообразные изменения и трансформации, и позиция верующих по отношению к тем или иным вопросам зачастую кардинально меняется. В данной статье мы попытаемся продемонстрировать, что немало древних источников свидетельствуют о том, что иудаизм греко-римской эпохи был активной миссионерской религией и что его успех на поприще прозелитизма был широко известен, а также вызывал недоумение и гнев в среде языческих интеллектуалов.

Распространение иудаизма среди язычников является сегодня одним из наиболее обсуждаемых вопросов еврейской позднеантичной истории. За последние два десятилетия вышли в свет десятки статей и более дюжины книг, посвященных этой теме. В рамках настоящей статьи мы не сможем досконально обсудить все вопросы, связанные с иудейской миссионерской деятельностью в греко-римскую эпоху, и ограничимся лишь рассмотрением наиболее важных свидетельств, касающихся второй половины периода Второго храма. Останется открытым и вопрос о том, когда и почему иудаизм отказался от своих миссионерских амбиций: это – тема для отдельной статьи, или, скорее, монографии.

В пользу предположения о миссионерском характере иудаизма в эпоху Второго храма свидетельствуют три основных фактора. Во-первых, если количество евреев в начале этого периода (конец VI века до н. э.) не превышало несколько десятков тысяч, то, по самым низким оценкам, к концу I века н. э. в мире было не менее 4,5 млн иудеев. Что же касается менее скептически настроенных исследователей, то они говорят о 6 и даже о 8 млн. Столь драматический прирост населения невозможно объяснить лишь пресловутой еврейской плодовитостью. Во-вторых, мы располагаем неоспоримыми свидетельствами о том, что евреи активно занимались прозелитизмом – и на государственном, и на индивидуальном уровнях. Многие ученые полагают, что большая часть еврейской литературы периода Второго храма может быть названа “миссионерской”. В-третьих, раннее христианство, по общепринятому на настоящий момент мнению являвшееся на своих ранних стадиях всего лишь одной из сект иудаизма, изначально имело неоспоримый миссионерский характер. В отличие от многих других элементов христианского учения, вокруг которых велись бурные споры, его миссионерская направленность не вызвала ни удивления, ни особой рефлексии. Другими словами, миссионерский характер раннего христианства никем из современников не считался чем-то из ряда вон выходящим и достойным особого внимания, что в свою очередь подтверждает предположение о том, что иудаизм, в котором раннее христианство зародилось, был миссионерской религией.

Следует подчеркнуть, что иудаизм в античную эпоху не обладал той степенью монолитности, которая была характерна для еврейской религии более поздних периодов. В нем сосуществовало множество различных течений, партий, сект и харизматических лидеров, и неудивительно, что их позиции по отношению к



тому или иному вопросу могли кардинально отличаться друг от друга. Так, например, евреи, оставившие нам 1-ю Книгу Еноха, Премудрость Бен-Сиры, Книгу Юбилеев, кумранские свитки и раннюю раввинистическую литературу, по большей части не были озабочены вопросами прозелитизма. Напротив, Филон Александрийский, Савл Тарсийский (он же апостол Павел), Иосиф Флавий, так называемые “Псевдо-греческие поэты”, Аристокбул, а также авторы “Иосифа и Асенефа”, “Премудрости Соломона”, Третьей, Четвертой и Пятой Сивиллиных книг явно стремились к тому, чтобы язычники присоединились к их иудаизму.

Другими словами, для того, чтобы те или иные язычники приняли ту или иную версию иудаизма, вовсе не нужно было, чтобы все евреи того времени прилагали к этому активные усилия. Было вполне достаточно, чтобы хотя бы часть иудеев считала это своим священным долгом. Судя по сохранившимся историческим источникам, иерусалимские первосвященники, а впоследствии цари из династии Хасмонеев принадлежали именно к тем иудеям, которые были готовы пролить немало пота и крови (своей и чужой) ради того, чтобы другие народы и племена приняли иудаизм.

Так, мы знаем, что племянник Йеуды Маккавея, первосвященник Йоханан Гиркан (Горкинес, 135–104 годы до н. э.), захватил Самарию и разрушил самаритянский храм. По всей видимости, он надеялся, что, лишившись собственного святилища на святой для них горе Гризим, самаритяне быстро присоединятся к иудеям, культовым центром которых являлся Иерусалимский храм. Однако он просчитался: самаритяне не приняли “иудаизм с Сиона” и навеки остались верны развалинам Гризима. Тогда Гиркан повернул на юг и, захватив южную часть Иудеи, населенной идумеями, предложил им либо принять иудаизм, либо оставить свои земли. Идумеи согласились принять иудейские обычаи, включая обрезание, и, как пишет об этом Иосиф Флавий, “...с тех пор и далее стали они иудеями” (Иудейские древности, 13:257). Таковыми они продолжали быть и 200 лет спустя, во время Великого восстания против римлян, когда несколько десятков тысяч из их потомков рвались защищать ставший святым для них город Иерусалим. Сын Гиркана, Йеуда Аристокбул (105–104 годы до н. э.), завоевал Галилею и обратил в иудаизм часть проживавшего там арабского племени итуреев (Иудейские древности, 13:319). Брат Аристокбула, Александр Яннай (104–76 годы до н. э.), пытался также иудаизировать жителей завоеванных эллинистических городов, предлагая им либо иудейскую веру, либо изгнание (Иудейские древности, 13:397). Греки, в отличие от идумеев и итуреев, предпочли изгнание. Хасмонеи, таким образом, были рьяными миссионерами, распространявшими свою религию с помощью огня и меча.

Кроме воинствующего государственного прозелитизма существовала также более мирная, индивидуальная “миссия”. Еврейские источники периода Второго храма свидетельствуют о том, что немало евреев питали надежду на обращение широких языческих масс в иудаизм. Некоторые современные ученые определяют практически всю сохранившуюся еврейскую литературу обсуждаемого периода как “миссионерскую”. Согласно другому подходу, еврейская литература, обычно рассматриваемая в качестве “миссионерской”, на самом деле была направлена на укрепление религиозного сознания самих евреев. Однако если автор того или иного еврейского произведения открыто обращается к язычникам, призывая их верить в иудейского Б-га и соблюдать заповеди иудаизма (угрожая при этом, страшными небесными казнями и загробными мучениями), то почему бы нам не поверить в искренность его побуждений?

В качестве примера такой миссионерской литературы можно привести Четвертую книгу Сивилл, которая датируется приблизительно 80 годом н. э. Начинается она так:

**напророчить,
мощные звуки издав
из широкоотверстого горла!
И не от лживого Феба, которого глупые
люди
богом назвали, ему приписав,
что пророк он,
стану вещать, но послушна желанию
вечного Б-га,
руки Кого не слепили людские,
подобно тому как
идолов лепят немых и из камня
их высекают.**

Далее следует описание иудейского (т. е. единственно истинного) Б-га – невидимого, вездесущего, всемогущего, а также призыв к покаянию и поклонению этому Б-гу. То, что автор книги проповедует именно иудаизм, ни у кого сомнения не вызывает. Тот, кто внимлет проповеди и покается, будет вечно блаженствовать. Те же, кто отвергнет ее и будет продолжать заниматься идолопоклонничеством, воровством, мужеложством и убийствами, сгорят в вечном огне. И это всего лишь один пример из легиона еврейских миссионерских произведений данной эпохи.

Миссионерские чаяния не были чужды и такому утонченному интеллектуалу, как Филон Александрийский. Он неоднократно и с глубокой симпатией писал о прозелитах. Филон утверждал, что если даже в его эпоху, когда евреи находятся под римским гнетом, законы Моисея почитаемы столь многими, то, несомненно, когда положение евреев улучшится, все народы оставят неразумные обычаи своих отцов и начнут соблюдать лишь еврейские традиции (О жизни Моисея II, 43–44). В том же самом сочинении Филон пишет, что перевод Торы на греческий язык был совершен для того, чтобы все могли “извлечь пользу из соблюдения мудрых и совершенных заповедей для исправления мира” (О жизни Моисея II, 36). Филон подчеркивает, что язычник обращается от беззакония к нравственности, от идолов – к Б-гу живому: “...Прозелит – это не тот, кто обрезает свое необрезание (разрядка наша. – М. Т.), а тот, кто обрезает наслаждения, вожделения, и другие страсти своей души”. Для Филона иудаизм – это не национальная религия одного лишь еврейского народа, а единственно правильная “философия” и идеальная “конституция”, находящаяся в полной гармонии с законами Вселенной. В соответствии с его этимологией, “Израиль” означает “человек, видящий Б-га”, а им, считает Филон, может быть каждый, истинно познавший смысл Торы. Законы Торы идентичны законам мироздания, а посему познавший и исполняющий их – суть “космополит”, то есть истинный гражданин космоса.

Тексты Нового Завета, за редкими исключениями, написанные во второй половине I века н. э., также свидетельствуют о еврейской миссионерской деятельности. Самый знаменитый раннехристианский миссионер – апостол Павел, – по всей видимости, до конца дней своих считал себя правоверным фарисеем. Автор Евангелия от Матфея (у которого были разногласия с подходом Павла к обращению язычников) не менее ревностно стремился проповедовать язычникам новую Тору своего “нового Моисея”. Даже если мы откажемся от рассмотрения собственно раннехристианской миссии среди язычников (для чего, по-моему, нет основания), то достаточно таких текстов, как Матфей, 23:15, и многократных упоминаний “боящихся Бога” в Евангелии от Луки и в Деяниях апостолов, чтобы получить впечатляющую картину еврейского прозелитизма.

Сочинения Иосифа Флавия также подтверждают феноменальную популярность иудаизма в среде язычников в I веке н. э. Стоит отметить, что даже исследователи, отрицающие миссионерский характер большей части еврейской эллинистической литературы, вынуждены согласиться с тем, что Иосиф писал в основном для неевреев и был настроен апологетически. Так, например, Стив Мейсон, являющийся главным редактором нового английского перевода и комментария трудов Флавия, считает, что “Иудейские древности” и “Против Апиона” – это своего рода миссионерское введение в иудаизм для неевреев.

Иосиф пишет, что в начале Великого восстания (66 год н. э.), когда языческие жители близлежащих смешанных городов ополчились на своих еврейских соседей, сирийцы не могли спать спокойно даже после того, как поубивали всех евреев вокруг. Причиной их тревоги были неисчислимы полупрозелиты, которых они боялись не менее, чем урожденных евреев (Иудейская война, 2:18:2). Он пишет, что, когда жители Дамаска планировали расправу над евреями, им пришлось это делать ночью, так как они боялись своих жен, которые, за редким исключением, обратились в иудаизм (Иудейская война, 2:20:2). Описывая иудейскую общину сирийской Антиохии, Иосиф пишет что еврейские жители этого города “украшили свою святыню высокохудожественными и драгоценными дарами и, привлекая к своей вере множество эллинов, сделали и этих последних до известной степени составной частью своей общины” (Иудейская война, 7:3:3). Стоит также упомянуть принятие иудаизма царским двором Адиабены (Иудейские древности, 20:17-96) и историю о том, как римская аристократка по имени Фульвия была одурочена еврейскими мошенниками после своего обращения в иудаизм (Иудейские древности, 18:81-84).

Можно было бы предположить, что после подавления восстания и разрушения храма популярность иудаизма в языческих кругах уменьшилась. Но если верить Иосифу, она возросла. Самым живописным описанием популярности иудаизма в греческо-римском мире конца I века в сочинениях Иосифа является отрывок из “Против Апиона”, 2:280-284:

Мы засвидетельствовали перед всеми остальными народами преимущества наших законов, которые неизменно приобретают себе все новых сторонников из их числа. Эллинистические философы были первыми, кто осознал саму необходимость бережного отношения к древним обычаям. Они стали придерживаться этого в своих делах и учении, имея похожие понятия о Б-ге, уча простоте жизни и добрым отношениям между людьми. И даже не только они, но и простой народ издавна стремился подражать нашему благочестию, и нет ни эллинистического, ни варварского города и ни единого народа, у которого не было бы обычая почитать субботу, когда мы отдыхаем от трудов, и не соблюдать посты, обычаи зажигания свечей, а также многочисленные из бытующих у нас предписаний относительно пищи... Но более всего удивительно то, что закон имеет силу сам по себе, не увлекая никакими прелестями и наслаждениями. Подобно тому как Б-г повсюду присутствует в мире, так и закон повсеместно проник ко всем людям. Никто, взглянув на свое собственное отечество и свой родной дом, не станет отрицать сказанного мною.



Нет сомнения в том, что Филон и Иосиф имели веские причины для описания своей собственной религии в качестве приемлемого и, более того, распространенного в “большом мире” феномена. Также вероятно то, что Матфея тревожила конкуренция фарисеев в обращении язычников, а Лука из теологических побуждений был способен на преувеличение числа “боящихся Б-га” в его эпоху. Но ведь и римские авторы конца I – начала II века н. э. возмущенно пишут о воздействии иудаизма на римское общество.

Сенека Старший (конец I века до н. э. – 65 год н. э.) в своей знаменитой книге “О суеверии” писал: “А между тем обычай этого преступнейшего народа возымел такую силу, что принят уже по всей земле: побежденные дали законы победителям”. Это сочинение Сенека, скорее всего, написал ближе к концу своей жизни, т. е. в 60-х годах I века н. э.

Другой известный философ-стоик, Эпиктет (ок. 50–130), был настолько хорошо знаком с иудейским прозелитизмом, что он использовал это явление провербиально:

И когда мы видим, что кто-то ведет себя двойственно, мы обычно говорим: “Это не иудей, он выдает себя за него”. А когда он проникнут убежденностью омывшегося и сделавшего свой выбор, тогда он действительно и есть, и называется иудей. Вот так и мы, лжеомывшиеся: на словах – иудеи, а на деле – нечто другое; не проникнувшись учением, мы далеки от исполнения того, что провозглашаем и знанием чего кичимся” (apud: Arrianus, Dissertationes, II, 9, 20–21).

Среди римских писателей, сетующих на популярность иудаизма, стоит упомянуть сатирика Ювенала (ок. 60–130). Ювенал писал о евреях не раз, но особенно интересно его описание “поэтапного принятия иудаизма” в Сатирах, 14:96-106:

**Выпал по жребью иным отец –
почитатель субботы:
Лишь к облакам их молитвы идут
и к небесному своду;
Также запретна свинина для них,
как и мясо людское,
Ради завета отцов (от которой
воздерживался отец);**

**они крайнюю плоть обрезают
С детства (позже), они презирать
приучились обычай римлян,
Учат, и чтут, и хранят лишь
свое иудейское право, –
Что бы им там ни дано в Моисеевом
тайном писанье, –
Право указывать путь лишь поклоннику
той же святыни
Иль отводить к роднику лишь
обрезанных, но не неверных.
Здесь виноват их отец, для которого
каждый субботний
День – без забот, огражденный от всяких
житейских занятий.**

Данный пассаж говорит сам за себя – феномен “боящихся Б-га”, постепенно превращающихся в “совершенных” иудеев, был прекрасно известен в римском обществе в конце I – начале II века н. э. Логично предположить, что большая часть прозелитов перешла в иудаизм именно этим путем.

Ярым критиком иудаизма являлся римский историк Тацит (ок. 56–120). Самый длинный и наиболее известный пассаж, посвященный евреям и иудаизму, находится в



пятой книге его “Историй”. После описания происхождения иудеев и некоторых наиболее любопытных для римлян иудейских обычаев Тацит пишет следующее:

Каково бы ни было происхождение этих обычаев, они сильны своей древностью; прочие же установления, отвратительная мерзость, обрели силу из-за порочности. И ведь действительно, самые последние ничтожества (из других племен), презрев веру отцов, везли и везли туда дары и жертвоприношения, отчего и приумножилась мощь иудеев; а еще потому она окрепла, что среди своих верность их непоколебима и готовность к состраданию неизменна, всех же остальных они ненавидят, как врагов. Они ни с кем не делят ни пищу, ни ложе; будучи племенем в высшей степени похотливым, они воздерживаются от связей с чужими женщинами; между своими же позволено все; чтоб отличать своих, они ввели обрезание. Принявшие их обычаи поступают так же, и ничто они не усваивают так скоро, как презрение к богам, отречение от родины, безразличие к родителям, детям и братьям (Истории, 5: 1-2).

Нет сомнения в том, что Тацит сетовал на явление, достигшее в его эпоху угрожающих масштабов. Если, как считают некоторые исследователи, оно было маргинальным, то почему же Тацит с такой злобой и язвительностью писал о прозелитах? Мне кажется, что его – как римского аристократа, верного традициям отцов, – приводила в ярость вышедшая из-под контроля и все растущая популярность “варварского суеверия”.

Немало интересной информации о положении дел в конце I века н. э. можно найти в сочинениях другого римского автора немного более позднего периода – Кассия Диона (ок. 160–230). Так, в Римской истории (XXXVII, 16:5-17:1) он пишет, что у Палестины есть еще и другое название: “страна называется Иудея, а жители – иудеи. Откуда повелось таковое название, мне неизвестно, но так же зовутся и другие люди, пусть и из иного племени, кои соблюдают их обычаи, так что порода сия существует и у римлян и, хоть часто бывала утесняема, весьма умножалась числом, отвоевавши себе, наконец, свободу жить по собственным правилам”. И далее:

В тот же год [95 год] вместе со многими другими убил Домитиан и консула Флавия Клементя, хотя тот доводился ему двоюродным [братом] и женат был на его родственнице Флавии Домитилле, – оба были обвинены в безбожии. За это же самое были осуждены и иные многие, уклонившиеся в иудейские правила, и одних казнили смертью, у других же отняли имение (LXVII, 14, 1-3).

Светоний (ок. 69 года – первая половина II века н. э.) писал об “иудейском налоге”, который все иудеи Римской империи обязаны были платить после подавления Великого восстания. В Жизнеописаниях Цезарей (Домитиан, 12, 2) он пишет: “С особой суровостью по сравнению со всеми другими взыскивался иудейский налог: им облагались и те, кто не признавался, что живет жизнью иудеев, и те, кто скрывал свое происхождение и не платил наложенной на это племя дани”. Скорее всего, во втором случае Светоний имел в виду евреев по рождению, а в первом – “боящихся Б-га” или прозелитов, принявших иудейский образ жизни. Другими словами, явление прозелитизма было настолько распространено, что им занималось налоговое управление.

Впрочем, существует точка зрения, в соответствии с которой популярность иудаизма в греко-римском мире и значительное число прозелитов среди язычников никак не свидетельствуют о том, что иудеи вели направленную миссионерскую пропаганду. Вполне возможно, что язычники сами по себе заинтересовались иудаизмом, привлеченные свойственными ему этическими идеалами, аскетизмом, сплоченностью

верующих, возвышенными представлениями о божестве, философским служением, отправляемым в синагогах диаспоры и т. д. Однако этот подход игнорирует неоспоримые свидетельства иудео-эллинистических авторов, открыто заявлявших, что они обращаются с проповедью иудаизма к язычникам.

В свете миссионерской направленности большей части еврейской литературы рассматриваемого периода и изобилия свидетельств о язычниках, принявших иудаизм, вполне оправданным является утверждение, что иудаизм эпохи Второго храма был религией миссионерской – и притом весьма успешной.

1. С равным успехом можно было бы проанализировать раннехристианские тексты (II–IV века н. э.), также свидетельствующие о популярности иудаизма и в языческих, и в христианских кругах.
2. Наиболее важные из недавних книг: McKnight S. *A Light Among the Gentiles*. Minneapolis, 1991, 1992; Feldman L. H. *Jew and Gentile in the Ancient World*. Princeton, 1993; Goodman M. *Mission and Conversion*. Oxford, 1994; Schafer P. *Judeophobia*. Cambridge (Mass.), 1997; London – New York, 2002; Левинская И. Деяния Апостолов на фоне еврейской диаспоры. СПб., 2000. Обзорная статья: W. Liebeschuetz. *The Influence of Judaism among Non-Jews in the Imperial Period* // *JJS* 52:2. P. 235–252.
3. См.: D. Georgi. *The Opponents of Paul in Second Corinthians*. Philadelphia, 1986. P. 83–84.
4. См.: P. Dalbert. *Die Theologie der hellenistisch-jüdischen Missionsliteratur unter Ausschluss von Philo und Josephus*. Hamburg, 1954.
5. М. Витковская и В. Витковский. *Книги Сивилл*. Москва, 1996. С. 72. См.: Marcus R. (trans. and ed.). *Philo. Supplement II: Questions and Answers on Exodus (LCL)*. Cambridge (Mass.) / London, 1961. P. 36–37.
6. См.: Marcus R. (trans. and ed.). *Philo. Supplement II: Questions and Answers on Exodus (LCL)*. Cambridge (Mass.) / London, 1961. P. 36–37.
7. О том, что эллинистические евреи рассматривали иудаизм в качестве суперфилософии, см.: D. Winston. *Hellenistic Jewish Philosophy* // *Routledge History of World Philosophies*. Vol. 2. London, 1997. P. 38–61.
8. См.: E. Birnbaum. *The Place of Judaism in Philo's Thought*. Israel, Jews, and Proselytes. Atlanta, 1996.
9. Если верить Луке: см. Деяния апостолов, 23:6.
10. “Горе вам, книжники и фарисеи, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного; и когда это случится, делаете его сыном геены, вдвое худшим вас”.
11. Лука 7:1-10; Деяния апостолов, 2:10; 6:5; 8:26-39; 13:16, 26, 43, 50; 16:14; 17:4; 18:7
12. “Иудейская война” цитируется по: Иосиф Флавий. *Иудейская война*. Минск, 1999.
13. Филон Александрийский: *Против Флакка. О посольстве к Гаю. Иосиф Флавий. О древности еврейского народа. Против Апиона*. Москва – Иерусалим, 1994. С. 187.
14. Достаточно упомянуть тот факт, что все три изгнания евреев из Рима были связаны с иудейской миссионерской деятельностью.
15. Там же. С. 541 (№ 254).
16. Цитируется по: Штерн М. *Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме*. Т. 2. Ч. 1. Москва – Иерусалим, 2000. С. 100 (№ 301), с исправлениями И. Левинской (в скобках). См.: Левинская И. *Деяния*. С. 215–216.
17. Штерн М. Там же. С. 24–25 (№ 281).
18. Штерн М. *Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме*. Т. 2. Ч. 2. Москва – Иерусалим, 2002. С. 24 (№ 406).
19. Штерн М. Там же. С. 51 (№ 435).
20. Штерн М. Т. 2. Ч. 1. С. 124 (№ 320).
21. Главным проponentом этого подхода является Мартин Гудман (см. примеч. 2).

МОЙ МИР

Î adê Oaiñe

В издательстве “Текст” вскоре выйдет книга автобиографических заметок художника Марка Шагала, составленная и подготовленная профессором Йельского университета Бенджамином Харшавом (научный редактор Яков Брук).

Мы предлагаем вниманию читателей три главы первой автобиографии Шагала, до сих пор лежавшей в рукописи (частично опубликована на идише в 1925 году).

СВОЕ Рембрандту Сезанну маме жене

1.

Корыто – вот мое первое зрительное впечатление. Самое обыкновенное, местами слегка помятое прямоугольное корыто. Такие продаются на базаре. Я помещался в нем целиком.

Не помню кто, наверное мама, рассказывала, что, когда она рожала меня на Песковатиках, за тюрьмой, в крохотном домике у дороги, в Витебске вспыхнул пожар. Квартал, где жила еврейская беднота, тоже горел. Нас с мамой (я лежал на матрасе у нее в ногах) прямо на кровати перенесли в безопасное место, в другую часть города.

Но самое главное: я родился мертвым...

Мне не хотелось жить. Представьте себе маленький бледный пузырь, отказывающийся жить на этом свете... Словно напичкан картинами Шагала. Его кололи булавками, щипали, окунали в ведро с водой, и наконец он запищал. Но фактически я мертворожденный. Не хотелось бы только, чтобы психологи делали из этого всякие неутешительные для меня выводы... ради Б-га!

Пожар пощадил отцовский (дедов) дом на Песковатиках. Я недавно там побывал. Дом на прежнем месте. Когда дела у отца пошли немного лучше, он его продал. Эта хибара напоминает мне шишку на голове Зеленого Раввина (“Зеленый еврей”), которого я написал в Витебске в 1914 году. Еще он похож на картофелину, вымазанную в селедочном рассоле.

Озирая это жилище с высоты своего нынешнего “величия”, я невольно задаюсь испуганным вопросом: как мне вообще удалось родиться в таком месте?.. Как я умудрился вздохнуть?

Когда в глубокой старости умер мой рослый чернобородый дед, отец за гроши приобрел другой дом. На этот раз поблизости не было сумасшедшего дома, как на Песковатиках. Из нашего окна открывался вид на церкви, заборы, лавки и синагоги. В этом было что-то изначальное, простое и вечное, как на фресках Джотто. Мимо меня туда-



сюда сновали евреи, молодые и старые: Явичи и Бейлины. Бедняки спешили домой. Богачи шагали домой. Мальчик бежал домой из хедера. Мой папа возвращался домой. Кино-то еще не было. Вот люди и ходили либо домой, либо в лавку.

Вот что мне запомнилось после корыта.

Конечно, не считая неба и звезд. Потому что еще были звезды – безмолвные звезды моего детства. Они шли со мной в хедер, ждали меня на улице и провожали домой... Мои бедные звезды, простите меня. Я оставил вас на такой головокружительной высоте...

Мой веселый и грустный город! Ребенком я в страхе разглядывал тебя, стоя у нашей калитки. И ты казался мне таким ясным и понятным. Если мешал забор, я забирался на пенек. Если и тогда было плохо видно, залезал на крышу. В этом не было ничего особенного – мой дед тоже любил посидеть на крыше.

И вот весь город лежал передо мною.

Здесь, на Покровской улице, я пережил второе рождение.

2.

На картинах флорентийцев бывают такие второстепенные персонажи с нестриженными бородами, карими и в то же время как будто пепельными глазами и лицами цвета жженой охры в буграх и морщинах – вот примерно так выглядел мой отец.

В Пасхальной Агаде есть такой кошерный простак (извини, папа!)... Помнишь, я как-то нарисовал тебя? Мне хотелось передать ощущение, какое возникает при взгляде на мигающую свечу, которая еще горит, но вот-вот погаснет... Ее запах – это запах сновидения. Муха жужжала, и клонило в сон...

Есть ли смысл говорить о моем отце? Чего стоит бесценный человек, кто не имеет цены? И именно потому, что он был таким “бесценным”, трудно подобрать слова.

Мой Б-гобоязненный дед, сам учитель, не придумал ничего лучше, чем отдать старшего сына на работу в селедочный подвал, когда тот был еще подростком, а младшего – в ученики к парикмахеру. Предполагалось, что отец станет чем-то вроде подрядчика. Но из этого ничего не вышло – тридцать два года он фактически прослужил простым рабочим: таскал пятипудовые бочки. Мое сердце съеживалось, как турецкая булка, когда на моих глазах отец ворочал эти жуткие тяжести под присмотром толстопузого хозяина или голыми руками возился в ледяном селедочном рассоле...

Так что, мне кажется, я хорошо чувствую особую поэтическую безропотность народной души. Практически до самой смерти отец зарабатывал около двадцати рублей в месяц, не считая жалких чаевых (6–10 копеек) от покупателей. Но при этом мой папа был не из бедняков. Отнюдь. Судя по фотокарточке, запечатлевшей его в молодости, да и по содержимому нашего гардероба, отец на момент свадьбы был физически крепким и вовсе не нищим. Он подарил своей невесте модную шаль. Мама была еще совсем юной девушкой небольшого росточка и подросла уже после замужества.



Женившись, отец перестал отдавать деду свое недельное жалованье и начал сам вести хозяйство.

Но сперва позвольте мне завершить рассказ о моем чернобородом деду. Я не знаю, как долго он учительствовал. Говорят, он был уважаемым евреем. Лет десять назад мы с бабушкой побывали на его могиле. Увидев его надгробие, я окончательно убедился, что он был хорошим евреем. Безупречным. Праведным. Он лежит у реки возле почерневшей изгороди. Пенится, убегая, быстрая мутная вода. Рядом могилы других, давным-давно почивших праведников и мудрецов. Буквы на камне почти стерлись, но мне все-таки удалось разобрать надпись:

“Здесь лежит мудрец”.

Бабушка указала: “Вот могила твоего деда, отца твоего отца и моего первого мужа”.

Ее губы зашептали что-то. До меня долетали какие-то невнятные слова – то ли молитвы, то ли ее собственные. Наклонившись к надгробию, она заговорила так, словно этот камень и эта земля и были моим дедушкой. Создавалось впечатление, что она обращается к чему-то в глубине земли или говорит в шкаф, куда навсегда упрятали какую-то ценную вещь: “Давид, молись о нас! Давид, молись о своих детях. Это я, твоя Башева. Помолись о твоём хвором сыне Хаце, худеньком Зусе и об их детях. Чтобы они выросли хорошими людьми. Праведными и милосердными”.

С бабушкой со стороны папы мне было проще. Казалось, она вся состоит из платка, платья и маленького сморщенного личика. Крохотная старушка немногим больше метра. Больше всего на свете она любила своих детей и женский молитвенник. После смерти мужа она получила у ребе разрешение выйти за моего деда, отца моей матери, тоже овдовевшего. Ее муж и его жена умерли в том же году, когда поженились мои родители.

Семейный трон перешел к моей матери.

У меня всегда будет сжиматься сердце: во сне, или при внезапном уколе памяти, или когда мы приходим на кладбище в годовщину ее смерти – маминой смерти. Мама, мысленным взором я вижу, как ты медленно-медленно приближаешься ко мне, так медленно, что хочется тебя остановить. Ты улыбаешься моей улыбкой. Да, это моя улыбка.

Мать родилась в Лиозно, в том самом Лиозно, где я написал дом священника, перед домом – забор, перед забором – свиней... Мать была старшей дочерью деда, который полжизни провел на печи, четверть в синагоге, а оставшуюся четверть в мясной лавке. Не выдержав всего этого, бабушка умерла во цвете лет. Тогда дед забеспокоился. Коровы и телята тоже...

Правда ли, что мама была такой маленькой и неприметной? Ведь до свадьбы отец ее не видел. Маловероятно! Нам, детям, она казалась женщиной редкой выразительности, во всяком случае, по провинциальным меркам. Но я не хочу расхваливать мать. Ее уже нет. Какие тут могут быть слова? Тем более что чаще всего это не слова, а слезы... Там, у кладбищенских ворот, легче пламени, воздушнее тени... Я бегу туда плакать...



Я вижу реку, мост, а за ним – кладбищенский “вечный” забор и надгробия. Вот где моя душа. Ищите меня здесь. Здесь все мои картины, все мое искусство. Моя тоска. Вот ее портрет. Или мой – не важно. Кто я? (Наверное, ты улыбнешься, прохожий, недоуменно пожмешь плечами, рассмеешься.) Море печали. Волосы, поседевшие до срока, глаза, в которых стоит целый город слез, душа, которой почти нет, мозг, от которого ничего не осталось. Так что же есть?

Я помню, как она вела хозяйство и управляла моим отцом, с какой неутомимостью строила дома, открывала бакалейную лавку, нанимала извозчиков, а однажды, не имея ни копейки денег, привезла – взяв в кредит – целую телегу товара.

Что слова? Невозможно описать, как она, улыбаясь, стоит у двери или сидит за столом в ожидании покупателя. Сколько мудрости в ее речах и в ее печали. Или как вечером после субботней трапезы, когда отец задремывал за столом, всегда на одном и том же месте, посередине благословения (папа, на коленях прошу тебя, не обижайся), ее глаза грустнели, и она обращалась к нам,

своим восьмерым детям:

– Дети, давайте споем мелодию ребе. Все вместе! Помогайте мне!

Дети пели, пока сами не засыпали. У мамы на глаза наворачивались слезы, и я говорил:

– Опять начинаешь?..

– Все-все, не буду больше.

Я хочу сказать, что где-то в ней таился весь мой талант, что она отдала мне все, что имела. Пожалуй, кроме мудрости. Вот она подходит к моей комнате (во дворе у Явичей), стучится и спрашивает:

– Сынок, ты здесь? Что подельваешь? С Бертой виделся? Есть хочешь?

– Посмотри, мама! Тебе нравится?

Она внимательно-внимательно вглядывается в мой рисунок, в самую его глубину. Одному Б-гу ведомо, что значит выражение ее глаз. Я жду маминой оценки. Наконец, она говорит задумчиво и печально: “Да, сынок, я вижу: у тебя талант. Но, послушай, может быть, тебе все-таки лучше заняться торговлей? Мне тебя жалко. Что ты будешь делать с такими плечами? И откуда взялись у нас такие плечи?..”

Уже много лет прошло со дня ее смерти. Маму похоронили недалеко от входа, у ограды. Рядом – могилы других женщин. Из Лиозно и Могилева. Инфаркт. Инсульт. Грипп. Я все это знаю. От сердца умерла моя молодая светловолосая розовощекая бабушка. Дед все больше лежал на печи или пропадал в синагоге, а она работала, работала

и надорвалась. “Непревзойденный мясник” тоже умер от сердца, в синагоге на Йом Кипур, после поста, в первое полнолуние нового года.

Мой дорогой, вечно юный дед! Как же я любил тебя! Как радовался, когда приезжал в Лиозно и входил в твой дом, пропахший дублеными коровьими шкурами. Овчины мне тоже нравились. Да. Все твои вещи всегда висели в прихожей у двери: одежда, шляпы, хлыст и прочие сокровища. Они удивительно смотрелись на фоне серой стены. В их расположении было что-то особенное, что-то такое, что мне и сейчас трудно выразить. Вот такой у меня был дед. Каждый день забивали по две-три коровы. Свежее мясо продавали помещику и простым обывателям.

В дедовом хлеву стоит молодая телка с отвисшим брюхом. Она упрямо смотрит в сторону. Дед подходит к ней и говорит: “Ну-ка стой тихо. Сейчас мы свяжем тебе ноги. Нам нужно мясо, понимаешь?”

Телка со вздохом падает. Я дотрагиваюсь до нее, глажу ее под мордой, шепчу, чтобы она не боялась. Даю зарок не есть мяса... Что еще я могу сделать?.. Шелестит рожь под ветром, за изгородью синее небо. Но черно-белый мясник уже засучивает рукава и берет в руку нож. Едва ли она слышит слова благословения. Он отводит ей голову и быстрым резким движением вводит сталь в горло... Кровь бьет фонтаном.

Потом все стихает. Начинается разделка туши... Отделяют потроха, отрезают куски мяса, снимают шкуру. Ручьи крови. Розовой. Темно-красной. Поднимается пар. Как ловко работает дед, какое мастерство! Я в восторге. Мне снова хочется мяса. Бабушка, моя вторая бабушка из Лиозно, вечно кормила меня огромными кусками мяса: жареного, вареного, запеченного. Может, это была брюшина, а может, шея, ребра, легкие, печень... Я понятия не имел. В те времена я был очень глупым и, кажется, очень счастливым.

Дедушка, позволь мне еще немножко рассказать о тебе. Однажды старик наткнулся на мой рисунок, изображавший обнаженную женщину, и отвернулся, как будто это его не касается. Как если бы звезда упала на базарную площадь, а лавочники продолжали заниматься своими делами, словно это не имеет к ним ни малейшего отношения. Только потом я понял, что ни деду, ни моей маленькой морщинистой бабушке, да и вообще никому из моих родственников просто дела нет до моего искусства (что же это за картины, где все такое непохожее?). Мясо интересовало их гораздо больше.

А вот еще одна история про деда из Лиозно, маминого отца. Кажется, мама мне ее и рассказала, а может быть, она мне приснилась. Был праздник Суккос или Симхас Тойра. А дед куда-то пропал.

“Где он? Куда подевался?”

Оказалось – погода выдалась хорошая, он залез на крышу, уселся там на трубу и ест цимес. Неплохая картина, да?

Я совсем не против, если кто-то с радостью или даже с облегчением обнаружит в этих невинных семейных историях разгадки моих живописных сюжетов. Меня это нисколько не смущает. Дорогие граждане, пожалуйста, думайте что хотите.

А теперь я хочу рассказать вам еще одну историю, если вам и так недостаточно улики и доказательств вашей правоты и моей вины на суде здравого смысла. Это из рассказов мамы о наших лиозненских родственниках... Как-то раз один из них решил



прогуляться по местечку без штанов, с голым задом. Ну и что? Неужели это так ужасно? Когда я представляю себе это зрелище, мое сердце наполняется ликованием. Как если бы персонажи Мазаччо или Пьеро делла Франческа ожили среди бела дня на улочках Лиозно. Мне кажется, мы бы подружились.

Я не шучу. Хотя мои картины никак не повлияли на жизнь моих родственников, их жизнь и поступки, напротив, оказали огромное влияние на меня и на мое творчество. Правда. Например, я был совершенно очарован дедовым местом в синагоге у восточной стены... Бедный-несчастный, как же я крутился и извивался, протискиваясь к нему в субботу, чтобы с молитвенником в руке застыть наконец перед окном, откуда открывался потрясающий вид на Лиозно. За моей спиной затыгивали мусаф, и деда вызывали к биме. Вот он молится, поет, выводит рулады, затихает на миг и снова заходится в пении. У меня внутри как будто открывался маленький масляный заводик. А когда дед плакал, я вспоминал свой неудачный рисунок и думал: “А может, я никогда не стану великим художником?”

Но я забыл рассказать о тебе, дядя Ной. Мы вместе ездили по деревням за скотиной. Как же я радовался, когда, отправляясь в такие путешествия, он соглашался взять меня с собой. Повозка была старая и разбитая, но какая разница! Мы ехали и глазели по сторонам. А посмотреть было на что!

Дорога, дорога! Мелкий песок. Дядя Ной подгоняет лошадей: “Н-но! Пошли!”

Однажды на обратном пути я решил продемонстрировать свою исключительную ловкость: тянул корову за хвост, чтобы она не вывалилась из повозки...

При переезде через лиозненский деревянный мост мне всегда казалось, что у меня в животе прыгают деревянные котлеты... Колеса начинали скрипеть по-другому. Но дядю не интересовали ни мост, ни прибрежные камыши, ни тянувшаяся вдоль берега изгородь, ни мельница, ни церквушка, ни тонущие в сумерках лавки базарной площади. Обычно мы возвращались усталыми, и один Б-г знает, что творилось в наших душах...

Я бы хотел написать портреты моих сестер и брата. Со всей нежной тщательностью, на какую только способен, я бы постарался изобразить их волосы, их кожу. Я бы попытался проникнуть к ним внутрь, заражая и холсты и вас дыханием своих тысячелетних красок. Но рассказывать о них... Увольте.

И о тетушках своих я тоже не смогу рассказать. У одной был длинный нос, доброе сердце и дюжина детей. У другой – курносый нос, полдюжины детей, а любила она преимущественно саму себя. А почему бы и нет? У третьей нос был, как на картинах Моралеса, и трое детей: один – заика, второй – глухой, а третий – еще младенец. Кроме того, у меня были дяди. Чуть ли не десяток. Все – добропорядочные евреи: у одного – толстое, вечно набитое брюхо и пустая голова, у другого – черная борода, у третьего – желтая. В общем, тут тоже нужно писать картину.

Каждую субботу дядя Ной (закоренелый холостяк) надевал чей-нибудь талес и читал Тору. Он много лет играл на скрипке. Как сапожник. А дед слушал и думал... Только Рембрандту ведомо, о чем думал мой старый дед – мясник, лавочник, кантор, –



слушая, как его сын играет на скрипке перед открытым окном. Все это было похоже на сон. Я знаю это состояние, но не могу выразить.

В деревне перед своим неказистым домиком сидит на лавочке дядя Лейба. Озеро. Его дочери пасутся на лужайке, как рыжие коровы. Дядя Юда вообще не слезает с печи, даже в синагогу не ходит, молится в комнате, у окна. Вот он что-то бормочет себе под нос, и полоса золотисто-желтого света скользит по его лицу, потом по оконному переплету, выскальзывает на улицу и ложится на купол соседней церквушки...

Дядя похож на деревянный дом с прозрачной крышей... Его легко нарисовать...

Дядя Исроэл сидит на своем постоянном месте в синагоге, у печки. Чтобы согреться, он обхватил себя руками. Его глаза закрыты. На столе горит лампа. Густая темная тень лежит на полу и на Святом ковчеге. Он читает, раскачиваясь взад-вперед и из стороны в сторону, бормочет и вздыхает. Вот он встает – время вечерней мочер. Голубые звезды. Фиолетовая земля. Все лавки закрыты. Ужин готов. На столе – тарелки, сыр. Почему я не умер под этим столом в вашем доме? Мой дядя боится

пожимать мне руку. Люди говорят, что я художник. Вдруг я и его нарисую. Б-же упаси – это грех...

Да простит меня Всевышний за то, что мне не удалось в этом своем “автопортрете” передать мою телячью нежность к людям вообще и к моим праведным родственникам в особенности. Это единственное, чего бы я хотел.

У меня есть еще один дядя, парикмахер Зуся. Он стриг и брил меня с безжалостной любовью и гордился мной (единственный из всех!), хвастался по всей округе, даже перед самим помещиком. Ну и хватит о них! Прощайте!

3.

Каждый день около шести часов утра, зимой и летом, папа шел в синагогу. Чтобы прочитать по кому-нибудь кадиш. Потом он возвращался домой, ставил самовар, пил чай и снова уходил. На работу. Но разве это была работа? Не работа, а настоящий ад! Рабский труд. И почему я должен это скрывать? Но и говорить об этом тоже непросто, тем более что никакими словами отцу уже не помочь (речь, конечно, о сочувствии, а не о жалости).

В нашем доме всегда были и сыр, и масло. Мне кажется, в детстве я вообще не расставался с бутербродом. Куда бы я не направлялся – к соседям, на улицу, в уборную, – я брал с собой хлеб с маслом. Точно так же поступали мои сестры и братья. Может, мы голодали? Не бывало такого! Просто так повелось: мы жевали думая, жевали засыпая.

Было у нас и еще одно развлечение: поздно вечером какать во дворе у забора. Вы уж простите меня за такие натуралистические подробности. (Впрочем, теперь все – литература!.. Извините за грубость.) Да и грубость ли это? По-моему – нет. Бывает хуже. Объяснялось все очень просто: в темноте мы боялись отходить от дома. Наши детские ноги не слушались. Конечно, утром отец ругался на чем свет стоит, обзывал нас свиньями (он негодовал бы еще сильнее, подсмотри он нашу игру: мы воображали, что угощаем, сами догадайтесь чем, “современного” школьного учителя).

Я люблю поспать. Не ночью – утром. Когда солнечный луч забирается под крышу и проникает в комнату. Мухи жужжат, норовя усесться на нос. Но, конечно, долго

так продолжаться не может – я уже представляю, как папа входит ко мне с ремнем в руках, и словно бы слышу его голос: “А не пора ли тебе идти в школу?”

Я разглядываю голубые обои, паутину на потолке, пейзаж за окном и думаю: да, хватит валяться, наверное, все уже встали. В конце концов дверь распаивается и входит какая-то женщина. “Дайте-ка мне, – говорит она, – селедки на три копейки. Только хорошей! Есть у вас хорошая селедка?”... И тут я просыпаюсь. Интересно, который час?

Утро. Чай. Нет, я не способен передать все оттенки его цвета и аромата. Я откусываю кусочек булки, подношу чашку к губам и делаю глоток – какая сладость! По пятницам отец мылся, готовясь к субботе. Мать грела воду на печке, и отец мыл голову, грудь, отмывал черные руки. “Никакого порядка, – ворчал он. – Сода и той нет! Восемь ртов! Все на мне! Хоть бы кто-нибудь помог!” Я, глотая слезы, думал о своем несчастном творчестве и незавидном будущем. Пар от горячей воды гадко пах мылом и содой. Огоньки субботних свечей врезались мне в память с той же отчетливостью, что и кровь забитой коровы в дедовом хлеву. Священная кровь! Было тепло и... противно. Субботняя трапеза. Чистые руки. От папиного лица и белой рубашки веет покоем. Все хорошо! Приносят ужин. О, мой аппетит! Если бы мог, я бы все съел: и селедку, и фаршированную рыбу, и морковь с мясом, и холодец из телячьих ножек, и компот, и куриную грудку. В комнате становится душно. Отец задремывает. Последний кусочек мяса переходит с папиной тарелки на мамину – и возвращается обратно. “Сам ешь!” – “Нет, это тебе!” И вот папа уже храпит, не дождавшись благословения (что тут поделаешь?). А мама у печки поет с нами субботнюю мелодию ребе.

Я уже упоминал о своем деде канторе и о масляном заводике в моей душе, когда он пел в синагоге. У меня сжималось сердце, когда я сидел, уткнувшись в мамин бок возле нашей печки, а мама пела и плакала, плакала и пела... Какое сердце (только не мое) не затрепетало бы от страха, зная, что на улице никого – одни слепые фонари да бродяги...

Свечи начинают мигать и наконец гаснут. На небе догорают звезды. Душно. Голова болит. Но выйти из дома во двор тоже страшно. Однажды поздно вечером я столкнулся на улице с воровкой. “Где здесь трактир? – спросила она. – Я с кладбища...”

Мои домашние засыпают. И только с базарной площади доносится еле слышная музыка. В парке веселятся. Гуляют. Обнимаются. Деревья качаются под ветром в темноте, листья шуршат.

По будням мне давали гречневую кашу. Это было мучение. Когда я чувствовал на языке эти маленькие шарики, мне казалось, что мой рот набит дробью. Только теперь, в советские времена, я оценил и, можно даже сказать, полюбил крупы. Чем тяжелее мешок, тем лучше.

За столом я нередко засыпал. И мама будила меня, своего первенца, такими словами:

– Что же это такое? Надо ужинать, а он спит. Поешь, сынок.

– Что?

– Кашу.

– Какую?

– Гречку с молоком.

– Я хочу спать.

– Сперва поешь.
– Я не люблю гречку.

– Попробуй. Если подавишься или в обморок упадешь, можешь не доедать.

Признаться, мне часто хотелось упасть в обморок. Я даже молился, и несколько раз, на мое счастье, у меня получалось. Это меня спасло. Только эти обмороки были уже в другое время и в другом месте. И по другой причине.

Зима. Мои ноги стоят, но голова улетает. Греюсь у черной железной печки. Мама сидит напротив на низенькой скамеечке, толстая, с большим животом, – величественная. Папа ставит самовар, садится, скручивает сигарки.

Б-же мой, приносят сахарницу! Какое счастье! Мама говорит без умолку, барабанит пальцами по скамеечке, поправляет парик, а ее чай стынет. Папа слушает, поглядывает на сигарки. Их уже целая горка.

Перед тем как кто-нибудь из нас, детей, заболел, маме всегда снился вещий сон. Зимняя ночь. Сильный мороз. Все спят. Вдруг входная дверь распахивается, и на пороге возникает покойная бабушка Хана. С глухим стуком захлопнув форточку, она говорит: “Дочка, родная, что же у тебя форточка открыта в такой мороз?”

Или такой сон: в наш дом входит другой выходец с того света: мамин покойный брат в белом саване, с длинной бородой. Входит и протягивает руку за подаянием. Я даю ему кусок хлеба. Он молча бьет меня по руке. Хлеб летит на пол.

“Хаце, – говорит мама, проснувшись, – пойди посмотри, как там дети”.

И разумеется, выяснялось, что кто-то из нас заболел.

Палисадники и крыши, амбары и заборы. И то, что за заборами. Все это можно видеть на моей картине “Над городом”. А хотите, я могу вам рассказать: сараи, дома с окнами, ворота, куры, неработающая фабрика, церковь, пологий холм (заброшенное еврейское кладбище).

Глядя из нашего маленького чердачного окошка, я различал еще всякие мелкие детали.

Высовываюсь и вдыхаю голубой свежий воздух. Птицы проносятся мимо, совсем близко от моего лица. Слышно, как Сара хлопает по грязи. Мне видны ее ноги. Она наверняка забрызгала мои любимые игрушки: камушки, глиняные черепки... Сара спешит на свадьбу. Она бездетная. Будет оплакивать там участь невесты...

Мне нравятся клезмеры. Нравятся их польки и вальсы. Я тоже бегу на свадьбу и плачу там вместе с мамой. Я люблю плакать. Бадхен голосит что есть мочи: “Плачь, плачь, невеста. Ты идешь под хупу. Подумай, что тебя ждет...”

Ждет? А что ее ждет? При этих словах моя голова медленно отделяется от тела и раздражается рыданиями где-то на кухне, там, где готовят рыбу к столу. Но поплакали – и будет. Все вытерли носы, и вдруг в воздух взлетают конфетти – настоящая разноцветная буря.

“Мазл тов!”

А мне кого целовать? Нужно кого-нибудь выбрать. Старушки и бородатые мужчины не годятся.

В благоговейном ужасе я разглядывал окружающих девочек. Однажды в приступе детского безумия одна девочка как заколдованная пошла за мной в сарай, откуда после непродолжительной пытки мы, наконец, выбрались на свободу. Не помню, сколько мне было тогда лет: может быть, десять, а может, двенадцать. А в другой раз, играя с девочкой, я отказывался вернуть ей мяч, пока она не позволит дотронуться до ее ноги. “Дашь потрогать ногу – отдам мяч”. Эта моя наглость сегодня и удивляет, и расстраивает меня, особенно ввиду незначительности награды.

Но бывали дни, когда вместо игры в городки, домино, кости или перышки я залезал с приятелем в соседский двор. (Этот приятель пугал меня тем, что стучал детородным органом по бревнам...) Еще я катался на плотах по Двине и купался, с утра до вечера прыгая нагишом в воду. Мое веселье омрачали только дурацкие реплики одноклассника Цирлсона, вроде: “Чего это он у тебя такой маленький?” Не могу передать, как бесили меня насмешки этого рыжего болвана. Всегда одно и то же. Можно подумать, что у него намного больше! Кретин долговязый, пошляк, извращенец, онанист!



Марк Шагал. Над городом. 1914–1918 годы

Надо сказать, что я неплохо играл в городки, хорошо плавал, ловко лазал по крышам (особенно когда в городе что-нибудь горело) и обладал множеством других талантов, например замечательным голосом. Я думаю, вы о нем слышаны. Я пел вместе с кантором. По праздникам синагогу оглашал мой мальчишеский дискант. Стану певцом, думал я, кантором, поеду учиться в консерваторию.

Один клезмер учил меня играть на скрипке. Я пиликал... и думал: буду скрипачом, поступлю в консерваторию.

Когда я приезжал в Лиозно, тетушки и их соседи всегда просили нас с сестрой танцевать. Я грациозно двигался. У меня была копна кудрявых волос. Я думал: стану танцовщиком. Поступлю... куда, я не знал.

Еще я без конца писал стихи. Их хвалили. Я думал: стану поэтом. Поступлю... В общем, я никак не мог выбрать.

Перевод с английского Дмитрия Веденяпина



ЕВРЕЙСТВО В КРИЗИСЕ КУЛЬТУРЫ

Ėāī ēā Ėāōēī

1.

Термин “кризис культуры” стал настолько часто упоминаемым на грани тысячелетий, что от нас ускользнул факт подробного и острого обсуждения этого понятия у мыслителей конца XIX – начала XX века. Между тем проблема глобального кризиса европейской культуры и европейского сознания оказалась предельно обострена в связи с разочарованием тех, кто ждал от XX века новых духовных и гуманитарных высот, а дождался первой мировой войны, распада европейских империй и, уже в более далекой исторической перспективе, второй мировой войны, Катастрофы европейского еврейства, созидания и разрушения мира социализма. В итоге одним из самых острых духовных и философских вопросов стал вопрос о так называемом “христианстве после Освенцима”, возможности существования поэзии и искусства после Катастрофы, а для евреев – еще и вопрос о будущем еврейства после Холокоста и создания Государства Израиль.

На этом фоне особенно важным становится осмысление опыта тех, кто видел и чувствовал грозящие испытания и вызовы, но чьи работы были забыты, не поняты или включены, как в интересующем нас случае М.И. Кагана, в принципиально неверный контекст, например позднейшего философствования М.М. Бахтина.

Ранее нам уже приходилось писать о том, что и автобиографии М.И. Кагана, и его философские сочинения полны размышлений о судьбе еврея в России и о мессианских судьбах еврейства. Это вполне последовательная позиция для еврея начала XX века, получившего в детстве, с одной стороны, традиционное иудейское воспитание, а с другой – учившегося в Германии в начале XX века, в годы расцвета там еврейской философии (в случае Кагана – это марбургское неокантианство Германа Когена и Пауля Наторпа). Неудивительно поэтому, что в философствовании Матвея Кагана всегда присутствует тот особый еврейский экзистенциальный элемент, который с таким трудом распознается сегодняшним читателем. Столь же закономерно, что свой разговор о кризисе культуры, который перейдет в свое время в обсуждение роли еврейства в этом процессе, Матвей Каган начинает с утверждения того, что именно в России и Германии кризис культуры оказывается наиболее острым: “Как ни богата русская революция событиями экстенсивно, как ни глубоко сказываются подчас художественно-пророческие достижения кризиса современной культуры в России, все же практически-живой интерес к тому, чтобы все это осмыслить философски, методически, выпал на долю творческого гения революционной жизни в Германии”. Наиболее глубокий взгляд на эти проблемы, не обращенный в прошлое, а направленный в будущее, М. Каган видит в идеях Пауля Наторпа, занявшего после Германа Когена кафедру философии в Марбургском университете.

Старая философия, включая Шпенглера, видит историю, прошлое как “дорогое кладбище с покойниками”. То есть: “Гляди не гляди – все смерть назади!” Вот именно, назади! В этом отличие жизни исторической от простой биологической, где смерть является патологическим заключением жизни. Только от смерти отвоевывает себя жизнь. Нынешняя смертельная опасность исторического состояния человечества сильнее всего ощущается в странах побежденных – в России и в Германии. Но смертельная опасность не только там, а везде, и даже гораздо более в странах

победивших. Ибо смерть эта – внутренняя. В России и Германии она прорвалась революцией. “Пусть гибнет то, что внутренне губительно; ибо только сама смерть умирает, жизнь же способна только жить и отстаивать себя от смерти”. И далее М. Каган высказывает мысль, которая на первый взгляд кажется не совсем понятной: “Кризис современной культуры не есть кризис идеи бесконечности, фаустовской идеи Шпенглера, а кризис из-за отсутствия достаточного действия и сознания идеи бесконечности. Нынешний кризис есть кризис конечности, а не бесконечности”.

Здесь надо помнить, что Каган – философ еврейский и философ религиозный. Следовательно, его понимание бесконечности связано напрямую с бесконечностью и безграничностью Творца. К тому же для еврейской мысли никакой особой проблемы конец второго тысячелетия христианства не представляет. Поэтому и кризис конечности, то есть очередного периода апокалиптических ожиданий христиан, не есть для еврея кризис бесконечности, связанной со Всевышним. Конечность же связана в этот момент либо с конечностью конкретной человеческой жизни, либо с конечностью одного из этапов нееврейского миропонимания.

Каган не ставит вопроса об апокалиптической природе “кризиса культуры”: “Новое небо и новая земля” не антикультурны, не хаотичны, не преднаходимы, а только предназначаются в свободном участии людей для них же в их созидании в культурном порождении и творчестве, предназначаются и намечаются работой людей же, исторической работой культуры человечества. И когда оказывается, что культура человечества в тот или иной момент истории выступает перед нами в виде провала и пропасти, угрожая гибелью всей работе и творчеству истории, то причиной такого рода явления может быть не роковая сущность культуры, а прежде всего отсутствие индивидуально-творческой завершающей силы самой культуры”.

Нетрудно видеть, что индивидуальное усилие по завершению культуры очевидным образом связано с конечностью жизней ее конкретных творцов, равно как и с исторической конечностью конкретного вида социального устройства на момент написания статьи Матвея Кагана. Однако сам этот факт еще не свидетельствует о конечности всей истории мироздания и тем более Б-га. Напомним, что Всевышнему уже приходилось однажды “стирать” с лица земли первочеловечество, однако это не помешало Предвечному создать его новый вариант, к которому относимся уже мы сами.

Понятно, что к Всевышнему никакие виды конечности отношения не имеют.

В статье “Опыт систематической оценки религиозности во время войны” Каган писал о том, что “религия и вера только там оказывают свое действие и постольку могут распространяться, где и поскольку они должны заполнить пробел в этике. <...> Религия сама – вовсе не пробел, как не может быть сам по себе пробелом всякий научный принцип, без которого в науке может возникнуть пробел” (разрядка наша. – Л. К.).

Этим словам предшествует рассуждение, которое содержит в себе цитату, незамеченную переводчиками и комментаторами этой написанной по-немецки статьи М. Кагана. Между тем она может многое открыть нам в последующей его статье “Еврейство и кризис культуры”. Матвей Каган пишет в 1915 году: “Поскольку всякий этический вопрос возникает и может быть задачей только в жизни мира и в жизни культуры (выделение М. Кагана. – Л. К.), то он должен ставиться и решаться в самой жизни. Религия, понятая как бегство от жизни и уход от мира, отрицая жизнь и мир, может перед лицом этических проблем – проблем социальной жизни и для социальной истории – дать только камни вместо хлеба (разрядка наша. – Л. К.). Отрицание мира и жизни остается

самонадеянностью, которая способна внести путаницу и в науку, и в религию. В этом смысле панрелигиозность – вырождение религии”. Тем не менее, продолжает Каган, люди должны стремиться к преодолению этих “провала и пропасти”, которые не дают возможности завершить дело культуры: “... сегодня этой нераздельно-цельной творчески рождающей мощи культуры как будто бы и нет. Очень возможно, что именно сегодня, именно тогда, когда кризис ощущается острее всего, какая-то особая новая нераздельно-индивидуальная, творчески гениальная культурная мощь действительно и внутренне заставляет нас требовать созидательного могущества, индивидуальности нашего культурного прошедшего, вернее, бывшего. Но это культурное прошлое, бывшее нашей культуры, дает о себе знать сегодня не только индивидуальностью, а скорее изъяном отсутствия этой нераздельной замкнутости. Выступает открыто брешь развала и разрозненности творчески индивидуальных сил” (разрядка наша. – Л. К.).

В первой из цитат о “пробеле” мы встречаем достаточно явную, хотя и неожиданную в немецком тексте, цитату из стихотворения М. Лермонтова “Нищий”:

**У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть дивой
От глада, жажды и страданья.**

**Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.**

Обращает на себя внимание откровенный социальный (“нищий”) и этический контекст ситуации (“обман”, “издевательство”), который рассмотрел у Лермонтова Матвей Каган. Совершение же этого поступка “у врат обители святой” как раз и демонстрирует “пробел” в этике при отсутствии религии в качестве этического императива. В свою очередь полная панрелигиозность жизни в святой обители, т. е. в монастыре с его уходом от мира, создает еще один пробел – социальный, когда нищий ищет подаяния в безрелигиозном миру. Теперь, зная способ строения “кризисного” текста Матвея Кагана, мы можем вернуться к его статье о еврействе и кризисе культуры.

Обратим внимание на то, что откровенно эсхатологический текст Кагана имеет и прямые отсылки к Апокалипсису в форме упоминания в кавычках “Нового неба и новой земли”, однако какое все это имеет отношение к роли еврейства в кризисе культуры, к тому же культуры, похоже, христианской или, в лучшем случае, иудео-христианской? Каган пишет: “Суд современности, поскольку он осмыслен и оправдан, не может быть осуждающим и пессимистически роковым. Суд здесь внутренний, – внутреннее проявление или явление космически творческой любви нашей непосредственной, постоянной современности, включающей во все бывшее культуры, принимающей все культурное творчество, весь человеческий труд истории не как бывшее и прошлое, не как ушедшее в Лету, а как рождение и продолжение рождения культуры рода человеческого. Мы судим себя как потомков, которые оказались с определенным внутренним культурным наследством, которого мы вовсе не хотим лишиться, но с которым мы должны справиться, чтобы не оказаться недостойными лентяями в принятии наследства и неспособными к новому порождению и созиданию. Факт кризиса нас непосредственно убеждает в том, что без такого рода суда о плодотворной любви к культуре и человеку не



может быть и речи” (разрядка наша. – Л. К.).
Несколько неожиданно на первый взгляд сквозь этот текст вновь
“просвечивает” Михаил Лермонтов, на сей раз его знаменитая
“Дума”:

**И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и
без славы,
Глядя насмешливо назад.**

**Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли
плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи
и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным
стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.**

Вариацией именно этих строк является продолжение приведенной нами мысли Матвея Кагана: “Факт кризиса нас непосредственно убеждает в том, что без такого суда о плодотворной любви к культуре и человеку не может быть и речи. Предрассудок о любви без суда может ввести нас в лучшем случае в роковое легкомыслие и обыкновенно скажется критическим развалом индивидуальности, давая, в конце концов, ленивое мотовство и безродную бесплодность <...>. Любовь всегда устоит в ее ответственности перед индивидуальным творчеством непосредственной культуры”.

Приведенное сопоставление вновь заставляет нас задуматься о том, как сочетаются уже указанные “провал”, “пробел”, “пропасть”, “развал”, отсутствие “нераздельно-цельной творчески рождающей мощи культуры”, “суд”, рождение “нового неба и новой земли” с именем Лермонтова, соединяющим две статьи о кризисе культуры.

Пожалуй, на второй вопрос ответить легче, чем можно подумать. Ведь в отличие от “солнца русской поэзии” Пушкина его преемник, автор “Смерти поэта,” писал и “Ветку Палестины”, и “Плачь! Плачь! Израиля народ...”, стихи, ставшие вариантом текста для пьесы о маррангах “Испанцы”. И вообще, Лермонтов воспринимался как поэт Востока, что и подметил в своей знаменитой статье на эту тему Л. Гроссман в “Литературном наследстве”. Одно время Лермонтов даже придумывал себе романтическую еврейскую родословную. Поэтому и “Еврейская мелодия (Из Байрона)” в его исполнении не выглядела странно. Более того, именно образы Лермонтова, причем в его далеко не “еврейских” стихотворениях типа “Когда волнуется желтеющая нива...” или колыбельной “Спи, младенец мой прекрасный”, становились, по мнению современного исследователя, “порождающей поэтикой” для ивритской поэзии.

А вот набор образов, который окружает лермонтовские реминисценции у Кагана, поразительно напоминает стихотворение человека, которому принадлежат не до конца понятные строки:

**И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.**

.....
**Неподкупное небо окопное –
Небо крупных оптовых смертей, –
За тобой – от тебя – целокупное –
Я губами несусь в темноте...**

.....
**Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный –
Это слава другим не в пример.**

Это “Стихи о неизвестном солдате” Осипа Мандельштама. На первый взгляд их анализ в статье о еврейском неокантианстве выглядит странно. И хотя у нас сегодня нет никаких документальных свидетельств о контактах Матвея Кагана и великого поэта, мы все же напомним, что автобиографии еврейского философа демонстрируют свою явную ориентированность на “Шум времени” Мандельштама, а круг их знакомых имел массу пересечений.

Кроме того, ранее нам уже приходилось отмечать поразительную близость некоторых текстов Мандельштама, например “Гуманизм и современность”, “Социальному идеализму” Пауля Наторпа, который в 1920?х годах переводил на русский язык Матвей Каган. В любом случае, включение еврейско-неокантианского контекста или хотя бы его терминологии открывает новые возможности понимания и Мандельштама, и Кагана.

Если мы правы и Михаил Лермонтов действительно занимает свое место в логике иудейско-христианских и русско-еврейских рассуждений Матвея Кагана, то необходимо понять, какое же место занимает в его философской русско-еврейско-немецкой картине мира Пушкин. Ему, в отличие от скрытых цитат из Лермонтова в философских статьях Кагана, посвящены эксплицированные рассуждения философа и в специальной работе, и в многочисленных письмах.

Ответ мы найдем в одном из писем Матвея Кагана жене Софье Исааковне Каган от 11.05.1925, где, говоря об одном из своих собеседников, Матвей Каган пишет: “О Пушкине ему не рассказывал еще, а о философии истории. Когда расскажу о Пушкине, воображаю, как он охнет. Эли (брат философа. – Л. К.) очень старался сдерживаться, но привскочил даже, когда я ему сказал, насколько это не христиански, а язычески и иудейски. Как жалею и потому, что не могу с тобой толком говорить, что тебя нет со мною...”

Обратим внимание на то, что Пушкин в этой постановке вопроса являет собой человека эллинско-иудейской эры, то есть эры дохристианской. Не забудем, что христианство в чисто философском смысле – иудео-эллинизм. Наследником же этой пушкинской эпохи исторически оказывается Лермонтов, по-видимому, при такой постановке вопроса, синтезировавший оба составляющих слоя наследия Пушкина по Матвею Кагану.

Однако сам Каган живет уже не в эру Лермонтова, а в эру кризиса культуры, которую Лермонтов своим творчеством спас от кризиса. Отсюда и те различия между



стихами Лермонтова в их общепринятом литературном смысле и ролью цитат из лермонтовских стихов в философских рассуждениях Кагана. Чуть ниже мы увидим, что без имени Пушкина, но именно по этой логике будет обсуждаться Каган еще более трудную и малопонятную сегодня проблему – проблему иудаизации христианской Европы, восходящую к идеям Германа Когена.

Такое прямое сопоставление иудаизма, еврейства XX века и кризиса, возникшего через 2000 лет христианской культуры, может смутить. Понимает это и Матвей Каган: “Какое отношение все это имеет к непосредственно переживаемому нами кризису культуры, к кризису европейской и еврейской культуры? Оправдано ли сопоставление европейского и еврейского рядом? Дело не только в нарочитом сопоставлении. Культур очень много. Вряд ли сегодня можно было бы оторвать одну культуру от другой. Я имею в виду европейскую культуру последних тысячелетий, так как она сказалась на культуре евреев сегодняшнего дня”.

Мы прервали цитату в этом месте, чтобы констатировать ту особую ситуацию в истории еврейской культуры, которая создалась после столетия еврейского просвещения – Хаскалы – вместе с общими процессами еврейской эмансипации. Ведь не только уход евреев от их традиционных ценностей, но и само желание даже не ассимилированных евреев заниматься пусть и еврейской, но философией, т. е. европейской разновидностью мышления, порожденного эллинской мудростью и средневековой ученостью, со всей неизбежностью встраивает таких евреев в ситуацию кризиса европейской христианской или иудео-христианской культуры, который чисто еврейской традиционной культуры не коснулся. Но произошло то, что произошло, и еврейским мыслителям приходится волею-неволей искать свое место в процессе осмысления и преодоления этого кризиса.

Поэтому Матвей Каган продолжает: “Сегодня уже нельзя не считаться с тем, что (конечно, индивидуально в европейских странах, индивидуально родовым, народным и групповым образом) на протяжении двух тысячелетий происходила иудаизация европейской культуры. Несомненно, что христианизирование Европы – будучи сначала абстрактно-безличным, авторитарным, но индивидуализируясь народно-культурным, творческим образом, – проникалось и воссоздавало индивидуально-народные культуры аналогично культуре иудаизма. Идея культурного национализма воодушевляла всякую реформацию всех христианских народов”.

Напомним, что реформация была связана с концом так называемого Второго Рима и образованием национальных государств. А ситуация кризиса начала XX века оказывается временем крушения Российской и Австро-Венгерской империй в купе с крахом империи Оттоманской. А для евреев в центре этого процесса стоит Декларация Бальфура и проблема реального, а не утопического еврейского государства в Палестине, образование которого является частью эсхатологического процесса и для христиан.

Поэтому историософию Кагана можно прочесть как предельно актуальную для своей эпохи.

Каган продолжает: “Тут дело, конечно, не в полной иудаизации, а в принятии идеи народа-гения, индивидуально оправдывающегося в его творчестве и работе над культурой человечества, которая не должна оставаться абстрактной. Если мы упускаем из виду то, что гениально-творческая индивидуальность всех христианских европейских культур и народов связывается все время по преимуществу с единством в прошлом, с единством происхождения от одних предков, от одной и той же расы (германство,



романство, славянство и т. д.), а не единством задания из будущего, которое идет от предков, то иудаизация христианства в его историческом шествии все же остается фактом, к которому европейская культура индивидуально не в состоянии устремляться. И народ еврейский культурно и индивидуально не в остается чуждым тому уклону, который отделил еврейскую культуру от христианской, разъединил христианство и иудейство, – разъединил основным образом”.

Разделение народов, которое происходит от общего предка и расы, очевидным образом связано с проблемой избранности евреев, т. е. того “задания из будущего”, которое определяет конечную цель существования евреев на земле, в том числе и в рамках иудео-христианской апокалиптики.

Происхождение же от единого предка, связанное и с расой и с языком, естественным образом приводит Кагана при оценке исторической роли европейского человечества к проблеме “язычества”.

Философ пишет: “Как бы мы ни подходили к истории европейского человека, мы можем себе разрешить рассматривать ее как историю человечества христианского. Это следует понимать не так, чтобы исключить из нее все нехристианское. Нет сомнений, что все европейские народы далеко не христиане по существу, органически. Все они, конечно, в большей или меньшей степени и язычники, быть может, язычники раньше всего. И все же европейская культура начинается с задачей христианства. Трудно решить, что отделило христианство от иудейства: иудейство или язычество. Христианство с уклоном к разработке откровений индивидуальности человека – Раба и Сына Божьего – вряд ли отошло бы от иудейства, если бы не было задачи, поставленной упорно язычеством. <...> То, что объединяет и роднит все язычество, заключается в том, что оно подходит к миру как к готовому”.

То есть к заведомо мертвому, конечному. Этой “языческой” (в сущности, “эллинской”) конечности противостоит у Кагана и иудаизм, и та часть отошедшего от иудаизма христианства, которая все же была “иудаизирована” за прошедшие века. Поэтому эти два мессианских мировоззрения не знают (пусть и по-разному) “конечности” смертельного “пробела”. А если у христиан эта конечность из потенциальной стала актуальной, то “ближний”, т. е. иудей, всегда готов “прийти на помощь” своему авраамическому соседу. Ведь и по мнению христиан иудаизм спасителен. Что же касается предложенной здесь параллели Каган–Мандельштам, то между статьей философа 1922 года и “Стихами о неизвестном солдате” 1937 года хронологическим “пробелом” стали те 15 лет, которые показали, что и “кризисная” первая мировая война оказалась не последней. Мандельштам проницательно предсказывал и провиденциально описывал будущую вторую мировую войну, которую ему увидеть не пришлось, а связующим элементом двух эсхатологических текстов двух российских евреев оказалось имя и поэзия Михаила Лермонтова. Поэтому-то мандельштамовский образ “не провал, а промер” столь близок “оптимизму” Кагана с его религией как методологическим принципом в философии, где гарантию мессианского будущего определяет “пробел”. И здесь даже Катастрофа европейского еврейства, после которой и возник реальный Израиль, не прервала хода еврейской и мировой истории, продолжившей свой путь к мессианскому будущему. Но об этом ни поэт-визионер, ни философ, всю жизнь размышлявший “О ходе истории”, уже не узнали.

Окончание следует

БЕГСТВО РАББИ МЕИРА

Àðåããéé Èíàãéù àí

С девяностых годов, как с детских лет, забытая свобода эссе. Род графоманской надутости вдохновением. Позволено ли вдохновение тому, кто не творит из ничего? Ведь приходится творить из чего-то, даже не творить, а находить, связывать, узнавать – рабство историка (а других профессий, перефразируя слова Маркса, не бывает). “Не сотвори” – заповедь историка, ведь надо оставить прошлое таким, каким оно было на самом деле, поняв, как оно было на самом деле. И надо ссылаться на “документы”, перебирая трясущимися пальцами одну ссылку за другой, чтобы сложить их в “подвал” внизу страницы. Не удастся ли в эссе подпрыгнуть на месте, перевернуться в воздухе, повиснуть на роящихся в голове обрывках умных чужих мыслей, так что и документы не понадобятся? Этакое “эссе-мортале”.

Чужие мысли превращаются в “документы”, услужливо давая дорогу. И не заметишь, как станешь из историка историографом, денщиком живых и усопших коллег. Посередине плотно забитого “документами” пространства необходимо найти некую пустоту, “ничто”, оставляющее свободу для манипуляций с собственным рассудком, который только и может поместиться в этой пустоте. В таком пыльном и пустом помещении рассудок обнаруживает “следы”, оставленные высохшими концепциями. Испуг в пустой комнате – последнее прибежище, условие для нахождения бытия в его “чтойности”, в способности быть, в осторожности к убийству и суициду. Тем более что и история поспешает, создавая мощные мотивы испуга, сотрясая снаружи наспех сооруженную башню.

* * *

“Наконец Веспасиан выступил к Птолемаиде, где его встретили жители Сепфориса – единственные в Галилее, кто помышлял о мире. В заботе о собственном спасении и хорошо осознавая силу римлян, они еще до прибытия Веспасиана принесли Цезеннию Галлу доказательства своей верности, обменялись взаимными обязательствами и приняли в свой город римский гарнизон; теперь же они оказали восторженный прием главнокомандующему и предложили ему свою помощь в войне с собственными соотечественниками. В ответ на их просьбы Веспасиан дал им для защиты конные и пешие силы, достаточные, по его мнению, для отражения любой вылазки евреев. Он считал, что успех всего будущего похода окажется под угрозой, если будет потерян Сепфорис, самый большой из городов Галилеи, по своему расположению подходящий как для отражения нападений противника, так и для поддержания спокойствия по всей области”.

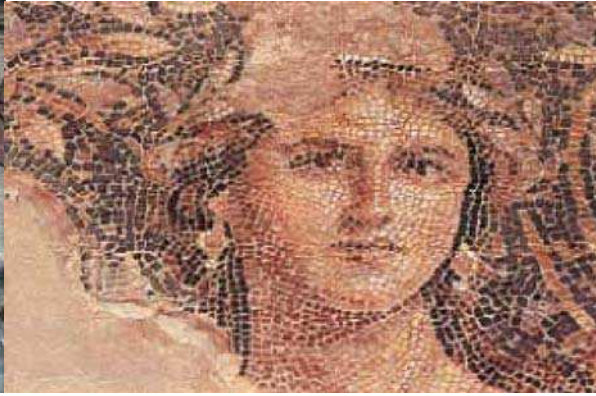
О Сепфорис-Циппори, город предателей и мудрецов! Ты спасся от бедствий Иудейской войны, чтобы осенило тебя Б?жественное присутствие и основал в тебе свой двор рабби Йеуда Князь, потомок погибшего в той войне рабби Шимона, главного фарисейского законоучителя. Времена изменились, и римляне благоволили к рабби Йеуде. Он владел поместьями, возглавлял Сангедрин и назначал судей. Он издал и узаконил Мишну. Рабби Меир и рабби Натан пытались потеснить его, но потерпели поражение. А потому в Мишне вместо рабби Меира упоминаются “другие”.

Иерусалимский Талмуд (Бейца, 5:2) донес до нас странную историю. Йеуда Князь женил своего сына. В Римской империи аплодировали на свадьбах. Но эта свадьба была в субботу, а потому гости аплодировали тыльной стороной рук. Рабби Меиру (не приглашенному на свадьбу) и такие аплодисменты показались нарушением Алахи. Он проходил мимо и, услышав хлопки, сказал: “Господа! Разве суббота отменена?” Услышал Иуда Князь и воскликнул: “Это кто явился в нашем доме нас стыдить?” Услышал рабби Меир и пустился в бегство. Гости выскочили и один за другим погнались за ним. Раздул ветер чалму на рабби Меире и обнажил ему шею. Выглянул Йеуда Князь из окна, увидел шею рабби Меира и сказал: “Потому лишь удостоился я знания Торы, что видел шею рабби Меира сзади”. А Вавилонский Талмуд (Эрувин, 13б) передает слова его так: “Я мыслю яснее своих товарищей потому, что видел рабби Меира со спины, а если бы созерцал лик его, то мыслил бы еще яснее, ибо сказано: „Да будут глаза твои видеть учителя твоего,, (Йешаяу, 30:20)”. Иерусалимский Талмуд завершает рассказ словами рабби Йоханана и рабби Шимона бен Лакиша: “Потому лишь удостоились мы знания Торы, что видели пальцы рабби Йеуды Князя, выглядывающие из его сандалей”.

По мнению Раши, Йеуда Князь сидел в ряду позади рабби Меира, когда учился, а потому и видел его со спины. Хорошо. Но почему он из-за этого поумнел? И почему он поумнел бы еще более, если бы видел лицо рабби Меира? Сангедрин, по словам Талмуда, напоминал “пол-амбара”, то есть амфитеатр. Младшие сидели наверху, старшие внизу. Вероятно, рабби Меир был старше, а рабби Йеуда – моложе. Если бы все обстояло наоборот, рабби Йеуда все равно не видел бы рабби Меира в лицо. Разве что вертелся бы на месте и смотрел назад.

К объяснению приходим круглым путем. Еще до того, как разгорелся пожар Иудейской войны, жил в Александрии еврейский мудрец, которого звали греческим именем Филон. Это имя много веков спустя итальянский еврей Азарья ди Росси перевел на еврейский язык как “Едидья” – “Любящий (или Возлюбленный) Б?га”. Филон любил Б?га и Тору, которую он читал и толковал по-гречески. В Торе Г?сподь говорит Моше: “Вот место у Меня, стань на этой скале. И вот, когда проходить будет слава Моя, помещу Я тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И, когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо мое не будет видно” (Шмот, 33:22-23). Почему же не будет видно лицо Г?спода? “Ты видеть Моего лица не можешь, ибо человек не может видеть Меня и остаться в живых” (Шмот, 33:20). Только со спины, сзади.

Филон толкует это место в Торе платонически: человек не может видеть истинное Бытие, которое и есть Б?г. Мифы Платона о колеснице и пещере свидетельствуют о трудности предприятия. От Бытия исходит сияние, невыносимое для людских глаз. Но отражение Бытия человек видит и так восходит к частичному познанию. Можно увидеть тень Бытия – материальные предметы. То есть увидеть Бытие сзади, со спины.



Вспомним теперь, что “Меир” это “светящийся”, “сияющий”. И

В

Вавилонском Талмуде сказано: “Не рабби Меир имя его, а рабби Негорай. Зачем же звали его рабби Меир? Затем, что он просвещал (меир) в Алахе глаза мудрецов. И не Негорай имя его, а рабби Нехемья, другие же говорят, что звали его рабби Эльзар бен Арах. Зачем же называли его рабби Негорай? Затем, что он просветлял (мангир) в Алахе глаза мудрецов”. Конечно, Йеуда Князь мыслил яснее своих товарищей, потому что видел рабби Меира со спины, а если бы созерцал лик его, то мыслил бы еще яснее. Но видеть его в лицо он не мог: мешало сияние!

А при чем же здесь чалма рабби Меира, которую раздул ветер? И здесь мы находим световую символику. Когда Моше сходил с горы Синай, от лица его исходили лучи света. На лицо свое Моше налагал покрывало, ибо сыны Израилевы боялись подойти к нему (Шмот, 34:29-35). Разве не напоминает чалма рабби Меира покрывало Моисея? Ведь и она загораживает сияние истины: Йеуда Князь знает Тору, потому что видит непокрытую шею рабби Меира. По-гречески и по-латыни Меир – Лукий, Луций (“сияющий”, “световой”). А его жена Брурья по-гречески – Фотида (“светлая”, “сияющая”). Читавшие “Метаморфозы” Апулея немедленно узнают эту светоносную парочку. “В этой паре мы имеем две одинаковые солнечные сущности <...>”, – писала О.М. Фрейденберг о Луции и Фотиде в своей знаменитой работе “Въезд в Иерусалим на осле”.

* * *

По улицам Сепфориса бежит рабби Меир, за которым гонятся слуги Йеуды Князя с палками. Он бежит мимо амфитеатра, где ставят фарсы и выступают риторы, мимо виллы Диониса и виллы Орфея. Мозаика с ликом Галилейской Моны Лизы подглядывает за ним из виллы Диониса. Ему не привыкать бежать.

Когда римляне казнили рабби Ханину бен Терадиона, они заключили дочь рабби Ханины в бордель. Дочь эта была невесткой рабби Меира, сестрой его жены Брурьи. Рабби Меир подкупил охранника и выкрал родственницу. Тогда “выгравировали изображение рабби Меира на воротах Рима и сказали, что каждый, кто узнает его в лицо, должен доставить его”. Рабби Меира опознали, погнались за ним, и он укрылся в борделе. Тут случилась совсем удивительная история. По одной из версий, рабби увидел, как язычники стряпают, окунул в пищу палец, а другой палец облизал (то есть показалось, что он ест некошерную пищу, а на самом деле этого не было). По другой версии, в борделе очутился пророк Элияу, принявший облик проститутки. Он обнял рабби Меира. Преследователи воскликнули: “Это не рабби Меир, он не стал бы так поступать”. Не стал бы рабби Меир есть некошерную пищу, не стал бы обниматься с непотребной девкой. Так же рассуждала и проститутка, когда пришел к ней учитель рабби Меира, рабби Элиша бен Авуйя. “Не ты ли знаменитый рабби Элиша?” – спросила она его. В ответ тот на самом деле съел запретное и получил от проститутки имя Ахер (“другой”). Так рабби Меир избавился от погони, а его учитель снял с себя иго Торы.

Рассказы о рабби Меире можно длить до бесконечности. Но это будет “дурная бесконечность”, которая утомит читателя. А исследование утомит исследователя. Бытие тускнеет и меркнет, уже не слепит глаза, прячется как серая кошка в темной комнате.

Схемы и концепции съедают страницы, как моль съедает платье. Неокантианцы пытаются поймать бытие в сетку “категорий культуры”. Экзистенциалисты ощупывают его “экзистенциалами”. Сам изобретатель экзистенциалов Мартин Хайдеггер в начале тридцатых годов удалился от концептуальности в поэтический пифийский сумрак, где бытие сокрыто и явлено, вопрошаемо и не дает ответа. И так он пытался превозмочь убийство бытия в процессе познания, вивисекцию жизни под скальпелем ученого.

Нет проблем с познанием настоящего и прошлого, кроме одной: мы не знаем, зачем мы познаем. Настоящее нам чуждо, прошлое враждебно, будущее нас пугает. А познание Бытия с большой буквы давно снято с повестки дня за непознаваемостью. Истина не слепит глаза, разве что глаукома сужает угол обзора. Мне могут возразить французской поговоркой: “говорите за себя”. А я и говорю за себя, ведь я пишу эссе.

КРИЗИС – НЕ АНТИСЕМИТ. ПОКА

Ėāī ēā Dāāçōīāēē

Есть ли в кризисе какой-то специальный еврейский акцент? Во время подъема евреи поднимаются вместе со всеми, во время кризиса – точно так же опускаются. Ровным счетом ничего специфического тут нет. Кризис бьет по евреям не больше и не меньше, чем по всем остальным, он также космополитичен, как вирус гриппа.

Но люди – не вирусы. Они менее космополитичны. Во время подъема оптимистичные и сытые граждане реже склонны разбираться, кто еврей, кто не еврей. Еврейский вопрос тогда переживает кризис – на радостях о нем склонны забывать. А вот во время кризиса еврейский вопрос на подъеме – нужны козлы отпущения.

Станет ли нынешний экономический кризис политическим и психологическим подарком для антисемитов?

Пока что таких признаков не вижу. На Западе у евреев тройная оборона: интеллектуальная, социальная, политическая. Интеллектуальная: здравый смысл все же говорит, что евреи имеют к кризису ровно такое же отношение, как любая иная нация, – не больше не меньше. Социальная: все-таки сейчас неприлично обвинять евреев – не 1929–1933 годы, политкорректность. Политическая: в нормальных странах создать партию антисемитов можно в двух местах — в тюрьме и в дурдоме. Так что, пока евреи на Западе более или менее защищены от антисемитизма. Кстати, правящие классы защищают прежде всего не их, а самих себя: западное общество построено на принципах здравого смысла и толерантности и не дает себя разрушить никому, в том числе и антисемитам.

Ну а в России?

Насколько я могу судить – пока что нет в стране подъема юдофобии. Отчасти это связано, опять же, с простым здравым смыслом людей, отчасти с тем, что, к счастью, ряды еврейских олигархов резко поредели. И хотя увлеченные люди продолжают склонять Абрамовича и Фридмана, но на них список и заканчивается. Сейчас изумительная статья Э. Тополя, в которой он призывал: “Еврейские олигархи, верните награбленное у русского народа!”, уже едва ли смогла бы появиться, как я надеюсь. Не играет на этой струнке и власть – надо отдать ей должное. Впрочем, евреи вполне могут оказаться кузнецами своего счастья – им не привыкать. Как водится, либеральная еврейская интеллигенция горит желанием “спасать Россию”. Среди либеральной оппозиции евреев не так уж много в абсолютном и относительном измерении – это и немудрено, евреев вообще крайне мало. Но, как всегда, каждого из них очень много.

Пока что либеральная оппозиция мало тревожит Кремль – ее справедливо считают мнимой величиной. Но если – по тем или иным причинам – с ней начнут бороться всерьез (например, власть ее и правда испугается или же, что более вероятно, захочет слепить из нее “образ врага” и отвлечь народ от кризиса на борьбу “с врагами”), вот тогда может пойти уж музыка не та. Нет, власть ни при каких раскладах, естественно, не станет прямо поднимать эту тему. Но существует много пиар-профессионалов (не без евреев, конечно!), которые объяснят, что оппозиция – “еврейская”. Объяснят намеками, но так, что и дурак поймет (точнее – именно дураки и поймут).

Впрочем, повторяю, пока что все это – не более чем чисто гипотетические предположения, продиктованные не фактами, а только еврейскими комплексами и страхами (в данном случае моими лично; однако нечто подобное слышал от многих). “Дедукция, Шапиро, дедукция...”

Это, кстати, могло бы составлять некоторую дилемму для политически активной еврейской интеллигенции: “лезть или не лезть?”, помня, что пряник от их деятельности достанется им одним, а кнутом могут получить не только они, но и все евреи. Впрочем, насколько я знаю этих людей, они об этом не думают – видимо, выше этих местечковых страхов...

Будем надеяться, что страхи и вправду местечковые

ДВА ЛИЦА ОДНОГО РОМАНА

Аיינעם אײנעם: ײַ עבאָײַע אײַדאָײַע

В серии “Проза еврейской жизни” – совместном проекте издательств “Текст” и “Лехаим” – вышел недавно в переводе с английского роман Зингера “Семья Мускат”. Почему с английского? Ведь Зингер писал на идише. Разговор с Борухом Гориным – главным редактором издательства “Лехаим” – о Зингере, его романе и проблеме перевода.

– Что представляла собой еврейская литературная жизнь в Нью-Йорке в тридцатых-пятидесятых годах?

– Сотни тысяч людей, читавших на идише. Множество писателей. Множество газет, журналов, издательств, литературных кафе. Литература на идише процветала в Нью-Йорке как никакая другая. На втором месте после англоязычной американской литературы. Причем была автономна: читавших на двух языках по существу не было. В сороковых годах была такая знаменитая фотография нью-йоркского метро. Вагон. Полсотни пассажиров. Из них человек пятнадцать с идишскими газетами.

– Какое место в этом мире занимал Зингер?

– Достаточно скромное. Один из многих. В американской еврейской литературе был известный писатель Зингер, автор многих книг на идише. Но это был Исроэль-Иеошуа Зингер – старший брат Башевиса Зингера. Младший брат любил старшего, тот был для него примером для подражания и в жизни, и в литературе. Он был автором семейной саги “Братья Ашкенази”, ставшей важным литературным образцом при написании “Семьи Мускат”. Зингер посвятил свой роман брату, в этом посвящении много комплиментарных слов, причем подчеркнута связь между двумя романами: Зингер посвящает его брату, помимо всего прочего и как “автору „Братьев Ашкенази,,”.

– Существует мнение, что старший брат как писатель превосходил младшего, что фортуна была к братьям несправедлива.

– Точка зрения известная, хотя и спорная. Может быть – да, может быть – нет. Мы собираемся “Братьев Ашкенази” перевести и издать по-русски, так что читатель сможет составить собственное представление. Известно, что младший брат у старшего учился. Известно также, что он постоянно подчеркивал литературное превосходство старшего брата. От него, собственно, это и пошло. Может быть, он действительно так думал, может быть, это было частью придуманного Зингером-младшим литературного мифа. Важно, что, когда старший Зингер был маститым писателем, младшего Зингера в литературе просто не существовало: был некий И. Варшавский (иногда Сегал) – таковы были его псевдонимы, он считал, что одного Зингера в еврейской литературе достаточно, второй был бы перебором. Ицик Варшавский года с тридцать пятого, кажется, вел литературную страницу в “Форвертс”: каждую неделю обязан был выдавать что-то новенькое, тем и кормился – при такой нагрузке не халтурить было невозможно.

– Недоброжелательные критики говорят, что в своей работе он ориентировался на вкусы нью-йоркских домохозяек.

– Он ориентировался на вкусы читателей газеты, среди которых были, конечно, и домохозяйки. Вы считаете, что это его компрометирует?

– Напротив, домохозяйки – лучшие читатели романов на свете.

– Вы так действительно думаете? Домохозяйки самые лучшие?

– Конечно, лучшие. Если писатель заведомо не рассчитывает на двух с половиной снобов, которые одни только в состоянии его понять. Домохозяйки как никто способны принять вымысел, идентифицировать себя с героями, облиться нечаянными слезами. Еще вот девицы. "Ей рано нравились романы". Те же критики говорят, что у Зингера была репутация порнографа.

– Не без этого. Эротика в идишскую литературу ввел не он, и он не был единственным, но он был первым, кто поставил это на поток. И был отменно ярким. Помните в "Семье Мускат" сцену адюльтера в Йом Кипур?

– Как же, очень даже хорошо помню: с большой живостью описано. Не уверен, что люди вне еврейского культурного круга смогут в полной мере оценить остроту этой сцены.

– Для внешнего человека необходимы комментарии. Но он вполне поймет эту сцену на другом уровне, и этого будет довольно. Что касается еврейской среды, то разразился скандал. Главным редактором был тогда Абрам Кан, человек левых убеждений, социалист, атеист (это как бы само собой разумеется), человек свободных взглядов, – но и для него оказалось слишком. Притом что "Форвертс" отнюдь не была газетой запредельных моральных стандартов. Притом что Кан к Зингеру хорошо относился и высоко оценивал его работу. Но то, что написал Зингер, было переходом некоей границы, из ряда вон. Кан сказал: невозможно – и потребовал изъятия эпизода. Зингер уперся. Кан прекратил публикацию романа. Газета была завалена письмами разгневанных читателей, привыкших читать в каждом номере очередную серию зингеровского сериала. Редактор стоял на своем: немисливо.

Тогда Зингер обратился напрямую к хозяину газеты. Тот надавил на Кана (редчайший случай), Кан вынужден был продолжить публикацию со злосчастного эпизода, который приобрел благодаря этому дополнительный читательский интерес. Зингер потом с видимым удовольствием рассказывал, что вскоре у Кана случился инфаркт, который и свел его в могилу. Зингер считал, что Кан получил по заслугам.

– Кан умер через несколько лет после этой истории, ему было за девяносто, так что если он тогда и разволновался, то волнение сказало с некоторой задержкой.

– Зингер был склонен к мифологизации жизненных сюжетов. Однажды – это было много лет спустя после выхода романа отдельным изданием – на встрече с читателями встал один человек и сказал: своей порнографией вы втоптали в грязь идишскую литературу. Зингер изменился в лице. Взял себя в руки и ответил кротко: может быть, вы и правы. Зингер не стал ставить провоцирующего его читателя на место, хотя мог бы (уж это он умел), не стал спорить, оправдываться, что-то объяснять.

Этот возмущенный читатель не одинок: многие еврейские читатели были возмущены – ни к одному писателю в еврейском мире нет такого противоречивого отношения, как к Зингеру. Для американцев он определенно самый любимый еврейский писатель.

“Семья Мускат” многократно переиздавалась. Ее воспринимают и как чтиво, и как великий роман XX века.

Сравните Зингера с его старшим современником Шоломом Ашем. Известный идишский писатель, в каком-то смысле репрезентативный, вполне, надо полагать, соответствовавший литературным вкусам обличителей Зингера и наверняка ими любимый. Зингер втоптал в грязь литературу, символом которой был Аш – к тому времени уже современный классик. Но если внимательно посмотреть, что Аш пишет? Слюни по идеализированному утраченному штетлу, невежественные (или преданные вере) хасиды. Тенденциозная литература, принадлежащая своему времени и мало кому за пределами еврейского мира интересная. А Зингер ввел в идишскую литературу живых, противоречивых, мечущихся и мающихся людей, с их страстями, с их болью, с их терзаниями и порой отчаянием, с их верой, с их неверием, с их уязвимостью, с их цинизмом – никакой тенденции. Зингер не расставляет оценок, не учит жизни, никого не обличает. Зингер возвысил идишскую литературу, вывел ее на простор мировой литературы.

Зингер начал работать над “Семьей Мускат” после смерти старшего брата. Он как бы продолжал его традицию – традицию “Братьев Ашкенази”. С другой стороны, это был хороший газетный ход: ему надоело каждую неделю выдумывать что-то новое, и он решил разрабатывать единый большой сюжет.



– Это ж огромный роман, и что, Зингер публиковал его в газете?

– Да.

– Сколько времени это заняло?

– Много: с сорок пятого по сорок восьмой год.

– Как он подписывался?

– Как обычно: И. Варшавский. Это был его псевдоним в “Форвертс”, читатели именно так его знали. С чего бы ему менять то, что хорошо работало.

– В какой момент И. Варшавский превратился в Зингера? Как это произошло?

– Это как раз и произошло благодаря “Семье Мускат”. На обложке книги стояло уже имя Башевиса – псевдоним, который он образовал от имени матери, ее звали Бас-Шева. Смена имени соответствовала смене его литературного статуса: из газетного поденщика он превратился в писателя – “Семья Мускат” ввела его в большую литературу, привела к серьезному читателю.

– А почему не Зингер?

– Я же говорю: один Зингер уже был. Кроме того, на английском фамилия Singer вообще звучит как Сингер.

– При чем тут английский? Разве книга сначала вышла не на идише?

– Роман вышел в 1950-м почти одновременно на идише и на английском. Издатель понял, что этот роман годится и для нееврейского мира. Издатель, Альфред Кнопф, рискнул – и, как мы видим, не ошибся. Сегодня нам кажется, что ставка была беспроигрышна, – тогда это вовсе не было очевидно.

– Мы все время говорим о “Семье Мускат”, но ведь на идише “Мушкат”, а на английском “Москат”.

– “Мушкат” означает на идише “мускатный орех”, “москат” (moscat) – “мускатный орех” по-английски. Правда, в английской версии названия стоит “Moskat”. Тут два возможных объяснения: либо Зингер хотел, чтобы “мускат” присутствовал неявно, либо он просто сделал ошибку, недостаточно хорошо зная английский язык: слова пишутся по-разному, но звучат одинаково. Переводчик спросил, как назвать книгу, Зингер написал название с ошибкой, переводчику было все равно: “Moskat” так “Moskat” – автору виднее. Рут Вайс – я с ней об этом говорил – именно так и считает. С другой стороны, Зингер в принципе хотел, чтобы название было почти идентично, но все-таки неидентично. Он ведь сменил не только название, но и имя главного героя: на идише Ойзер-Гешл, по-английски (и соответственно по-русски) Аса-Гешл.

– Что это за имя – “Аса”? Есть такое еврейское имя?

– В идишской среде были приняты уменьшительные формы имен: то ли дружеские, то ли детские – всякие там Мули, Мони, Шмули, Срули, Ичи, Пинчи, Ицики, Яши. Вот хотя бы Яша Хейфец – великий человек: он умер в 86 лет и все ходил в Яшах. Почему? А вот так! Аса как раз из этого ряда.

– Ну да, Биби Нетаньяху, Арик Шарон – детские имена.

– Это все такая идишская субкультура. Человеку из другого культурного мира это может показаться смешным – в еврейском мире это норма. Я вам расскажу историю из собственной жизни. В девяностом году я впервые попал в Америку и стал разыскивать



брата своего деда – Мику Горина. В адресной книге было полно Гориных, но Мика отсутствовал – я нашел его через знакомых. Выяснилось, что в адресной книге он значился как Шмуэль. Почему Шмуэль? Как ты не понимаешь простых вещей: Шмуэль – это Шмиль, Шмиль – это Миля, Миля – это Мика. Для него это было самоочевидно.

– Отца моей тещи звали Берка. Она была уверена, что это уличное прозвище. Она выяснила, что это имя паспортное,

“настоящее” – только тогда, когда сама пришла получать паспорт. Она была поражена. Но, во всяком случае, понятно, откуда это имя взялось, а “Аса”?

– Да откуда угодно, хотя бы от того же Ойзера, что, впрочем, вовсе необязательно. Откуда взялся Мика? Понятно только после объяснений. На самом деле это не имеет никакого значения. Так захотел Зингер. Я думаю, ему в голову не приходило, что это имя будет вызывать вопросы.

– Но все-таки чем плох “Ойзер”? С какой стати менять его на “Асу”? Чем “Аса” лучше?

– То же, что и со сменой названия. Почему бы не назвать по-английски “Семья Мушкат”? “Мушкат” – вполне хорошо звучит по-английски – много лучше, кстати, чем по-русски, где возникают всякие непрошенные ассоциации с мушками и мошками. Зингер, думается мне, не хотел идентичного названия и идентичного имени героя. Изменив их, он посылал внятный сигнал, что англоязычный читатель имеет дело с неидентичным романом – да, очень похожим на “Семью Мушкат” и все-таки другим.

– То есть это не вполне перевод.

– Роман на английском языке почти в два раза (!) меньше идишского оригинала. С одной стороны, конечно, перевод, с другой стороны, с большими оговорками. Другое название, другое имя главного героя, другой объем, другая структура. Другой роман. Очевидно, что просто другой роман. Практически все его переводы по мелочи отличаются от оригиналов, но такая кардинальная переработка романа – единственная

в его творчестве, ничего подобного он больше никогда не делал.

– Зачем Зингеру это понадобилось?

– Зингер понял, что у него появился беспрецедентный шанс выйти на простор американской литературы. И он этим шансом воспользовался.

– “Беспрецедентный” – что вы имеете в виду?

– То, что еврейской литературы – как идишской, так и ивритской – для американского читателя тогда вообще не существовало. Не переводили. Это был абсолютно закрытый и неизвестный англоязычному читателю мир. Пишущие на идише считали это само собой разумеющимся и не испытывали от этого ни малейшего дискомфорта, никто не пытался перейти границу.

– Ну почему, вот два автора, названные вами: Кан и Аш. Кан писал по-английски, Аша переводили на английский язык. Да и старший Зингер...

– Ну хорошо, я готов отказаться от слов “абсолютно закрытый”, такие случаи бывали, но они несоизмеримы с приходом Башевиса в американскую литературу, сегодня они забыты и остаются незначительными эпизодами, интересными только историкам литературы.

– А Шолом-Алейхем? Его тоже в американской литературе не существовало?

– Ваш вопрос связан с тем, что в России Шолом-Алейхем был и с известными оговорками остается известной, даже знаковой литературной фигурой. Его переводили, о нем писали, главное – его читали, причем не только евреи. Но это в России. Не то в Америке. В Америке Шолом-Алейхем был пустым звуком, пока не вошел в американскую культуру через двери мюзикла, весьма сильно отстоящего от литературного оригинала. Для американцев Шолом-Алейхем и сегодня остается не известным писателем с собранием сочинений, а скрипачом на крыше. Шолом-Алейхем? Ну как же, кто же не знает: Бродвей, Fiddler on the Roof, классика, название апеллирует к Шагалу. Где Шагал и где Шолом-Алейхем? И вообще, “Скрипача на крыше” знают в Америке все, – многие ли читали “Тевье-молочника”? Без музыки Джерри Бока Шолом-Алейхем здесь вообще не существует, он неотделим от мюзикла. У Зингера совсем другая судьба, он стал первым выходцем из мира еврейской литературы, которого действительно прочли и полюбили, он репрезентировал в своем лице всю еврейскую литературу.

– А как же Сол Беллоу, Бернанд Маламуд, Филип Рот?

– Они писали по-английски, причем писали для американских читателей. В том числе и для евреев, конечно. Но только в том числе. Они известные американские писатели. Ицхок-Лейбуш Перец, Хаим Граде, Исроэль Зингер – известные еврейские писатели. Кто их знает за пределами еврейского мира? Нет никого, кто бы принадлежал двум

мирам, кто был бы знаменит в обоих. Никого, кроме Башевиса Зингера. В этом отношении он уникален. Он стал своего рода мостом. Он связал два мира. Он был первый, кто стал писать для двух разных миров. Он понимал, что для американского читателя нельзя писать так же, как для еврейского. Он хотел литературного и, разумеется, коммерческого успеха в новой аудитории, и он понимал, что роман, в том виде, как он печатался в газете, для этого не подходит.

– А вы не допускаете, что он сократил роман, полагая тем самым, что просто улучшает его? Совершенствует структуру, убирает необязательные эпизоды? Мало ли чего в газете напишешь, ему надо было гнать материал каждую неделю безостановочно в течение многих лет, это же был его заработок. Такой режим работы не располагает к совершенству. Вы же сами сказали, что это предполагает халтуру. А тут у автора возникла возможность оценить сделанную работу, спокойно критически пересмотреть, усовершенствовать, убрать лишнее. Так не может быть?

– Наверное, Зингер поработал над романом. Но убрать полкниги? Если бы это было необходимо, он сократил бы и идишскую версию. Нет, он считал, что для еврейского читателя все в порядке, а для нееврейского роман, в том виде как есть, просто не годится. И Зингер написал новый роман, точнее, трансформировал прежний роман в новый.

– И какими критериями он руководствовался?

– Вы читали “Папин домашний суд”?

– Да.

– А статью Наймана?

– Читал. Я даже о ней писал.

– Так вы должны помнить главный упрек Наймана.

– Найман полагает, что Зингер написал занудную и клишированную этнографическую книгу.

– Найман – русский интеллигент. С традиционной еврейской жизнью его ничто не связывает. Зингер именно такого восприятия и боялся. Для человека традиционного еврейского мира талес, капота, пейсы, цицис – обыденность, рутин, ничего такого, что задерживало бы внимание. Для внешнего человека – это экзотика, этнография. В зависимости от позиционирования читателя текст читается и понимается по-разному. Зингер не хотел, чтобы его роман воспринимался как этнографический. Он предвидел

реакцию американского “Наймана”, и он модифицировал роман, максимально изъясв оттуда описания и эпизоды, которые могли бы пониматься таким образом.

– Но все равно талес и весь тот материально-предметный и ментальный мир, который с талесом связан, никуда не делся. Зингер пишет о традиционной еврейской жизни – естественно, и о ее специфических реалиях.

– Вы правы, и он все это пытается читателю объяснить. В “американском” романе. Для еврейского читателя и так все ясно.

– Пытается объяснить не лучшим образом: дает комментарии прямо в тексте, что производит диковатое, даже комическое впечатление, снижает качество романа, отвлекает внимание, раздражает. Невесть откуда, из кармана Зингера должно быть, появляется лектор с указкой, решительно отодвигает ошеломленного таким нахальством повествователя (да помолчите вы наконец, дайте мне сказать!), останавливает действие и скучным голосом рассказывает про талес.

– А как бы вы решили эту проблему?

– Я бы дал сноску.

– Зингер не хотел сносок. Сноски для его романа решительно не годятся.

– Наверно, вы правы, но все-таки хуже, чем вышло, трудно себе представить: уродливые заплатки на тексте. Ну и насчет объема: этот этнографический ликбез роман отнюдь не уменьшает – он его увеличивает, хотя и незначительно.

– Такие вещи, как талес, можно относительно просто объяснить: это всего лишь вещь. Объяснить целый культурный мир невозможно – даже в первом приближении. То есть возможно, конечно, но для этого надо написать еще одну книгу, соразмерную по объему и заведомо адресованную другому читателю. Зингер последовательно убирает хасидские эпизоды: целый повествовательный пласт, где центром был местечковый ребе – дед главного героя.



– Но погодите, это же все в романе есть.



– Всего лишь несколько эпизодов. Только тень того, что в первоначальной идишской редакции. Хасидский мир – один из смысловых центров повествования; его редукция меняет общую структуру и соотношение смыслов. В этом изъятии есть еще одна причина. Зингер боялся, что хасидский мир в глазах людей, смотрящих на него с большой культурной дистанции, окажется смешным, нелепым, карикатурным. Когда мы рассказываем еврейские анекдоты, мы рассказываем о себе, о своих друзьях и соседях.

Когда их рассказывают неевреи, они рассказывают их о евреях – о чужих, о других. Большая разница. Зингер этого ни в коем случае не хотел. Еще одна чисто техническая причина, побудившая его к хирургическим операциям: он считал, или же его научили люди, которым он доверял, что американский читатель гораздо более чувствителен к объему: не любит этот читатель большие книги.

– Это действительно так?

– Не знаю – Зингеру видней.

– Роман все равно получился огромный: вон какой том – около девятисот страниц!

– Теперь представьте, что он был бы почти в два раза больше.

– Как вы полагаете, Зингер преуспел?

– Для меня это очевидно. “Семья Мускат” в ее англоязычной редакции – захватывающий роман, несколько поколений, разнообразие характеров, страсти, большой исторический контекст, трагический финал. Кстати, роман – готовая основа для телесериала; не понимаю, почему до сих пор никому в голову не пришло его сделать. Как бы напрашивается. Думаю, такой сериал еще будет.

На одном еврейском семинаре шло обсуждение “Семьи Мускат”. Я там выступал, говорил примерно то же самое, что вам: о переводе, о связанных с ним проблемах. И вот встает Ешанов и говорит: наверное, все это важно для переводчиков, литературоведов, культурологов, одна редакция, другая редакция; мне до этого дела нет: я читатель, я прочел роман не отрываясь, я потрясен, я с ним не расстанусь, я его перечитываю, я живу жизнью его героев, я над ним размышляю. Как видите, хорошими читателями бывают не только домохозяйки.

В конце концов, дело даже не в том, нравится мне эта сокращенная редакция или нет. Я могу ошибаться. И Ешанов может ошибаться. Оценка романа – дело в достаточной мере вкусовое. Но есть же и объективные вещи. Зингер вошел с этим романом в большую американскую, а затем и в мировую литературу, впоследствии стал

самым популярным еврейским писателем Америки, более того, стал культовым американским писателем, в конце концов, получил Нобелевскую премию – единственный, заметьте, из писавших на идише. Успех последующих сочинений Зингера пришел на волне “Семьи Мускат”. А пусти он на американский рынок первоначальную редакцию, еще не известно, как бы ее приняли читатели и критики, как бы сложилась его литературная судьба. Не факт, что так же успешно.

Жизнь показала, что он сделал правильную ставку. Он хотел стать американским писателем – он им стал. Благодаря успеху этого романа на английском он вошел в мировую литературу. Он стал даже польским национальным писателем, чего уж совсем не предполагал! Он не любил Польшу.

– Любил, не любил, но он сделал Варшаву фактом большой литературы, в известном смысле мифологизировал ее. В “Семье Мускат” есть дух Варшавы. И в этом смысле он, конечно, польский национальный писатель.

– Я, когда бываю в Варшаве, иду по Маршалковской, неизменно вспоминаю Зингера, подобно как, идя по некоторым улицам Петербурга, вспоминаю Достоевского. Еврейская Варшава не замыкалась на Крохмальной улице – до войны Варшава в значительной мере была еврейским городом, на Маршалковской каждый третий магазин был еврейский.

– В результате сокращения “американская” “Семья Мускат” оказалась обедненной. Ради успеха Зингеру пришлось пожертвовать качеством.

– С какой точки зрения? С точки зрения человека, знающего еврейский мир, – да. Но ведь “американский” роман заведомо не был для такого читателя предназначен. Кроме того, в результате кардинального сокращения роман стал “легче”, действие ускорило. Так что здесь он даже и выиграл.

– Конец “американской” редакции эмоционально и эстетически сильнее. Трагический финал. Ошеломляющий. Шокирующий. Такое “ах!” читателя – и точка. Я вообще не припомню романа с таким эффектным завершением. Последняя, отсутствующая на английском языке глава – уже своего рода послесловие. Все уже под горочку идет. Так или иначе, возникает ощущение двух концов. И второй много слабее первого.

– Это можно обсуждать – я-то считаю, что последняя глава очень важна. А вот что очевидно: “американский” роман оказался безусловно обедненным, уже безотносительно читателя, в другом отношении – в языковом. Зингер, конечно, не Набоков, но идиш его романа – живой, индивидуальный язык, а английский, увы, никакой.

– И русский такой же.

– Что вы хотите? Перевод с английского: какой английский, такой и русский. Ливергант – хороший переводчик. Никаких претензий.

– Полагаю, справился бы переводчик и не такого уровня, как Ливергант. А не лучше было бы тогда перевести с идиша? Впрочем, Зингер же хотел, чтобы его переводили только с английского, с авторизованных им переводов. Я слышал, он был страшно возмущен, узнав, что в России его переводят с идиша, – вопреки его ясно выраженной воле.

– Я же вам говорил уже: по существу, речь идет о двух разных романах, ориентированных на разных читателей: “Семья Мускат” – для любителей еврейской литературы, “Семья Мускат” – для всех. И этот второй (для всех) роман невозможно перевести с идиша, потому что на идише его просто не существует. Ваш вопрос можно переформулировать: почему перевели тот роман, а не этот? Может быть, имеет смысл перевести оба? Может быть.

Теперь относительно возмущения Зингера переводом Беринского с идиша на русский. Да, он, говорят, действительно был возмущен. Только неизвестно, чем именно. Может быть, тем, что тот перевел с идиша? Может быть. Может быть, тем, что перевод был, по его мнению, неудачен? Тоже может быть. А может быть, тем, что этот перевод был пиратским, как это практиковалось в России? И это может быть. А то, что он настаивал, чтобы его переводили с английского, это всем хорошо известно.

– Откуда известно? Есть какой-то юридический документ?

– Он это многим говорил. В частности, своему секретарю Телушкиной. Никакого юридического документа не существует. Так что при переводах с идиша нарушение его воли носит характер не юридический, а моральный. Правообладатели по умолчанию посылают желающим опубликовать Зингера текст на английском языке. Идиш им в голову не приходит.

– Но если попросить, то пришлют и на идише?

– На идише не пришлют, но и возражать против идиша тоже не будут. Тут есть коллизия воли автора, к которой я отношусь с заведомым уважением, и – потребностями литературы. Я уверен, что переводить надо все-таки с идиша, заглядывая тем не менее в английский перевод – в случае расхождений. “Семья Мускат” – особый случай.



Я ВЫШЛА ИЗ ГЕТТО

Àdèyèà Áádàì Ìàè-Ñáò

В последнее время все чаще убеждаюсь: вроде и не толстокожий, а чуткости не хватает, да и “закалка” московская не способствует проявлению ее. Доказательств хрупкости жизни земной тоже хоть отбавляй. Вот и с Ариэлой Абрамович-Сеф случилось так: она ушла, а я не успел в должной мере оценить все то, что нес в себе этот человек, в короткий период нашего знакомства. Хотя, конечно, понимал, насколько важна для нее эта публикация, не мог не

понимать: работая над этим небольшим отрывком, мы созванивались очень часто. Я звонил в Лондон, она звонила из Лондона по несколько раз в день... А далее я с головой ушел в «мумбайский» номер, забыв об Ариэле, и потом узнал, что ее больше нет. Индийская трагедия сменилась трагедией Каунасского гетто, и Ариэла из категории “один из моих авторов” перешла в категорию “мой автор”, служа примером того, насколько важна правдивость высказывания – в самом ценном, последнем, итоговом сообщении. Афанасий Мамедов

Я родилась недоношенной, во время облавы в Каунасском гетто. Дело было в конце октября сорок первого года, как раз тогда, когда немцы подошли к Москве. То есть совсем не вовремя. Но деваться было некуда, и на пятый день жизни “пошла” я, а вернее, понесли меня на “большую детскую акцию”. Это была сортировка. Больных, старых, инвалидов и маленьких детей – на сторону смерти, она называлась “на посильный труд”, а здоровых и молодых – работать “на благо Германии”.

Всех евреев согнали на плац и стали сортировать. Мама припеленала меня к груди, и я как вся наша семья, за исключением бабушки, попала на “хорошую” сторону.

Бабушка, будучи человеком старым, умудренным опытом, решила близких не огорчать: смешалась с толпой обреченных на смерть. И тут – как рассказывали – мой отец тремя прыжками переметнулся вдруг с “хорошей” стороны на сторону смертников, отыскал и буквально вытащил из толпы бабушку, которая не понимала, что происходит, перебежал с нею на “хорошую” сторону.

Когда под вой, шум и лай овчарок его пытались остановить, он на хорошем немецком языке объяснил, что произошла ошибка и у него имеется разрешение. Короче, бабушку он все-таки перетащил. А потом, когда отца спрашивали, как он не побоялся, он отвечал: “Да я-то боялся, наверно, больше всех, потому и побежал туда!” В спокойной, мирной жизни отец часто колебался, но, когда надо было принимать серьезные решения, я не встречала человека более решительного.

Когда я родилась, нам подарили плетеную детскую кроватку – остатки чьей-то роскоши. Она стала главным украшением каморки. В гетто я провела два года. В то время дети в гетто почти не рождались. К полутора годам я очень хорошо усвоила, кто и когда из соседей обедал, и оказывалась в нужное время в нужном месте, у нужной двери. Меня

кормили и одевали родственники и соседи. Соседи были в основном интеллигентные люди.

Родители мои в ожидании новых “акций” пребывали в ужасе. У отца зародилась мысль любой ценой спрятать меня. Родственники смотрели на него как на одержимого. Они, конечно, знали, что, случалось, детей выбрасывали за ворота гетто и там их подбирали друзья, знакомые или просто чужие люди, но у нас таких знакомых не было. Родня подчинилась судьбе: как все – так и мы.

Дядя мои оказались совершенно неприспособленными к условиям гетто, они выглядели больными, немолодыми людьми; дед был уже очень старым, и оказалось, что единственным молодым и здоровым был мой отец, он-то и вынужден был как-то приспособиться: у него же грудной ребенок.

Главными моими друзьями и воспитателями стали двое соседских мальчиков – одиннадцатилетний Беба и девятилетний Вева Минцы. Отец их до войны преподавал, был профессором философии или химии (точно не припомню), а в гетто он тяжело заболел – открылась язва желудка – и для тяжелого физического труда оказался полностью непригоден. Мой отец менял на работе их “добро” на еду. Давали ему вещи и другие люди, которые не могли, не хотели или боялись рисковать. Отец менял все честно и довольно успешно. Правда, однажды ему подсунули целый бидон масла, которое оказалось машинным. Таких случаев было несколько. (Пусть же мошенники на том свете жарятся в аду.)

До войны папа никогда ничего не продавал и уж тем более не менял, хотя и происходил из семьи потомственных купцов. Дед и дядя торговали мануфактурой, а отец – младший из семерых детей – учился на врача в Париже. Потом там же начал работать в больнице врачом-экстерном; затем временно вернулся в Литву для краткой службы в армии и тоже работал врачом. Собирался вернуться во Францию, чтобы оттуда на два года уехать в Канаду для получения французского гражданства и права работать врачом в Париже.

Местные жители подходили к заключенным евреям и с удовольствием производили обмен; евреям это грозило расстрелом, но выбора не было и люди рисковали. Правда, в самом начале немцы смотрели на такое снисходительно. Один немецкий полковник сказал отцу: “Мне сейчас стыдно, что я немец”. В основном охранниками были пожилые, прошедшие первую мировую войну тыловики, почти отставники. Зла в них было не много, и с ними можно было договориться, особенно тем, кто хорошо знал немецкий. Это и был случай моего папы. Они знали, что он бригадный врач, закончивший медицинский факультет в Париже, и многое ему прощали. Отцу даже удалось однажды выручить незадачливого менялу, настолько увлекшегося меной, что его непременно бы расстреляли, если бы не какое-то немыслимое в данной ситуации объяснение отца. Узнали мы об этом случае только после похорон папы, когда получили благодарное письмо из Канады, от того самого человека, прослышавшего о смерти своего спасителя.

Мама часто рассказывала мне, какие разные люди населяли гетто.

Вот знаменитый профессор – доктор Элькис. До прихода Гитлера он жил в Германии и был настолько уважаем и известен, что немцы готовы были его отпустить. Но он и его жена отказались покинуть гетто. Остались со своим народом. Он погиб вместе со всеми. Был и такой персонаж, как доктор Захарьин – тоже всеми уважаемый до войны человек, сказавший как-то моей испуганной маме: “Ну, умрет так умрет. Какая разница.



Да и кем она станет, если выживет? Будет одной проституткой больше”. Доктор Захарьин выполнял все приказы немцев. Это ему не помогло. Но простой народ тоже был в гетто: ремесленники, извозчики, приказчики. Их было большинство. Неприхотливых и бывалых, у которых способность к выживанию была явно выше, чем у интеллигентов. К тому же интеллигентам приходилось сложнее. Почти все они прекрасно знали немецкий язык, поэзию, культуру (в Литве многие говорили дома только по-немецки). И естественно, они не могли понять, как такое могло случиться.

Мои родители такими уж “немцами” не были. Отец учился во Франции, мама в Англии, но большинство интеллигентной или просто богатой молодежи много времени проводило в Германии. А их родители отдыхали и лечились на немецких курортах. Замечательные библиотеки в основном состояли из книг на немецком языке и вывозились затем оккупантами в Германию. Моя англоязычная мама знала по-немецки наизусть всего Гейне. В Каунасе молодые интеллигенты-евреи говорили, как правило, по-немецки или по-русски. Многие знали иврит. (На идише в интеллигентных кругах говорили разве что пожилые люди.) Во всяком случае, они выросли на немецкой литературе, на немецкой науке и, как я уже говорила, были ошарашены происходившим.

Мои друзья Беба и Вева проходили всю школьную программу дома, много и усердно занимались, словно бы им предстояло поступление в гимназию или университет, а не печи и расстрел. Они увлекались историей, а я повторяла за ними имена, которые меня особенно впечатляли: Наполеон Бонапарт, Наполеон Третий, маршал Фош, кардинал Ришелье...

Когда меня окончательно решили вывезти из гетто, мальчики тоже захотели уехать со мной. Но у них не было шансов. Два мальчика, с явно семитской внешностью. Пристроить их было невозможно. Так они и погибли, ни в чем не повинные мои друзья.

В сорок третьем году, когда русские уже побеждали, в гетто стали рыть подземелья, куда можно было бы спрятаться во время бомбежек или облав. Но нас туда не пустили – а вдруг я заплачу некстати.

Через молодых подпольщиков родители узнали, что маленькую белокурую девочку можно как сироту пристроить в детский дом, в котором директором в то время был доктор Баублис. Отец немного знал его до войны. Теперь оставалось только подкупить охрану или пролезть через подкоп, уйти с ребенком ночью из гетто и... подбросить у детского дома.

Вся семья плакала: в тридцатиградусный мороз оставить меня почти на улице?!

Отец сделал мне укол снотворного, и, переодевшись крестьянами, они вместе с матерью понесли меня в детский дом. Оставили под дверью в подъезде с запиской: “Я мать-одиночка, не могу воспитывать ребенка и прошу мою дочь, Броню Мажилите (настоящая фамилия моей матери – Майзелите), взять на ваше попечение”.

Видимо, меня подобрали, когда я, проснувшись, начала орать от страха.



Отцу удалось, через тех же подпольщиков, дать знать доктору Баублису, кто “скрывается” под этим именем. Всего в том детском доме благодаря Баублису спаслось за время оккупации более двадцати еврейских детей.

Мама с папой оставались еще в гетто, не имея обо мне никаких новостей.

Отец по-прежнему ходил под конвоем работать на аэродроме.

В один прекрасный день Баублис через кого-то дал знать, что я при смерти и, если есть хоть малейшая возможность, меня надо забрать.

Но не в гетто же опять!

Оказывается, я прекрасно запомнила уроки мальчиков-соседей и часто, понимая, что вызываю интерес, повторяла заученные имена: Наполеон Бонапарт, маршал Фош и т. д. “Какой же это незаконнорожденный, никому не нужный ребенок?!” В придачу я порезала палец и попросила стрептоцид! Он тогда только появился. Все стало более или менее ясно. “Жидовочка!” Несмотря на явную блондинистость, голубую жилку на лбу (“голубая кровь”) и не слишком семитскую внешность. “Глаза-то черненькие. Не частое сочетание у литовцев”. Это особенно волновало мою воспитательницу, “большую поклонницу” евреев. Она считала, что всех евреев следует истребить. Воспитательница перестала меня обувать, и по кафельному полу я топала босиком. Одевала тоже не всегда. “Еще жиденятами заниматься! Своих, что ли, не хватает?” Защитить меня было некому. Ни Баублис, ни его старшая сестра не могли себя выдать. Погибли бы другие еврейские дети. Погиб бы и доктор. Единственное, что отсрочило донос моей воспитательницы, — это ее уверенность, что я издохну и так.

Отец, продолжая работать в “бригаде”, стал срочно искать кого-нибудь из местных жителей, кто бы взял ребенка.

Временами на лодке появлялся рыбак, до войны возивший дачникам рыбу. Он отца помнил, и отец стал его уговаривать. Рыбак решил посоветоваться с женой и сыновьями. Папа отдал ему единственную сделанную в гетто мою фотографию (ведь снимать в гетто строго запрещалось). На ней я выглядела вполне симпатично, и, главное, было видно, что я блондинка.

Однажды ночью отец взял с собой маму, и они вместе, выбравшись из гетто, отправились уговаривать эту семью. Маме в красноречии отказать было трудно, тем более что она искренне верила в мою неземную красоту и талант. Уж она им наговорила и какая я умная, и что у меня на лбу голубая жилка, и что во мне течет голубая кровь. Короче, лучшего выбора было не сделать, хотя им вообще-то никто не был нужен. Однако эти люди были глубоко верующие, и так случилось, что у них недавно умерла дочь. Так что родителям удалось убедить их в Б-гоугодности предприятия.

Мама Юля, Юлия Дофтор (Даутаргас), моя будущая приемная мать, и ее сын Зигмас, офицер литовской армии, поехали в детский дом забирать свою чудесную красавицу “внучку”.

Мама Юля была неграмотной, и все документы оформлял Зигмас.

Ребенка им выдали.

Няньку, которая сочла “арийского” ребенка жиденком, осрамили.

В детском доме произошел конфуз. Маме Юле родители сказали, что девочка – умница и блондинка, а выдали им какое-то окровавленное лысое существо – но не бросать же “приболевшую внучку”...

До дому довели в полной панике. Обманули! Какая это блондинка? Пищащее, вопящее создание, которое вот-вот должно умереть. Но верующие есть верующие. И они начали молить Б-га о моем исцелении, слабо на то надеясь.

Мои родители решили проверить, все ли получилось. И снова вырвались ночью из гетто. Каков же был их ужас! Мама сначала решила: “это ошибка”, и убедить ее в обратном было бы невозможно, не найди она родинку, которую едва можно было различить на кусочке кровавого мяса.

Родители опять принялись упрашивать спасти меня. Зигмас молчал. Решение было за мамой Юлей. Отец обещал, что будет по ночам выбираться из гетто, чтобы доставать лекарства и лечить меня.

В первые дни он действительно каждую ночь выбирался. Шел, переодевшись крестьянином, двадцать километров. В городе навещал довоенных знакомых фармацевтов.

Кто-то захлопывал перед ним дверь, а кто-то давал лекарства. С этими лекарствами отец возвращался в Шиляляй – так называлась деревня – и лечил меня...

Мама Юля, знавшая народную медицину, считалась в деревне целительницей, настаивала травы, промывала мои раны. И меня выходили. Причем выходили скорее, чем думали.

Отросли волосы. Я опять заговорила, правда теперь по-польски, как мама Юля и дедуня. Русский у меня, к счастью, после болезни не восстановился.

В последний приход отец взял с собой маму.

Было холодно. Мама очень устала. По дороге они увидели мужика на телеге. Остановили его. После двух-трех слов мужик стеганул лошадь и умчался. Родители догадались, что он понял, кто они. Забыв про усталость, мама с папой быстро добрались до места.

Зигмас и Йозас отвели их в сарай, завалили дровами.

Примчались немцы. Обыскали весь дом. Попрыгали даже по дровам в сарае и, никого не найдя, спросили, не видели ли хозяева двух беглых евреев: накануне из Девятого форта был большой побег.

Вальяжный, высокий Зигмас сказал, что какие-то, мол, пробежали и даже указал, куда именно.

Немцы кинулись догонять, а братья вытащили родителей из-под дров.

Больше родители в гетто не вернулись и ко мне до освобождения не приходили. А я в них и не нуждалась. Мои приемные родители настолько убедили себя в том, что я их внучка, что даже соседям говорили, что умершая дочка, видимо, родила от немца.

Меня окрестили в ближайшей церкви, водили туда каждое воскресенье, и я очень усердно молилась. Молитвы выучивала быстрее своих сельских сверстников. Когда приходили немцы, младший сын, Владик, ставший впоследствии писателем, старался меня увезти на лодке – вдруг я как-то выдам себя...

Все бы вообще забыли обо мне, если бы не средний сын мамы Юли Ленька. Ленька служил в полиции, был женат, имел трех детей, страшно пил, был неуправляем, тянул из родителей деньги и грозился меня выдать. Мама Юля плакала и деньги ему давала.

Когда немцы отступали, Ленька ушел с ними, оставив жену и троих детей. Через много лет он прислал родителям письмо, благодарил за помощь его детям, звал свою семью в Канаду, а нас – в гости. Родители отвечать ему не стали, но через Владика передали, что помнят о его угрозах. На что Ленька ответил: “Грозиться-то я грозился, но не выдал же”. Это действительно было так, мог бы и обязан был выдать по долгу службы, но пути Г-сподни неисповедимы. А мы помогали его детям, внукам мамы Юли.

Папа с мамой из гетто убежали в деревню Кулаутува, где до войны семья отца снимала дачу. Хозяин был немецкого происхождения. Отец пообещал ему вознаграждение после войны (хотя русские уже наступали, до конца войны еще надо было дожить), и Кумпайтисы – так звали хозяев – поселили моих родителей в хлев с коровами или свиньями. Под полом.

Когда уже в пятидесятых годах мы снимали поблизости от них дачу, нам этот хлев показали. Скотина находилась сверху, а в подполье – мои родители. По ночам они иногда могли вылезти подышать свежим воздухом. Их, как и скотину, вовремя и аккуратно кормили. Хотя при плохом исходе хозяева рисковали жизнью, но они верили в послевоенные возможности моего папы и знали всю нашу семью. И не ошиблись. Кумпайтисы были зажиточные крестьяне и вполне могли оказаться в Сибири. Первый эшелон “буржуев” отправили до войны; после войны шла вторая очередь. Сразу после освобождения помощь евреям оценивалась как положительный факт, позднее об этом лучше было не вспоминать.

Отступая, немцы взорвали и сожгли гетто. Люди, ушедшие в подземные ходы, куда нас не взяли из-за меня, сгорели заживо.

Дедушку и бабушку увезли в сорок четвертом. Куда именно – неизвестно. Умерли они по дороге или их расстреляли? Других родственников отправили в лагеря в Эстонию и Польшу. Дяди с двоюродными братьями погибли. Тети с дочерьми выжили и после войны оказались в Америке. Я с этими родственниками, к сожалению, мало общалась, а некоторых никогда не видела.

Забрали меня в город не сразу: я никуда не хотела уезжать. Держалась за юбку мамы Юли и говорила родителям: “День добрый, пан, день добрый, пани”. Когда мне начинали объяснять, что у меня есть еще другие родители, я рыдала. Только после нескольких их посещений маме Юле удалось оторвать меня от юбки.

Родители рассказывали, что в первый же день после освобождения они пришли и увидели меня в саду. Я, перепачканная в соке, горстями запихивала в рот ягоды. Мама и папа были счастливы.

Поселились они в том же доме, что и до войны, только в квартире напротив. Прежнюю заняла старая набожная сестра бывшей хозяйки дома. Сами хозяева уехали с глаз долой за город, чтобы не быть сосланными в Сибирь: до войны они считались богачами.

В квартире, куда меня привезли, в одной из комнат было два матраса, в остальных двух комнатах – только начищенный паркет, но родителей это нисколько не огорчало. Они каждый вечер ходили в ресторан, предпочитая ничего не готовить, и брали меня с собой. Впрочем, это длилось недолго.

Появилась столовая мебель, которая до сих пор стоит в Лондоне в доме моего брата. У нас начали собираться люди. В основном это были военные, офицеры-летчики и офицеры-врачи-хирурги. Я очень хорошо помню некоторых из них, особенно доктора Рябельского. Они появлялись, ужинали, иногда даже ночевали, а потом улетали на фронт. С Рябельским и еще одним офицером у отца были разговоры “при закрытых дверях”. Они организовали целую “банду” по спасению еврейских детей, оказавшихся в селах, разбросанных по всей Литве.

Молодые офицеры еврейского происхождения в тогдaшнее небезопасное время ездили по деревням. (В лесах обитали “лесные братья”, и уж эти-то советских офицеров не щадили. Так погиб один из них. Имени его я не помню, помню только, что был он молод, хорош собой и ухаживал за мамой.)

Рискуя жизнью, офицеры вывозили детей из деревень. Кто-то из крестьян отдавал с радостью и добровольно, кто-то не хотел лишаться рабочей силы, и приходилось выкупать, а кто-то к детям искренне привязался. В каждом случае надо было разбираться.

Детей привозили в Каунас, кого-то в уже открывшийся еврейский детский дом, где папа был попечителем. Кого-то удавалось переправить за границу – тоже не без помощи моего отца, отдавшего этому делу всю свою энергию и свободное от работы время. Летчики перевозили детей в Польшу лично или договорившись с кем надо. Там их принимал Красный Крест и другие благотворительные организации.

Папа тогда, похоже, не отдавал себе отчета, насколько подобная деятельность была опасна. Какое количество детей прошло через наш дом? Скольким беженцам помог мой отец? Он был тогда одержим еврейской идеей. После гетто национальное самосознание проявилось в нем в полную силу, заслонив, быть может, многое другое.

Почти каждый день он жаждал кого-то усыновить. Если бы мама не препятствовала, у меня было бы много братьев; но довольно скоро мама сама родила брата Моню и буквально через пару месяцев привезли сестричку Аню. Аня – наша двоюродная сестра, она родилась в тюрьме, и ее пришлось оттуда буквально выцарапывать. Речи о чужих детях быть уже не могло.

ЛИЯ ПРЕСТИНО-ШАПИРО: "ПАПА БЫЛО ЧЕНЫ ДЕЙТЕЛНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ"

אליהו אבינו י בן עשר יארינו אבי

В следующем году исполнится 130 лет со дня рождения Феликса Львовича Шапиро, автора первого иврит-русского словаря, чудом изданного в Советском Союзе в 1963 году. Сам Ф.Л. Шапиро не дожил до выхода в свет своего детища – он умер в 1961 году. И уж конечно не мог он знать о том, что более двух десятилетий, пока иврит не “легализуют” в СССР в период перестройки, тысячи и тысячи евреев будут учить священный язык по единственному доступному источнику – легендарному словарю Шапиро. Едва ли предполагал он, что среди этих евреев будет и его внук, Владимир Михайлович Престин, один из самых популярных учителей иврита в Москве 70-х, признанный лидер движения за репатриацию в Израиль, получивший в отказнической среде прозвище Граф...

С дочерью Ф.Л. Шапиро и матерью В.М. Престина Лией Феликсовной Престиной-Шапиро мы беседуем в ее квартире, в Безр-Шеве, где несколько месяцев назад именем Феликса Шапиро был назван один из городских скверов.

– Лия Феликсовна, из какой семьи происходил Феликс Львович, кем были его родители?

– Мой дедушка, отец моего отца, много лет был учителем хедера. Хедер находился прямо в его квартире, в одной из комнат.

– Это было в...

– В Бобруйске. Сначала семья жила под Бобруйском, в местечке Холуй, там родился папа, а потом они переехали в Бобруйск...

Комната, где располагался хедер, была практически пустой, там стояли только скамейки, на которых сидели мальчики во время уроков. Папа обычно присутствовал на этих занятиях. И поэтому с трех лет он уже не только очень хорошо говорил, но и читал, и даже писал на иврите. А лет с семи-восьми дед использовал его в качестве преподавателя – папа начал сам вести занятия с малышами.

Потом, в 30-х годах, дедушку, как владельца хедера, лишили всех прав, он стал лишенцем. Но мы об этом узнали только через много лет – родственники, которые жили с ним, боялись нам об этом сказать, чтобы это не повлияло на жизнь отца.

– А мать Феликса Львовича?



– Она умерла довольно рано, дед решил еще раз жениться и стал искать себе невесту. И нашел сразу трех – трех сестер, трех старых дев. Он женился на одной из них, ей тогда было сорок с чем-то, и она родила ему чудесного мальчика, Самуила, папиного младшего брата. Он был моложе меня на восемнадцать лет. Его мать, вторая жена моего деда, вместе с сестрами погибла от рук немцев. А дед, к счастью, умер за полгода до войны.

– Как складывалась жизнь вашего отца до революции?

– Он окончил хедер, потом ешиву и как хороший ученик получил место раввина в одной из провинциальных синагог. Но за время учебы у него появились сомнения в правильности выбранного пути. Папа считал, что образование он получает однобокое, а ему хотелось знать мировую историю, литературу, географию. Так что он отказался от места раввина, спрятал свидетельство об окончании ешивы, ушел из этого мира и стал учить русский язык. Тогда ему было лет восемнадцать, наверное. И вот они с товарищем, Моисеем Лившицем, уходили в лес, садились на пеньки – в одной руке русская книга, в другой идишский перевод – и учили русский.

– Это как-то повлияло на его отношения в семье, с отцом?

– Нет, дед был очень умным человеком, и он понял папино решение.

– А разговорным языком в доме был идиш?

– Да, идиш, конечно.

– То есть до того, как начать учить русский, Феликс Львович знал идиш и иврит как язык преподавания в хедере?

– Да-да, именно так.

– А как он оказался в Баку?

– Ну, до Баку еще много чего было...

Папа очень хотел продолжать образование. Выучив русский, он стал готовиться и сдал экстерном экзамены за курс уездного училища. А сдав экзамены, начал мечтать о жизни в большом городе. Он считал, что дети не получают нужного образования, что еврейская школа должна быть преобразована, что ученики должны знакомиться с выдающимися писателями, музыкантами, деятелями искусства, техники и так далее, но понимал, что, оставаясь в маленьком городке, он сделать ничего не сможет. И он уехал в Харьков, поступил в университет и выучился на стоматолога, хотя потом ни одного дня зубным врачом не проработал. Получив диплом дантиста и вместе с ним право жительства в Петербурге, папа тут же поехал в Киев, сдал экзамены на домашнего

учителя и сразу после этого отправился в Петербург. Он даже не заехал в Бобруйск попрощаться с отцом, так он спешил в столицу.

В поезде ему повезло, он познакомился с человеком, который дал ему адрес Общества для распространения просвещения среди евреев в России, и на следующий день по приезде папа уже был там и получил место преподавателя. Так он начал работать в Петербурге. Здесь он сразу развил большую активность, почти в каждом номере “Вестника Общества для распространения просвещения” появлялась его статья.

Прожил папа в Петербурге до 1913 года. За это время он женился на очень красивой женщине из Гродно. Отец ее, богатый купец, был категорически против: зачем тебе, такой красавице, выходить замуж за учительшу, который ничего не зарабатывает, живет в маленькой комнатке и не имеет никаких перспектив? Но это была любовь, они поженились, и все у них было в порядке. Однако мама заболела легкими, врач рекомендовал переменить климат. И папа увидел в газете объявление: в Баку объявлен конкурс на замещение должности директора талмуд торы при синагоге. Он подал туда документы и был принят. Так папа с мамой переехали в Баку, где я и родилась.

– А как он встретил революцию?

– Честно говоря, не знаю, тогда я была еще слишком мала, а потом мы никогда об этом не говорили.

– Что вам запомнилось из бакинских лет?

– В Гражданскую папу призвали в армию, но тут вышел приказ учителей не брать, и он остался дома. Я помню, как к нам пришли описывать имущество. У нас была хорошая директорская квартира и хорошая обстановка, дедушка из Гродно смирился с замужеством дочери и прислал красивую мебель. Так вот, пришли и начали выбрасывать из шкафов все “лишнее”. Потом, опять же, появилось указание учителей не трогать, и у нас, кроме зубокабинета, которым все равно никто не пользовался, ничего не забрали.

Папа принимал активное участие в спасении армян. Мы носили еду в армянские семьи. А однажды к нам в дом забежала женщина и крикнула, что за ней гонятся. Ее положили в кровать и укрыли чем-то, так, чтобы не было видно. Преследователи даже протыкали кровать штыком, но все закончилось благополучно, они никого не нашли и ушли.

Как-то к нам приходили турки, увидели серебряную сахарницу, еще что-то, все забрали. А папа снял золотое обручальное кольцо и бросил на пол, но, к счастью, оно упало на ковер, и турки не услышали. Это был очень смелый поступок, если бы турки заметили, они просто расстреляли бы отца на месте.

Потом пришли англичане, они раздавали конфеты детям, в продаже появилось сгущенное молоко. Кроме того, они сняли трупы, которые висели в городе, и мы были очень довольны. А спустя несколько лет меня пытались исключить из комсомола за то, что я рассказывала, как хорошо было в Баку при англичанах. Но в конце концов все закончилось выговором.

– Была какая-то специфика еврейского образования в Закавказье, по сравнению, скажем, с Петербургом?

– Основная идея папиной работы в Баку заключалась в том, что иврит – это главный язык в еврейской школе, и все предметы должны преподаваться на иврите.

– А какая была альтернатива, идиш или русский?

– Русский. Кроме того, он добивался, чтобы все учились вместе – и ашкеназы, и грузинские, и горские евреи, потому что до этого у каждой общины были свои школы.

– А как вы выехали из Баку и какую роль в этом сыграла Крупская?

– Папа вообще был очень деятельным человеком. Когда к началу 20-х годов все еврейские школы были закрыты, он занялся другим делом – организовал школу-коммуну. Это была школа примерно того же типа, что потом у Макаренко, с политехническим образованием, там учили, например, столярному делу. А в это время в Баку министром просвещения была Мария Львовна Маркус, жена Кирова, и она написала об этой школе Крупской. Крупская вызвала папу в Москву, и в январе 1924 года он туда приехал. Но тут умер Ленин, Крупской было не до чего, да папа и сам не пошел к ней. И он начал работать в организации, занимавшейся созданием наглядных пособий для московских школ.

– Как Феликс Львович относился к идишской культуре в СССР?

– Он дружил с некоторыми писателями, прежде всего с Самуилом Галкиным. Очень не любил журнал “Советише Геймланд” и его редактора Арона Вергелиса. Но вообще всем этим он не особенно интересовался. А может быть, просто мы этим не интересовались, и он с нами об этом не разговаривал.

– А как был организован быт вашей семьи, что-то специфически еврейское сохранялось?

– Нет, мы росли целиком в русской культуре. Родители говорили по-еврейски, когда хотели, чтобы дети (а у меня были две сестры) или домработница их не понимали. У нас была пасхальная посуда, мы пекли хументаши, делали сами мацу, когда ее нельзя было купить. То есть какие-то еврейские традиции соблюдались. Но мы слушали русские песни, читали русские книги. У папы были книги на иврите, на идише, но нам это было малоинтересно.

– Антикосмополитическая кампания, дело врачей – вас это как-то затронуло?

– Все это мы очень переживали, конечно. Я как-то шла из школы, за мной побежал человек. Кричит: “Коган-отравительница!” И стал меня бить. Я добежала до автобусной остановки, там много военных стояло – никто внимания не обратил, никто...

– Феликс Львович занимался наглядными пособиями до пенсии?



– Да, он работал в “Трудовых резервах”, занимался наглядными пособиями для ПТУ, а потом вышел на пенсию. Пенсия была грошовая, кажется, он получал сто пятьдесят рублей и шестьдесят рублей за маму плюс хлебная надбавка. Я работала в школе учительницей математики, у меня тоже зарплата была маленькая. Надо было подрабатывать. И папа клеил коробочки для лакмусовой бумаги, мы все ему помогали. Это был его приработок. Потом он придумал организовать мастерскую по ремонту наглядных пособий – в одной школе микроскоп сломается, в другой еще что-то. В общем, без дела он не сидел.

И вдруг в 1953 году, через пару месяцев после смерти Сталина, к нам пришел сын папиного сослуживца по бакинской еврейской школе, замдиректора Института востоковедения, и предложил отцу преподавать иврит. Почти одновременно его пригласили в МГУ и в Высшую дипломатическую школу. Папа просто ожил. Он был уже старик, глаза блеклые, мы жили на втором этаже, так ему трудно было туда подниматься. А тут он стал интересоваться, как выглядит, во что одевается. К каждому занятию он писал для студентов небольшой словарь, но вскоре понял, что нужен настоящий большой иврит-русский словарь, и начал его готовить.

– А как удалось добиться того, что словарь издали?

– Папа сам ходил и в ЦК, и в другие инстанции. Он был небольшого роста, полный, ходил с трудом, но все организации обошел. Это его личная заслуга, ему никто не помогал. Выручило то, что он везде говорил: “Этот словарь не нужен евреям, евреи не собираются учить иврит, они учат русский, в крайнем случае идиш. А такой словарь необходим палестинцам, чтобы они могли изучать язык врага”.

Помню, когда папа работал над словарем, он каждый день ранним утром садился возле приемника с бумагой, карандашом и слушал Израиль, не пропуская ни одной передачи и записывая все новые слова. Поэтому словарь постоянно рос и пополнялся, даже когда он был уже в производстве. Когда он наконец вышел, уже после папиной смерти, мы считали, что получим большие деньги. Но с нас вычли всю сумму за постоянные переверстки, и остатка хватило ровно на сто экземпляров – при том что книга стоила один рубль шестьдесят девять копеек.

– Скажите, а грамматику иврита он в те же годы писал?

– Тогда же, да. Это была толстая книга. Он отнес ее в издательство, получил хорошие отзывы, но потом пришло письмо, где говорилось, что издавать ее не будут, потому что нет спроса. Вот так. Потом уже рукопись папиной грамматики нашел Володя, и она стала учебником иврита для него и для других отказников.

– Насколько большим было влияние деда на внука?

– Думаю, влияние было очень большим, но опосредованным и постепенным. Потому что папа умер в 1961 году, а Володя занялся этими делами уже после его смерти, в 1965-м или 1966-м. Но отношение к языку и мысли об Израиле, который папа все время

слушал и пересказывал нам услышанное, – все это на Володю повлияло. Хотя все же не думаю, что это было решающим в Володином выборе. Решающим стало его собственное желание учить иврит и жить в Израиле.

– Интересовал ли Феликса Львовича Израиль, кроме как источник новой лингвистической информации? Скажем, если бы была возможность уехать, воспользовался бы он ей, по вашим ощущениям?

– В 1924 году гродненский дедушка поехал в Палестину покупать землю для нас. И действительно купил участок где-то под Тель-Авивом. Но на обратном пути он заболел воспалением легких и умер. Потом эту землю продал его младший брат, мы ее не касались. Так что разговоры о переезде тогда велись. Потом все это было, естественно, начисто забыто.

Но папа восхищался тем, что слышал об Израиле, интересовался всем, что там происходило. Он писал заметки про израильскую культурную жизнь в журнал “Иностранная литература” – перевели на иврит Ленина, поставили спектакль по Чехову – но даже такую информацию они давать не хотели и ни одной заметки не напечатали.

Потом была история с пословицами и поговорками. Было решено издать пословицы и поговорки Востока, и папе поручили еврейскую часть. С ним заключили договор, он даже получил пятидесятипроцентный аванс, сдал все вовремя. Но пословицы не напечатали – было сказано, что они не выдерживают сравнения с арабским фольклором.

– Вы всю жизнь до отъезда прожили в Москве?

– Нет, в 1932 году я вышла замуж за ленинградского парня, Мишу Престина, уехала в Ленинград и прожила там до войны. В войну меня мобилизовали для эвакуации детей из Ленинграда. Если родители оставались в городе, детей от года до четырнадцати эвакуировали в обязательном порядке. Я была директором интерната на сто человек. Повезли нас под Псков. Только привезли детей, ночью пришел приказ к пяти утра быть готовыми ехать дальше – немцы подходили...

– А как вы отнеслись к решению сына уехать?

– Ну, Володя был человек взрослый. Я его попросила только об одном: подождать два года, пока мой второй муж, Наум Аккерман, выйдет на пенсию, потому что он работал на очень секретной работе. Кстати, я только здесь узнала, чем именно он занимался, когда прочитала статью в газете “Вести”. Потом мне привезли книгу из Москвы, сейчас о нем уже и там пишут. Оказалось, он был ракетостроителем, работал в группе, которая исправляла ошибки, обнаружившиеся после первых запусков спутников на Луну. Но он молчал, никогда об этом не говорил, я знала, что у него секретная работа, и все. Сейчас я про него написала книжку, она пока не вышла.

Так вот, я Володю просила подождать, он обещал подумать. А потом оказалось, что подпись Наума не обязательна, так как он отчим. И Володя подал на выезд. А я сразу

дала согласие, никаких возражений у меня не было.

Сама я подала на выезд в 1974 году, когда Наум ушел на пенсию. А приехала в 1987-м, на несколько месяцев раньше Володи.

– Какие у вас остались воспоминания от лет отказа?

– Все старались помогать друг другу чем могли. Я, например, организовала клуб родителей, дети которых уехали. Мы собирались на еврейские праздники, и не только, читали письма.

– В Израиле вы сразу вышли на пенсию?

– Я приехала, когда мне шел семьдесят пятый год. Но я решила, что пенсии мне мало – я хочу сходить в театр, в оперу – и еще десять лет работала.

– Вели математику?

– Нет, для этого я недостаточно знала язык. Я учила иврит в Москве, даже давала уроки старикам, но, конечно, не так владела им, чтобы что-то преподавать сабрам. Нет, я ухаживала за старушками, готовила обед, гуляла с ними. Был период, когда я работала в четырех семьях одновременно. И таким образом я выкупила свою квартиру. А на общественных началах я двадцать лет преподавала иврит взрослым репатриантам, сначала в клубе, потом дома. И как-то один ученик встал, посмотрел на меня и сказал: “Первый раз вижу живого человека, выплатившего машканту!” – А ваши ощущения от Израиля? Вы столько лет были в отказе, понятно, что за это время сложился какой-то образ, какая-то мечта. Насколько реальный Израиль похож на ту мечту?

– Когда я только приехала, я была в совершеннейшем восторге. Я учительница математики, к рисованию не имею никакого отношения. Но после каждой экскурсии, каждой поездки у меня было желание запечатлеть, что я видела, и вся квартира была увешана моими картинами и рисунками. Мне нравилось все. Идет экскурсия по пустыне, и посреди пустыни стоит туалет, там туалетная бумага, и никто не пытается ее утащить. Представляете, какое впечатление это производило на человека, приехавшего из Советского Союза двадцать лет назад? Заходишь в магазин, там десятки сортов мыла, и никто не кричит кассирше: “Мыло кончается, прекратите выбивать”. Но впечатления изменились. Когда я смотрю на нынешний кнессет, на нынешнее правительство – мне страшно становится за Израиль. У нас очень плохие суды. А эти бесконечные дела о сексуальном домогательстве – поцеловал министр девушку, не поцеловал! Г-споди, ну поцеловал, и что? Всегда нам казалось, что евреи такой умный народ, – а тут на тебе!

ПО КАПЛЕ - ЭТО НЕ КАПРИ...

На четыре вопроса отвечают: Александр Городницкий, Даниэль Клугер, Тимур Шаов, Владимир Шиленский

Аḥiāšāš: Aḥai āiē I ai āiā

Все-таки раба вытравливают из себя по капле, так уж повелось с библейских времен, но в 1960-х почему-то казалось, что можно по “Ночному дозору” Галича: “А вы – валяйте, по капле / „Выдавливаете раба!“, / По капле и есть по капле –/ Пользительно и хитро, / По капле – это на Капри, / А нам – подставляй ведро!” Тогда большая часть советских граждан наконец распознала черта, увидела, как лихо лукавый скачет вокруг алхимического перегонного шара социализма. Стряхнуть с себя рабство, разорвать бесовский договор стало целью поколения, которое впоследствии назовут “шестидесятниками”. Непростую эту задачу люди со специфическим менталитетом и не менее специфическим образом жизни решали по-разному. Но объединяющим символом эпохи стала авторская песня, под гитарный перебор сформулировавшая нравственный кодекс разрушителей коммунизма – “физиков и лириков”, романтиков и поэтов. В этом новом поощении братства о национальности как-то не задумывались. Это сейчас уже ясно, сколько евреев оказалось среди них. А по-другому и быть не могло: для еврейской интеллигенции этот высокий-низкий жанр оказался возможностью исхода из “советского Египта”. Для кого-то – символического, а для какого-то и вполне реального. Уезжая в Израиль или в Америку, любимые песни увозили с собой, как и порожденный ими способ существования – маленькую Вселенную Галича, Кима, Высоцкого, Визбора, Городницкого... Но вот кончилась эпоха, развалилась страна СССР, на место авторской песни пришел “блатняк”, шансон, который многие сегодня тоже называют “еврейским”, только уже со знаком минус, а поющие поэты, вне зависимости от национальности, по-прежнему интеллигентно уходят в тень, уступая место всепобеждающему шоу-бизнесу.

У АВТОРСКОЙ ПЕСНИ БЫЛО ЧЕТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Александр Городницкий,

поэт, автор песен, профессор-геофизик

– Должна ли быть у авторской песни своя радиальная волна, отмеченная дымком костерка и таежным туманом? Насколько сегодня размыта граница между авторской песней и тем, что принято называть “русским шансоном” или “ново-русской эстрадой”? – То, что сегодня называют авторской песней, размыто соседними жанрами, потому что у авторской песни шестидесятых годов было четкое определение: “поэт с гитарой в руках”. Сейчас поэтов не стало. Им на смену пришли текстовики. То, что называют авторской песней, действительно начинает перетекать то в русский шансон, то в новую русскую эстраду. Авторской песни совершенно не нужна своя волна, “отмеченная дымком костерка”. Авторская песня никакого отношения к КСП и ко всяким туристическим песням не имеет: ее создатели Булат Окуджава, Александр Галич, позднее Владимир Высоцкий, Сергей Никитин никакого отношения к туризму, экспедициям не имели, не говоря уже о Новелле Матвеевой и Михаиле Анчарове. КСП и авторская песня существуют отдельно друг от друга. Авторская песня – это прежде всего тот самый “поэт с гитарой в руках”, а вовсе не песенки у костра. Исключения, конечно же, бывают. Авторская песня определялась другими вещами. Яркой индивидуальностью автора,



которому было что сказать людям и, как правило, протестной составляющей. По этим двум признакам можно считать, что авторская песня сегодня вымирает, если вообще не вымерла: ни первого, ни второго в ней нет. А у Юлия Кима или у Владимира Высоцкого все это было, и еще как было. Каждый из них был личностью. А сейчас что? Самодеятельная эстрада...

– Существует мнение, что чуть ли не все активисты КСП были евреи, а в диссидентском его подразделении так вообще сплошное еврейское засилье. И вообще, настоящий бард всегда чуть-чуть с “прожидью” на донце. Много ли вы знали евреев – активистов КСП? Считаете ли, что настоящий бард должен соответствовать такому вот критерию?

– Насчет активистов КСП – не знаю. Авторская песня сформирована десятком людей, не более, теми самыми “поэтами с гитарой в руках”. КСП – это совершенно другое направление, другой социум. Это самодеятельная песня и люди, интересующиеся ею. Они все очень славные, милые ребята, но это не авторская песня. Активистами КСП были самые разные люди. Игорь Каримов или Олег Чумаченко никакого отношения к еврейству не имели. Что касается настоящего барда, как вы говорите, с “прожидью на донце”, перечислю все тех же: Булат Окуджава, Новелла Матвеева, Юлий Ким (он хоть и кореец, но к евреям никакого отношения не имеет). Юрий Кукин, Александр Дольский, Олег Митяев, по-моему, тоже без еврейских кровей. Так что насчет “сплошного еврейского засилья”, на мой взгляд, полный вздор.

– Когда вы в первый раз познакомились с авторской песней, вы уже ощущали себя евреем как поэт и как человек? Встречались ли вы с проявлениями антисемитизма в мире авторской песни?

– Когда я познакомился с авторской песней, никакой авторской песни в помине не было. Для меня авторская песня началась с “Темной ночи” Марка Бернеса, которую я услышал в 1944 году в кинофильме “Два бойца”. Эта запомнившаяся на годы исполнительская интонация, прозвучавшая задолго до появления Окуджавы и других авторов, стала для меня понятием авторской песни. Я ощутил себя евреем в 1943 году, когда мальчишки впервые называли меня жидом. Было это в эвакуации в Омске. До того момента я вообще не знал, что это такое. Поэтому я тогда не был и стихов не писал. С проявлениями антисемитизма в авторской песне приходилось встречаться. Вот, к примеру, Женя Клячкин как-то рассказывал мне – и Вероника Долина потом подтвердила эту информацию, – что один очень известный автор, находясь вместе в Клячкиным и Долиной за рубежом, в каком-то кафе, воспользовавшись тем, что оказался наедине с немцами, принялся слезно жаловаться, говорить, что в России в авторской песне одни сплошные евреи и поэтому нормальному талантливому человеку никак не пробиться. Я не хотел бы называть фамилию, но это очень известный человек.

– Авторская песня советских времен – явление уникальное, эту уникальность в значительной мере обеспечивало противостояние культуре, официально признанной государством. Сегодня наша авторская песня никому и ничему не противостоит. А может, “вместе с Юрой Визбором кончилась эпоха” и, когда снова “чьи-то лыжи будут греться у печки”, одному Б?гу известно?

– Пожалуй, не следует говорить, что авторская песня заигрывает с официальной культурой. Авторская песня сегодня – это конкретные авторы, имена... Не скажешь ведь, что русская литература XX века целиком ушла в соцреализм. Была и вторая литература – литература русского зарубежья. Мне кажется, это в корне неправильная постановка вопроса. Настоящая авторская песня, та, о которой мы говорим с вами, кончилась именно потому, что сегодня никому и ничему не противостоит. Я глубоко убежден, что кризис ее наступил именно в силу этого обстоятельства. А уж окончательный приговор она себе подписала, пойдя по линии шоу-бизнеса. Эпоха кончилась не с Юрой Визбром – скорее, с Галичем, протестными песнями Юлия Кима, Владимира Высоцкого и других авторов. Конечно, настоящей поэзии не обязательно иметь протестную составляющую, Булат Окуджава или Новелла Матвеева никакие не диссиденты, они – крупные лирические поэты, но наличие в авторской песне искренности интонации и независимости суждения/мышления обязательно. Вот этого сегодня я и не вижу. И это, конечно, очень грустно.



ТАМ, ГДЕ НЕТ ЦЕНЗУРЫ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОНТРАКУЛЬТУРЫ

**Даниэль Клугер,
поэт-бард, композитор, писатель-фантаст**

– Знали ли вы песни на идише или иврите до того, как начали петь? Какие песни еврейской тематики вы слышали первыми и кто был их исполнитель?

– Да, знал. Семья моей бабушки с материнской стороны была, что называется, певческой. И сама бабушка, и ее младшие братья прекрасно пели – а весь их репертуар составляли идишские песни. Так что каждый праздник в детстве у меня был связан именно с песнями на идише. Среди прочих любимыми были “Афн припечек брент а файерл” и “Их хоб дих цу фил либ”. А много лет спустя я услышал последнюю в аранжировке и исполнении великого гитариста Карлоса Сантана. Наверное, он усмотрел в этой, в общем-то, простой и сентиментальной песенке что-то неповторимое.

– Готовясь к этому интервью, я наткнулся на несколько рефератов, в которых говорилось о том, что исторически блатная музыка происходит из клезмерской. Что вы думаете об этом?

– Ну, мне кажется, влияние идиша на блатной жаргон сегодня никем не отрицается. Хотя, как мне кажется, его несколько преувеличивают, да и в разных регионах оно было различным. Что до музыки – трудно сказать. Блатные песенки, написанные в XX веке, наверное, несут какие-то следы клезмерской музыки. Но ведь это влияние могло быть опосредованным – через шансон, через эстрадную музыку, которые несомненно испытали влияние клезмерской музыки. Как, впрочем, и влияние городского романса, и других “низких” музыкальных стилей.

– Василий Розанов, которого заносило то в сторону махрового антисемитизма, то в сторону приубоженного поклонения всему, что сходило, по его разумению, за

отличительные черты еврейства, выводил одним из достоинств избранной нации запрет на употребление ненормативной лексики. Русские, например, бранятся и теряют энергию, а евреи не расходуют ее в брошенных матерных словах. В ваших песнях хватает блатного арго, но ненормативной лексики, по-моему, нет. Как обстоят дела с энергетикой? Может ли авторская песня существовать вообще без мата?

– Я бы не сказал, что чересчур увлекаюсь блатным арго – у меня воровской жаргон присутствует только в трех балладах. Две из них – это переводы воровских же баллад Франсуа Вийона, которые я включил в цикл “Разбойничья ночь”. Еще одна – “Монолог Меира Зайдера”. В ней блатные словечки присутствуют по той причине, что ее герой-рассказчик, убийца Григория Котовского Меир Зайдер по кличке “Майорчик”, принадлежал к воровскому миру. Ненормативную лексику я вообще не использую – ни в прозе, ни в стихах, ни в песнях. Не потому, что испытываю к ней неприязнь, и не потому, что считаю ее применение табуированным, – просто пока что не нуждался в ней. Что до энергетика... С.А. Снегов свое исследование блатного жаргона назвал так: “Язык, который ненавидит”. В этой работе он утверждает (со знанием дела, ему самому довелось провести в лагерях и тюрьмах почти восемнадцать лет), что на самом деле блатной жаргон эмоционально беден, что подавляющая часть слов имеет ярко выраженный унижающе-негативный окрас и так далее. Что касается энергетика песен, о которой вы спрашиваете, я могу сказать следующее. Пишу я в основном баллады, то есть сюжетные музыкально-поэтические вещи. И в них основной эмоциональный заряд заключен не столько в авторском отношении, сколько в самой ситуации и поступках героев. Если мне покажется, что никак иначе я своей задачи не решу, – воспользуюсь табуированной лексикой без малейших колебаний. Ну а относительно утверждения Розанова – сказанное им похоже на все, что он говорил и писал: остроумно, оригинально, восхитительно – и на пару метров мимо. Впрочем, это одна из причин особого очарования его произведений.

– Того, что в словарях принято называть контркультурой, культурой, противостоящей официальной, увы, у нас сегодня нет. Даже в проекте пока еще нет ни Керуака, ни Боулза, ни Барта, ни Галича с Высоцким и Бродским. Появятся ли? Когда? Какую роль будет играть авторская песня? Останется ли она в тесной связи с блатняком? Где будут петь певцы с запрещенными в России программами в Израиле и США? – Тут я могу говорить только как человек, смотрящий извне. Я редко бываю в России, и судить о происходящем могу лишь со слов друзей и по той информации, которую получаю из Сети или ТВ. То, что культура подкармливается государством (точнее, властью), то, что власть не прочь ее купить и подчинить, еще не означает появления официальной культуры. Есть деятели культуры, охотно обслуживающие власть, есть произведения, по сути, повторяющие то, что говорят представители власти с высоких трибун. Но пока нет (надеюсь, и не будет) единого эстетического, этического и идеологического канона. Кроме того, возникновение официальной культуры всегда сопровождается введением цензуры. И только с введением цензуры может появиться контркультура. Там, где нет цензуры (касающейся не только политики или идеологии, но и моральных, языковых, эстетических норм и так далее), не может быть контркультуры. Но и наличие цензуры – это условие необходимое, но не достаточное. Потому что не только цензура должна появиться – должна возникнуть потребность в противоречащей культуре. Противоречащей эстетически, противоречащей этически, противоречащей идеологически. Случится ли это? Надеюсь, что нет. Но все возможно. Какую роль при этом будет играть в новой контркультуре авторская песня? Думаю, что небольшую. Новая контркультура, буде она возникнет, потребует новых же форм, а возможно, и жанров. Какими они будут и какие из ныне существующих жанров окажутся востребованными, сказать не берусь. Что до того, где будут выступать авторы и исполнители, если их программы окажутся запрещенными в России... Благодаря техническому прогрессу

распространение нежелательных произведений искусства властям пресекать все труднее и труднее. Одного Интернета достаточно – ведь уже имеются и сетевая литература, и сетевая музыка. Есть, например, писатели, которые принципиально распространяют свои произведения только в Сети. Есть музыканты и кинематографисты, склонные к тому же. Так что с распространением того, что может вдруг оказаться запрещенным, особых проблем быть не может. Но давайте будем надеяться на то, что все это не понадобится.

ЭТО БЫЛО ЯВЛЕНИЕМ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПЛАНА

Тимур Шаов, бард

– Многие “евреи с гитарой”, эмигрировавшие в Израиль, продолжают петь. Вы частый гость в Америке и в Израиле. Наверняка сталкивались с тель-авивским КСП, иерусалимским. Что представляет собою израильский КСП-шный социум, чем отличается от современного российского, американского или старорежимного советского?

– Я бывал на “Дуговках”, это такой фестиваль в Израиле. Проводился он на берегу озера Кинерет. Кажется, это был первый фестиваль, на который я попал за рубежом. И помнится, первое, что меня тогда поразило, – это чувство исключительной внутренней комфортности, которое я испытал на этом фестивале. Люди туда съезжались семьями. Набралось огромное количество любителей авторской песни. Заносило на фестиваль даже тех, кто просто приехал отдохнуть, но и эти люди влились в фестивальное семейство на равных, и уже вскоре их было не отличить от остальных. До сих пор перед глазами, как солдат Армии обороны Израиля садится поближе к костру, откладывает в сторонку М?16, берется за гитару и поет Визбора. Я ловил себя на том, что уже не очень и различал, где именно находился – в Израиле или на каком-нибудь ставропольском фестивале, настолько все вокруг были укоренены в русскую культуру, настолько безупречен был их русский. А как удивил меня молодой бард Эли Бар Ялом! Родители увезли его из России маленьким, его первым языком был иврит, тем не менее он чисто говорит по-русски, сочиняет стихи и поет их под гитару. Понимаешь, конечно, что эту культуру он впитал в семье, понимаешь, что много слушал Галича, Высоцкого, Городницкого, и все-таки не верится, что он в России никогда не жил. К авторской песне в Израиле отношение исключительно трепетное, тому свидетельство немалое количество замечательных бардов, с некоторыми из них я дружу. Ну, скажем, с Мишей Волковым, с замечательным поэтом Михаилом Сипером... Мои израильские друзья возят меня на фестивали, знакомят с бардовской жизнью в Израиле. Один из наиболее популярных сейчас фестивалей – “Сахновка”. Проходит он в Ган-Шлоша в национальном парке. К сожалению, мой гастрольный график таков, что не совпадает с ним. Я вот ни разу на “Сахновке” не побывал. Хочется поехать. Уверен, что и на этом фестивале атмосфера доброжелательная. Быть может, даже более располагающая, чем наша. Израильские КСП-шники ездят на фестивали в Россию. Свою любовь к авторской песне они переносят на землю Израиля. Где наши люди – там и КСП. Поют старые, известные песни, но много и новых, с израильскими реалиями. А вот стилистика не меняется, остается нашей родной, и отношение ко всему, что связано с авторской песней, – российское. Получается такой очень интересный коктейль. А какие КСП в Америке!.. КСП Восточного побережья, КСП Западного побережья. От них не отстают и центр страны. Я часто езжу с гастрольями по всей Америке и знаю многих бардов, знаю организаторов фестивалей. Несколько раз я был на слете Западного побережья. И если говорить о нем, нельзя не вспомнить замечательного Волика Черняка, подвижника бардовской песни в Америке. Он организует фестивали, которые пользуются чрезвычайным успехом. На них очень трудно попасть. Люди записываются заранее. Волик мог бы зарабатывать громадные деньги, но он делает

все, чтобы сохранился подлинно фестивальный дух, поэтому не хочет превращать его в успешное коммерческое предприятие. Два раза в год на свои фестивали обязательно приглашает из Москвы каких-то известных бардов. Перед такими людьми хочется снять шляпу... Атмосфера там тоже замечательная, и они тоже, так же как и в Израиле, укоренены в советское "бардовство". И конечно же, на этих фестивалях очень много евреев, я бы даже сказал, евреи преобладают... Но для меня национальность "фестивальщиков" не имеет принципиального значения, потому что в первую очередь это замечательные, яркие люди, общение с которыми доставляет радость.

– Если авторская песня явление наднациональное, почему многие песни стали народными (некоторые даже сходят за "анонимные") и как могло так получиться, что КСП объединил молодых еврейских мальчиков и девочек шестидесятых–семидесятых годов, бежавших на лесные поляны к гитарам и кострам, чтобы почувствовать себя и свободными людьми, и евреями?

– Я не еврей, поэтому не берусь судить, да и родился в другую пору. А вот что касается песен – они потому и становятся народными, что наднациональные. Это – не народная украинская бардовская песня, не народная еврейская или грузинская... Она просто народная. Вообще бардовская песня объединяет всех тех, кто оказался за рубежом. Понятия "еврей" и "авторская песня", конечно же, сочетаются, но не больше, чем, скажем, "украинцы и авторская песня" или "черкесы и авторская песня". К костру приходили не для того, чтобы ощутить свое еврейство, и не для того, что избавиться от него. Скорее именно для того, чтобы почувствовать себя свободными людьми, быть может, избежать "советского братства", походившего на "оруэлловское равенство". Освободиться от диктата государства: что следует слушать, что читать, когда и с кем ложиться спать... А КСП был некоей такой отдушиной, не столько политического свойства, сколько эстетического. Быть может, в силу этого обстоятельства КСП не имел национальности. На костер собирались и еврей Городницкий, и кореец Ким, и грузин Окуджава... Это было явление эстетического плана... Люди собирались послушать песни, нормальную живую музыку, пообщаться, а не для того, чтобы манифестировать. Но возможно, я не прав, я действительно человек другой эпохи.

– Тимур, в своих интервью вы не раз говорили, что ваш любимый бард – Александр Галич. Вы часто его слушаете. Его "еврейский цикл" – "Реквием по неубитым", "Кадиш", "Баллада о Вечном огне" и другие – тоже входит в число почитаемых вами?

– Обязательно. "Еврейский цикл" трогает меня, не может не трогать, впрочем, как любого нормального человека. Я не знаю, кто лучше, проникновенней мог бы сказать о тех страданиях, которые выпали на долю еврейского народа. Вообще, Галич, по-моему, один из самых трагических поэтов нашей эпохи. Высоцкий тоже писал замечательно, но он писал по-другому.

– Авторская песня явление не столько музыкальное, сколько литературное или литературное-музыкальное, то есть без поэзии и прозы (как источника и вдохновителя) она существовать не может, это одно из ее коренных отличий от блатного шансона, не претендующего на высоколобость. Насколько погружены в современный литературный процесс сегодняшние исполнители авторской песни? Готовы ли вы исполнять песни не только на свои стихи, но и на стихи современных поэтов?



— Действительно, и для меня на первом месте литературная основа. Но, думаю, нельзя забывать, что это все-таки песня, стихи подаются тут в музыкальной оправе. Бардовскую песню также отличает еще и авторская интонация. Вы можете быть профессиональным певцом с “воспитанным” в лучших учебных заведениях голосом, но если, к несчастью, у вас нет той самой, индивидуальной, неповторимой

интонации, какая была, скажем, у Визбора, Высоцкого, Окуджавы, вы никогда не станете исполнителем авторской песни, потому что песни будут получаться у вас какие угодно, только не авторские. Что сейчас читают современные барды, мне трудно сказать. Выбор, по-видимому, широк, потому что песни очень разные. Очень много графомании, положенной на музыку, но я приветствую и ее. Во-первых, люди делают первые шаги, у них идет накопительный процесс, во-вторых, это все равно лучше, чем шататься по подворотням и водку хлебать. Пускай беспомощные песни у парнишки получаются, но это ерунда в сравнении с тем, что из него со временем может получиться не беспомощный человек. Есть в бардовской песне не просто те, как вы говорите, кто прислушивается к литературному процессу, есть и те, кто в нем участвует. Возьмем хотя бы Городницкого, Егорова, Данского, Кима, Щербакова... Никто не может сказать, что они вне современного литературного процесса. И я сам внимательно слежу за ним. Вот на днях с удовольствием сходил на книжную ярмарку “Нон-фикшн”, посмотрел, что появилось нового. Что касается песен на чужие стихи. Я их не пою. Чтобы исполнять песни, писать музыку на стихи других поэтов, надо иметь большую смелость... Надо уметь это делать, как, скажем, Александр Мирзоян. А как Виктор Попов исполняет “Рождественский романс”, какой у него “губановский” цикл!.. Музыка должна быть адекватной тексту, тогда слова еще сильнее кажутся. При этом надо понимать и не обижаться, что практически всем поэтам не нравится, как “поют их стихи”. Я не являюсь композитором, поэтому на себя такой ответственности не возьму. Хотя... У меня есть друг в Хайфе, Миша Пономарев – я посвятил ему песню “Письмо израильскому другу”, – так он пишет отличные стихи, а публикует только на израильском бардовском сайте “Ристалище”, что, как вы понимаете, аудиторию Мишиных поклонников не сильно расширяет. Мне кажется, они достойны большего, хорошо было бы написать несколько песен на эти стихи. Возможно, удалось бы расширить круг Мишиных почитателей.

НЕВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НИЧУТЬ НЕ УМЕНЬШАЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ

Владимир Шиленский, поющий поэт

– Вам не кажется, что авторская песня стареет скорее, нежели стихи или проза? Скорость старения авторской песни, по-моему, равна скорости старения фотографии. Она уходит вместе с эпохой. Вот ушла советская эпоха, а вместе с ней один из способов выживания – авторская песня, и лучшие ее представители: Галич, Высоцкий, Визбор, Окуджава. То ли ложь изменилась, стала более изощренной? То ли появились иные способы выживания?

– Да, наверное, так и есть: меняется время, а вместе с ним и песни. Это эволюция. Что стареет быстрее – фотография, песня, проза или стихи, судить не берусь. Уверен, что хорошие песни остаются и по-прежнему помогают выживать, ну или погибать... Это уж как повезет. Что же касается перечисленных вами “лучших представителей авторской песни”, ушедших вместе с советской эпохой, то все мы, и особенно сочиняющие, хорошо знаем их творчество, стоим на плечах этих гигантов... Короче, и их скорбный труд не пропал! Другое дело, что сегодня общество раздроблено и

дезориентировано, что песню распинаяют на прокрустовом ложе форматов, что к песне относятся как к продукту, товару, что песня, как форма бытования языка, как явление культуры, все реже “грешит” и языком, и культурой... Но это уже другая тема. И все же, пока жив народ, жив язык, жива и песня. Вот только расслышат ли современники в царящем сегодня изошренном многоголосии настоящие Слова?!

– Можно сказать, что бардовская песня заняла в советское время ту нишу, которую ранее занимала клезмерская музыка?

– Сказать можно, но, на мой взгляд, это все-таки несколько притянута... Хотя, если продолжать ряд: трубадуры, труверы, миннезингеры, барды, сказители, кайчи и тому подобное, то и клезмеры уместны. Может быть, я не вполне представляю себе клезмерскую “нишу”? Впрочем, в советское время могло быть что угодно... Но, может быть, Гершвин, Эдди Рознер, Ежи Петербургский, Утесов все же ближе к клезмерской традиции? Ведь авторская песня была музыкально очень бедна. Но это была действительно народная песня, и с этой точки зрения она была клезмерской. – Существует ли на самом деле такое понятие, как “еврейский шансон”, что вообще это такое, какие у него отличительные свойства и кто его яркие представители? Правда ли, что из-за “еврейского шансона”, как говорят некоторые, снизился уровень российской авторской песни?

– Да, пожалуй, понятие “еврейский шансон” – он же “Одесса-мама”, “тыц-тыц” и “умца-умца” – не лишено смысла. Вот это уже гораздо ближе к клезмерству. Ярчайший представитель – Александр Яковлевич Розенбаум с ансамблем братьев Жемчужных. Что до снижения уровня... Как зорко заметил Брехт, “безвкусица масс глубже коренится в действительности, чем вкус интеллектуалов”. Большинство наших сограждан знакомство с поэзией ограничило школьной программой. Поэтому да, песня отделяет культуру людей от культуры “далековатых”! Да, невысокий уровень ничуть не уменьшает популярности, скорее наоборот... Но как, буквально ниже плинтуса, уронили песенку русскую современные шансонье, особенно “работающие” в жанре блатного, а точнее, “фраерского романа”... “Еврейскому шансону” до таких “зияющих высот” далеко! Он вообще более декоративен, стилизован, культурен, не говоря уже о музыкальной составляющей... Гораздо хуже “опопсение” авторской песни. Да, чуть не забыл о фигуре Псоя Галактионовича Короленко – яркого шоумена и противоречивого представителя “еврейского шансона”.

– В дипломной работе исследователя Игоря Белого с длинным названием “Еврейское национальное самосознание в рамках общественного движения КСП и жанра авторской песни в СССР-СНГ-России” я наткнулся на интересный факт. Среди интервьюируемых КСП-шников на вопрос, интересна ли им тема “еврейство и КСП”, евреи ответили отрицательно, а неевреи сочли эту тему крайне интересной. С чем вы связываете подобное расхождение во мнениях?

– Думаю, что авторы-евреи, отвечая г?ну Белому, темнили. А авторы-русские заинтересовались темой “еврейство и КСП” из антисемитских соображений. Или из уважения перед заслугами авторов-евреев. Как говорится, одно из трех!

Что ж, возможно, Владимир Шиленский и прав, правы и остальные мои собеседники, в таком случае вопрос об участии евреев в авторской песне и КСП остается открытым. Остается открытым и вопрос о дальнейшем существовании этих двух направлений. Неопровержимо, пожалуй, одно: евреи останутся в авторской песне и КСП до конца. Потому что оставаться до конца, сидя на чемоданах с билетом в руках, когда “на часах замирает маятник”, оставаться до конца, уже распаковывая чемоданы на другом конце света, – свойство еврейской души.



"ХАНУКА В КРЕМЛЕ" - ЭТО БРЕНД

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֲדִיר

Праздник Хануки – контекст, в котором проходит церемония вручения премий “Человек года” по версии Федерации еврейских общин России. Правда, в этом году вручение премий состоялось не во время Хануки, а чуть раньше. Принципиальная разница по сравнению с прошлогодним мероприятием заключалась в том, что режиссер праздника Алексей Агранович решил сделать акцент на самой церемонии, а не на

шоу.

Каждую номинацию – “Мужество”, “Театр”, “Человек-легенда” и другие – представляли блистательно выполненные, грустные и очень еврейские анимации. В отличие от прошлогоднего действа, был ведущий (в прошлом году все сопровождалось “закадровым голосом”). В роли ведущего выступил Владимир Познер. Устроители вечера “Ханука в Кремле” старались, чтобы каждый вручающий премию мог представить какой-то свой номер. Потому появились актеры Александр Филиппенко, читавший рассказ Юрия Олеши (над залом будто растянулось одесское небо, в котором парил аэроплан авиатора Уточкина), Михаил Козаков – Иосифа Бродского, тележурналист Николай Сванидзе, музыканты Аркадий Шилклопер и Игорь Бутман. Была приглашена одна из ведущих klezmerских групп “Klezmer Madness” замечательного кларнетиста Дэвида Кракауэра. Первый блок номинаций был объединен названием “Общество”. В номинации “Общинная жизнь” статуэтку “Скрипач на крыше” работы скульптора Франка Мейслера – за организацию гуманитарных действий во время войны на Северном Кавказе получил председатель еврейской общины Владикавказа Марк Петрушанский. Награду ему вручала посол Государства Израиль в России Анна Азари, напомнившая всему залу о недавней эйлатской катастрофе, в которой погибли российские граждане. Она попросила почтить их память минутой молчания. Джазмен Игорь Бутман вручил статуэтку в номинации “Журналистика” Леониду Млечину, ведущему телепрограммы “Особая папка” телекомпании “ТВ Центр” за цикл передач об Израиле, а Михаил Козаков наградил Армена Джигарханяна за спектакль “Нас ждут далеко-далеко”, поставленный по пьесе Башевиса Зингера. Режиссер Сергей Урсуляк получил награду из рук актера Александра Филиппенко в номинации “Телевидение” за сериал “Ликвидация”. Сам Урсуляк по этому поводу заметил: через несколько месяцев после выхода сериала ему было сказано, что вот, наконец-то на телевидении появился настоящий русский мужик. Сидевшим в зале было невдомек, что всего этого феерического действа могло и не быть: кризис вносит свои коррективы. Немалую роль в том, что вручение премии “Человек года” состоялось, и состоялось именно так, сыграл режиссер Алексей Агранович, который уже второй год подряд занимается постановкой праздника “Ханука в Кремле”.

– А как так получилось, что именно ты стал режиссером проекта “Ханука в Кремле”?

– Полтора года назад мы познакомились с Александром Бородой и Бороухом Гориним. Им кто-то меня порекомендовал. А потом Надя Соловьева (компания “СAB интертеймент”), являющаяся сопродюсером и соорганизатором церемонии, пришла ко мне. Так что все делали по существу три организации: Федерация еврейских общин, компания “СAB интертеймент” (они занимались в основном технической стороной, приглашением артистов из-за рубежа) и моя компания, которая называется “IDI Group” – она занималась креативной разработкой.

– То есть проект “Ханука в Кремле” появился без твоего участия?

– С моей точки зрения, утилитарной, режиссерской, – это очень трудная площадка для подобного мероприятия. Я был и остаюсь ее... противником. Хотя, конечно, понимаю, что в этом бренде заложен глубокий смысл. Кремлевский дворец тяжело сделать домашним, интимным. Он тянет за собой необходимость делать шоу. Что, с одной стороны, интересно, а с другой – трудно делать шоу на таких площадках, имея полдня для репетиций. В прошлом году для этих целей мы арендовали на три дня павильон “Мосфильма”, мелом вычерчивали сцену. В этом, “кризисном”, году таких финансовых возможностей не было. В октябре мы встретились с Александром Моисеевичем Бородой, в ходе беседы мне показалось, что Федерация уже подумывает вовсе не проводить мероприятие в этом году: спонсоров-то найти не легко. И помню, я сказал: Хануку вы же не отмените, она все равно пройдет, поэтому нам нужно будет просто понять, какие у нас возможности, и действовать исходя из них. Бюджет был сокращен почти в три раза, но мы осилили все за счет того, что отказались от чего-то, что-то переделали.

– Были ли принципиальные изменения по сравнению с прошлым годом с режиссерской точки зрения?

– Когда я в первый раз вел переговоры о своем участии, я сказал: “Если мы решили договориться, то давайте откажемся от участия хора Турецкого и других „традиционных,, представителей еврейской культуры в России. Если вы готовы пойти на это, я с удовольствием возьмусь за работу”. Так появились театр “Хэнд Мэйд” из Петербурга, с которым мы к тому времени довольно много работали, замечательная художница Илана Яхав из Израиля. Появилось несколько музыкальных коллективов: мы попросили Борю Сехона, отца Маши Сехон, собрать пять-шесть самых разных артистов. Это была группа, в прошлом году державшая ритм всей церемонии. Было важно, что это разные этнические лица, которые при всем этом являются в той или иной мере носителями еврейской культуры. Были Стивен Бернстайн, Хен Цимбалиста. Мы пригласили также группу “Gogol Bordello”, что произвело довольно странное впечатление на собравшихся. Группа “Gogol Bordello” летела из Лондона – они вечером вылетели, утром должны были вернуться, мы их выдернули из тура, – по дороге самолет посадили в Польше, по причине грозового фронта, и это не могло не сказаться на состоянии коллектива. Они приехали все уже очень веселые, минут за 15 до выхода на сцену. И вот с шумом, улюлюканьем вывалились, когда осталась примерно треть зала.

– “Ханука в Кремле” стала заметным культурным событием?

– Я считаю, что нет. Все-таки пока это событие для узкого круга людей. “Ханука в Кремле” во многом держится на частной инициативе. Хотя понятно, что, скажем, одно выступление Дэвида Кракауэра вполне тянет на значительное культурное событие...




Площадок в Москве предостаточно, можно было бы отмечать Хануку и вручать премии “Человек года” в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко или в “Гараже” Мельникова (Российский еврейский музей), можно было бы подыскать “теплые”, “домашние” площадки еще где-то. Но теперь вот получается, уже нельзя, шаг сделан, и сделан не без помощи Алексея Аграновича: “Ханука в Кремле”, похоже, становится брендом, и было бы совершенно нелепо отказываться от него, как-то не по-еврейски, даже если усугубится кризис и ослабнет частная инициатива. Да и круг поклонников у “Хануки в Кремле” не такой уж узкий для двухлетнего стажа – зал был практически полон. Люди ждут следующего праздника, и не где-нибудь, а в Кремле.

КУЛИНАРИЯ НАШЕ ВСЕ

Aëen Dair'iîdo

В заголовке содержится преувеличение, однако напомнить и даже рассказать она, национальная кулинария, действительно может об очень многом.



Зимой, пасмурным московским деньком, когда низкое небо уж какую неделю затянуто дымкой, когда о существовании солнца догадываешься только по чередованию работы и сна, самое время напомнить согражданам о том, что бывает и другая жизнь. Поэтому устроенное проектом “Эшколь” в клубе “Улица ОГИ” на Петровке литературно-кулинарное действо “Как это ели в Одессе” пришлось вовремя, прямо-таки легло в масть. Название перформанса, во-первых, отсылает к известному рассказу Исаака Бабеля, а во-вторых, подсказывает, что речь пойдет о знаменитой одесской кухне с ее южным и летним фруктово-овощным, рыбным и иным изобилием.

“За литературу” на этом шоу рассказывала писатель Мария Галина, не понаслышке знакомая с одесской кухней. Она читала собравшимся выдержки из прозы Бабеля, описавшего одесские застолья (помните: “Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи...”), совершала экскурсии в историю Одессы, ее собственное ироническо-ностальгическое эссе о приготовлении баклажанной икры вызвало живой отклик зала. Кулинарную часть обеспечила шеф-повар этого мероприятия Татьяна Грекова, имеющая огромный опыт устройства праздничных банкетов и на практике владеющая массой “классических” еврейских рецептов, полученных от бабушки. На глазах у зала, делясь секретами, она приготовила и украсила несколько блюд, сопровождая процесс предложениями своей мудрой бабушки (“Если ты устраиваешь праздник, уже от двери должен идти запах еды, чтобы гость, приближаясь, его чувствовал”), а затем сервировала целый праздничный стол закусками, салатами, принесенными загодя тремя вариантами gefilte-fish и штруделем на десерт. Непрерывно, чередуя теорию с практикой, духовную пищу с пищей из духовки, М. Галина и Т. Грекова занимали внимание зрителей, которые чутко внимали, жадно следили и сглатывали слюнки. Приготовлено было столько, что попробовать и оценить удалось каждому.

Один из парадоксов еврейской кухни – блюда для бедняков со временем преодолели имущественный ценз и стали блюдами для всех. По своему происхождению эта кухня вполне демократична, в отличие, допустим, от классической французской, создававшейся для аристократов. Добавление в рыбный и мясной фарш белого хлеба, добавление фруктов в жаркое или в кугель из лапши делалось для обогащения вкуса и увеличения объема, чтобы из недорогих продуктов придумать привлекательное блюдо и накормить большую семью. Для этого хозяйке нужно было проявлять изобретательность, а голь, как известно, на выдумки хитра. Сегодня, во времена фастфуда, умение изготовить фаршированную рыбу или эсек-флейш (кисло-сладкое) встречается не часто, считается изыском, а когда-то было нормой. В те времена, когда каждая кухарка еще не знала, что должна уметь управлять государством, она отлично умела готовить, причем у каждой были наработанные фирменные секреты, маркирующие блюдо собственного изготовления. И тем ценней для нас повара, сохранившие традицию, и еще ценней, когда она не почерпнута ими из книг, а получена от близких, из первых рук.

Колыбельная песня и национальная кухня – два фактора, первыми формирующие самосознание человека. Связь литературы с кулинарией и здесь налицо. Любовь к национальной кухне закладывается рано, на внесознательном уровне, искоренить ее, подвергнуть ассимиляции практически невозможно. Человек может сменить имя, одежду, убеждения, вероисповедание, объявить себя атеистом, но как, расскажите, заставить его жевать и глотать то, что он не любит? У себя дома он будет готовить то, что хочет. Идеологически окормлять массы уже научились, но насильно кормить физически сразу многих пока не умеют. В эпоху “развитого социализма” еврейская кухня, на мой взгляд, была последним бастионом, за стенами которого советский еврей, не знавший языка, культуры и истории своего народа, отошедший от религии, чувствовал себя евреем. Причем человек не осознавал, что пребывает в своего рода кулинарной оппозиции. Но его вкусовые предпочтения были такими же, как у его предков, сохранялись и звучали “аф идиш” названия блюд, а роль хранительницы традиций брала на себя национальная кухня.

Не случайно первыми книгами с еврейской тематикой, появившимися в перестройку, когда только-только разрешили негосударственные издательства, были пособия по еврейской кулинарии. Хорошо помню эти брошюры в мягких обложках на недорогой бумаге, изданные в конце восьмидесятых – начале девяностых советскими еще тиражами в 100 или в 50 тыс. экземпляров. Насколько они по своей полиграфии отличаются от нынешних роскошных кулинарных фолиантов с цветными фото на лощеной бумаге и тиражом не более 2–3 тыс. Значит, был спрос, никто его специально не организовывал, и означал он стихийно возникшее желание в большей степени почувствовать себя евреем, ощутить преемственность, на том этапе – чисто физиологически, через еду, которую готовила бабушка.

Среди пришедших в клуб “Улица ОГИ” на шоу “Как это ели в Одессе” были любители и профессионалы, неприхотливые едоки и гурманы, теоретики и практики, люди разных лет – от тинейджеров до пенсионеров, ведь кулинарии все возрасты покорны, она всевластна, как любовь.

Рассказы о Бааль-Шем-Тове

אבאאיי שוואַם

Шмуэль-Йосеф Агнон – крупнейший из ивритских писателей Нового времени, лауреат Нобелевской премии (1966), автор нескольких романов и многочисленных рассказов. Агнон, пожалуй, единственный общепризнанный классик современной ивритской литературы. Его произведения переведены на множество языков, включая русский. Большинство произведений Агнона – романов, повестей, сборников новелл – хорошо известны читателям, иначе обстоит дело со сборником “Рассказы о Бааль-Шем-Тове”.

Эта книга занимает особое место в наследии писателя. Судьба ее необычна. В 1921 году Агнон, живший в то время в Германии, вместе с Мартином Бубером начал составлять многотомную серию сборников хасидских рассказов. Но первый, уже готовый к печати том из планируемой серии сгорел вместе с домом писателя в Гомбурге. Агнон увидел в этом несчастье знак свыше, оставил работу над проектом (хотя Бубер убеждал его восстановить книгу) и вернулся в Землю Израиля.

В Иерусалиме Агнон продолжал переводить рассказы из идишских хасидских сборников, выбирал рассказы из сборников на иврите, записывал рассказы иерусалимских хасидов, а также восстанавливал свои старые записи. Этот труд продолжался значительную часть его жизни, но заново подготовить книгу к печати писатель так и не собрался. Через много лет после его смерти дочь Агнона Эмуна Ярон подготовила рукопись отца к печати, сохранив намеченную им композицию. Первое издание “Рассказов о Бааль-Шем-Тове” увидело свет в 1997 году, второе, расширенное, – в 2003-м.

Книга представляет собой сборник коротких новелл (от нескольких предложений до двух страниц) о Бааль-Шем-Тове и его учениках, написанных специфическим архаизированным языком. Большинство новелл взяты из ивритских и идишских источников, по большей части из книг, изданных в Российской империи в XIX – начале XX века. Русский перевод “Рассказов о Бааль-Шем-Тове” вскоре увидит свет в издательстве “Книжники-Текст”, в серии “Проза еврейской жизни”.

Родословие Бешта,

его деяния и обычаи

Его отец и мать

Рассказывается в книге Шивхей а-Бешт, что рабби Элиэзер, отец Бешта, жил когда-то вместе с женой своей в стране Валахии, рядом с границей. Он и жена его были старые. Один раз напали тати на город и увели рабби Элиэзера в полон. А жена его бежала в другой город. И стала там повивальной бабкой. И повели пленители рабби Элиэзера в страну дальнюю, в которой евреев не было. И продали его там. И стал он верно служить своему господину. Понравился он господину, и тот назначил его управляющим в доме своем. Тогда испросил он у господина права не работать и отдыхать в день субботний. И дозволил ему господин испрошенное. Случилось, что прошло много дней, и задумал он бежать и спасти свою душу. Но сказано было ему во сне: “Не забегай вперед, пока что должен ты жить в стране сей”.

И настал день, когда у господина его было дело к царскому советнику. И отдал господин рабби Элиэзера советнику в подарок. И весьма хвалил и превозносил его. И когда пришел рабби Элиэзер к советнику, понравился тому, и тот дал ему для жилья особую комнату, и никакой службы не поручал ему, только когда возвращался советник из царского дома, рабби Элиэзер выходил ему навстречу, чтобы обмыть ему ноги, ибо таков обычай с большими вельможами. И все то время сидел рабби Элиэзер в своей комнате, занимался Торой и предавался молитве.

Однажды выпало царю вести большую войну. И послал царь за советником своим, дабы обсудить с ним военные хитрости, и положение, и передовой отряд врага. И не знали, что делать, ибо пришлось царю весьма тяжело. И преисполнился царь гнева на советника, что оказался не способен помочь ему в трудную годину. И вышел советник, и вернулся в дом свой в печали и смятении. Когда пришел домой, встретил его рабби Элиэзер, чтобы обмыть ему ноги, но тот не дал ему. И возлег на ложе свое, гневаясь. И сказал ему рабби: “Господин, отчего ты гневаешься? Поведай мне”. А советник отругал его. Но рабби Элиэзер был слуга верный господину своему и желал ему добра, а посему готов был подвергнуть себя опасности, и стал приходить к нему снова и снова, пока советник не рассказал ему обо всем. И сказал рабби Элиэзер господину своему: “Не у Г-спода ли все ответы, ибо Г-сподь Воинств Он. Я буду поститься и испрошу тайну эту у Г-спода, да будет благословен, ибо Г-сподь открывает любую тайну”. И стал рабби Элиэзер поститься и испросил ответа во сне. И явились ему во сне все способы ведения войны, во всех подробностях своих, и хорошо были разъяснены. Наутро следующего дня предстал он перед господином и рассказал тому все, что было ему указано. И понравилось это советнику. И пошел советник к царю в веселии и благости. И сказал: “Царь мой, вот совет, что присоветую тебе”. И рассказал царю обо всем, во всех подробностях.

Выслушал царь слова советника и сказал царь: “Совет сей – совет весьма чудесный, не от человеческого разума он, но от Б-жьего человека, коему явлен был ангелами, или же от нечистого духа он? Тебя я знаю, ты не Б-жий человек, а ежели так, ты колдун”. И признался ему советник, поведав обо всем.

Однажды вышел царь со своими войсками на кораблях воевать одну крепость. И случилось, что, придя на место, счел царь задачу незначительной. И сказал царь: “Вот, день клонится к закату, крепость мала. Заночуем здесь, немного в отдалении, а поутру возьмем крепость, да не станем всех наших воинов обременять этим, но малыми силами захватим крепость”.

А рабби Элиэзер был матросом на одном из военных кораблей. И было ему явлено во сне, чтобы пошел к царю и сказал тому: “Не преуменьшай трудность сей войны, дабы не погибнуть тебе и всему войску твоему. Ибо нельзя подойти к городу на кораблях: железные сваи установлены в море на всех подходах, и корабли затонут, не дойдя до города”. И открылся ему во сне проход, по которому можно идти, и указаны были ясные вехи, чтобы не сбиться с дороги.

Царь же встал с утра со всем войском, и стали будить матросов-гребцов. А рабби Элиэзер не пожелал грести. И сказал: “Тайное слово у меня к царю”. Побрили его, сменили одежды, и предстал перед царем. И поведал царю обо всем, что явлено было ему с Небес. И сказал царю: “Буде царь не верит в это, да пошлет он малый корабль с осужденными на смерть, и увидим, что будет”. И сделал царь так. И когда корабль подошел к сваям, затонул, и погибли все люди, что были на нем. И сказал царь: “Нужен совет, что делать”. И сказал ему рабби Элиэзер: “Есть надежный путь. Вот [здесь] проход к городу, по которому горожане выходят и возвращаются обратно”. И указал царю рабби

Элиэзер все вехи, явленные ему во сне. И сделал царь так, и взял крепость. И возвысил царь рабби Элиэзера, и назначил его начальником над всем войском, ибо понял, что Г-сподь с ним, и во всем, что он делает, Г-сподь споспешествует ему. И повсюду, куда бы царь ни посылал его на войну, победа была за ним. В те дни спрашивал он себя, каков будет его конец, быть может, сейчас время бежать. И отозвались ему Небеса: “Ты все еще должен быть в стране сей”.

Настал день – и умер царский советник. И поставил царь рабби Элиэзера вместо советника, который умер, ибо по нраву пришелся рабби Элиэзер царю. И дал ему царь дочь советника в жены. Но рабби Элиэзер не прикасался к ней и шел на всяческие уловки, чтобы не оставаться с ней в доме, а если случалось ему сидеть дома, то не прикасался к ней.

А в той стране ни один еврей не имел права проживать. А если находили еврея, один суд был для него – смертная казнь. А рабби Элиэзер жил в той стране многие годы.

Однажды сказала ему жена: “Скажи мне, может, какой изъян ты нашел во мне, что не прикасаешься ко мне и не делаешь со мной, как издревле установлено в мире?” Сказал ей: “Поклянись мне, что не раскроешь тайны, и скажу тебе правду”. И поклялась она. И сказал ей: “Еврей я”. Тотчас послала его в страну его и город его, дав много серебра и злата. По дороге все, что было у него, отняли разбойники.

И было, по дороге явился ему пророк Элияу, доброй памяти, и сказал ему: “Благо хранил ты верность Г-споду и ходил путями Его, даст Г-сподь тебе сына, который станет светочем для всего Израиля, и в нем исполнится реченное (Йешаяу, 49:3): „Израэль, которым украсишь,,”.

И пришел рабби Элиэзер к себе домой, и нашел там жену свою. И родила ему жена сына – это и был рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов. А рабби Элиэзер и жена его стары были – под сто лет. И скажет Бешт, что не смог бы выжить, [умри они] до того, как он перестал сосать молоко.

И вырос ребенок, и был отлучен от груди. И пришло время отцу его умирать. И взял отец его на руки и сказал: “Вот, вижу я, что ты зажжешь по мне свечу, а я не удостоился вырастить тебя. Однако помни, сын мой, во все дни жизни твоей, что Г-сподь с тобой, а посеми не бойся ничего”.

Испытание

Рабби Элиэзер, да будет благословенна его память, отец Бешта, да будет благословенна его память, жил в деревне и привечал всякого гостя. Он ставил людей сторожить на околице, чтобы, если увидят путника, посылали того к нему, говоря, что у рабби Элиэзера дома тому будет хорошо, дабы бедняк не тревожился и ведал, куда пойти там, где он никого не знает. И когда приходил гость, рабби Элиэзер тотчас давал ему приличное вспомоществование, чтобы тот поел и искренне возрадовался, ибо чего желает бедняк, как не несколько грошей, в которых пропитание дома его.

Один раз восхваляли на Небесах добросердечие, обычное для рабби Элиэзера. Решили испытать его. Сказали: “Кто пойдет испытать его?” Сказал Самаэль: “Я пойду”. Сказал пророк Элияу, доброй памяти: “Нехорошо, что ты пойдешь, [я и] только я пойду”. Пошел Элияу, доброй памяти, в субботу после полудня и пришел к нему в обличье бедняка с посохом и заплечной сумой, и сказал ему: “Доброй субботы”. И по чести



следовало бы выгнать его как осквернителя субботы. Однако рабби Элизер был долготерпелив и не стал его позорить. Мало того, тотчас достойно накрыл для него стол для третьей трапезы, а на исходе субботы почтил его и трапезой проводов царицы-субботы. Назавтра снабдил его приличной наградой и ни словом не напомнил ему о нарушении субботы, чтобы не вогнать его в краску. Увидев все это, Элияу, доброй памяти, тотчас открылся ему и сказал: “Я Элияу, я пришел испытать тебя. И как ты выдержал испытание, удостоишься сына, который станет светочем Израиля”. И удостоился, и произошел от него Бешт.

(Маасийот у-маамарим йекарим, Рахамей ав)

Молча

Ребе Моше-Хаим-Эфраим из Судилкова, внук Бешта, да будет благословенна его память, писал в своей книге “Дегель махане Эфраим”: “Я слышал из его уст, что его отец брал его на руки молча, как Моше, учитель наш, мир с ним. А если бы брал его, разговаривая с ним, то наполнил бы своим знанием Торы все пространство вселенной, и уничтожил бы все скорлупы-клипот, и привел бы Мессию”.

(Дегель махане Эфраим, в Ликутим)

После смерти отца

И было после смерти его отца, и подрос мальчик. А горожане, ибо весьма дорога была им память об отце его, решили отплатить тому добром и отдали ребенка меламеру, чтобы тот учился у него. И весьма преуспел он в учении. И сидел и учился несколько дней, а потом убежал из школы. И стали искать его, и нашли в лесу, там он сидел в одиночестве. И сказали: “Сирота ведь, некому за ним присмотреть. Вот потому и ветер у него в голове”. И привели его к меламеру, и учился он несколько дней, а потом убежал из школы в лес. И так поступал раз за разом. Он убегает в лес искать там уединения. А горожане возвращают его в школу. Шли дни, и любовь их к нему поостыла, махнули рукой на него и оставили его в покое. И рос мальчик не так, как принято в мире. И нанялся он к кантору, провожал к нему малышей, чтобы отвечали амен йеге шмей раба и произносили кдуша и барху. И то была его работа – святая работа с малышами, на которых нет греха. И, идя с малышами, он обычно от всей души распевал приятным голосом, так что было слышно издали. И это служение его поднималось ввысь, и приносило веселие, как песнопения, что пели левиты в Храме. И принимало его Небо. И явился и Сатана, ибо понял, до чего это может дойти.

И испугался Сатана за себя: вдруг настанет время, когда искоренится он с лица земли. И принял Сатана образ колдуна. И было, когда шел Бешт с малышами и распевал приятным голосом, явился им колдун в обличье злого зверя и напал на них. И побежали все из страха перед ним. А некоторые из них и заболели, да отвратит Г-сподь такую напасть. И прекратилось это [перестали доверять ему детей].

И было после этого, и вспомнил Бешт слова отца, который перед смертью заповедал ему, чтобы он ничего не боялся, ибо Г-сподь с ним. И укрепился он в Г-споде Б-ге своем. И пошел он к родителям малышей, и воззвал к их сердцу, чтобы доверили ему детей, потому как он выйдет на бой со зверем и убьет его Именем Г-сподним, а дети – ради чего отторгать их от Торы и молитвы? И послушались его. И взял он в руку хорошую прочную палку. И было, когда он шел с детьми с благозвучной песней, в радости и

веселии, напал на них злой зверь. И кинулся он к зверю, и ударил его в лоб, и умер зверь. На следующий день нашли валявшееся на земле тело колдуна. Тогда сделался Бешт сторожем бейт мидраша. И работал вот так: все время, пока люди в бейт мидраше бодрствовали, он спал, а когда засыпали бодрствующие, он просыпался и вершил свое служение – служение тайное – пока они не стряхивали с себя сон, тогда он возвращался ко сну, а люди полагали, что он спит всю ночь.

(Шивхей а-Бешт)

Рассказ о рукописях

Когда пришло время рабби Адама Бааль-Шема покинуть этот мир, он попросил явить ему во сне, кому оставить свои рукописи. Ответили ему, чтобы передал их рабби Исраэлю сыну Элизера в городе Окуп. Позвал он своего единственного сына и сказал ему: “Есть у меня рукописи, полные тайн Торы, но ты не достоин их. Но есть один город, Окуп называется, и в том городе живет парень четырнадцати лет, Исраэль сын Элизера его зовут, и эти рукописи – его они, корень души его они. После моей смерти пойдешь туда и передашь их ему. И дай Б-г, удостоишься учить Тору вместе с ним”.

Когда рабби Адам покинул этот мир, взял его сын рукописи, запряг коней в телегу и поехал от местечка к местечку, пока не приехал в Окуп. Остановился у уважаемого человека, возглавлявшего город в тот месяц. Тот спросил его: “Откуда ты и куда идешь, ибо по поступкам твоим видно, что не по денежному делу ты прибыл сюда?” Сказал ему: “Отец мой, благословенной памяти, великий праведник был, перед смертью наказал мне взять жену из города Окуп, должен же я выполнить его наказ”. Тотчас заволновался весь город, ибо большим знатоком Торы он был, и совершенен был во всех достоинствах своих, и приходился по сердцу каждому, кто видел его. Предложили ему несколько партий. Наконец он взял за себя дочь одного почтенного человека. После женитьбы стал искать Исраэля сына Элизера, о котором наказывал ему отец. Не нашел никого, кроме паренька Исраэля, малолетнего служки в бейт мидраше. Стал приглядываться, как тот себя ведет, и увидел, что он не так прост, как кажется. Пришло ему на ум, что, быть может, это тот Исраэль, которого он ищет. Сказал тогда своему тестю: “Трудно мне учиться дома – все время люди приходят и уходят, не отгородите ли вы мне закуток в бейт мидраше, там я смогу учиться спокойно, да так и молиться буду там, где учусь”. Но главный его замысел был в том, чтобы оказаться в одном помещении с Исраэлем и быть все время подле него, дабы познать тайну его совершенства. Тесть поспешил выполнить его волю, ибо весьма благоволил к нему, и нанял Исраэля прислуживать ему.

Однажды ночью, когда все спали, сын рабби Адама притворился, будто и он спит. В это время Исраэль встал со своей лежанки и стал учить Тору. Как в эту ночь, так поступил и следующей ночью. На третью ночь задремал, когда занимался. Поднялся сын рабби Адама, взял один свиток из своих рукописей и положил его перед Исраэлем. Очнувшись ото сна и увидев свиток, содрогнулся Исраэль. Изучил его и спрятал за пазуху. Как в эту ночь, так было с ними и следующей ночью. Признал сын рабби Адама, что этот Исраэль – тот самый Исраэль, которому отец его наказал передать рукописи. Позвал его и сказал ему: “Рукописи сии отец мой наказал передать тебе, и вот они перед тобой. Пожалуйста, сделай мне милость, поучи Тору вместе со мной”. Исраэль согласился. Но поставил условие, чтобы тот никому не открывал этого, и как пользовался его услугами доселе, так же и дальше продолжал ими пользоваться.

После всего этого сказал сын рабби Адама своему тестю: “Хочется мне учиться уйдя от мира, в полном уединении, нельзя ли приискать отдельный дом за городом, там я уединюсь и буду заниматься Торой и служить Г-споду?” Приискал ему тесть дом за городом. И еще попросил он у тестя, чтобы служба, прислуживавший ему в бейт мидраше, прислуживал ему и там. И тесть поселил там и Исраэля. Сидели они там и занимались Торой Письменной и Торой Устной, явной и потаенной. Однажды проходили люди мимо того дома и слышали слова Торы, доносившиеся оттуда. Глянули внутрь и увидели, что зять почтеннейшего в городе человека и его служба учат Тору вместе. Сказали: “Заслуги отца его помогли ему, так что пришел сюда великий человек и приблизил его к себе, и вот уже видно, что он изменился к лучшему”.

Дали ему жену. И немногих дней ни миновало, как она умерла. А рукописи те были о каббале Б-жественной и каббале действенной. Один раз столкнулись они с трудным местом в учении своем. Попросил сын рабби Адама у рабби Исраэля призвать вниз Князя Торы, дабы тот растолковал им трудное место. Рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов отказался. Сказал: “Страшусь я, ибо нет у нас пепла [красной] коровы, и так мы можем ошибиться, не дай Б-г, в одном намерении и подвергнуться, не дай Б-г, большой опасности”. Но как тот сильно упрашивал его, не мог больше ему отказывать. Постились они от субботы до субботы, совершали положенные омовения, а на исходе святой субботы настроились известным образом. Внезапно закричал Бешт: “Ой-ой-ой, ошиблись мы. Князь огня нисходит, и весь город может сгореть! Беги и предупреди своего тестя и всех горожан, чтоб спасались, ибо город вот-вот сгорит, а как тебя почитают за большого праведника – тебе поверят”. Тот побежал и сообщил горожанам. Поверили ему и спасли все, что смогли, пока не пал на город огонь и не сгорел город. И сочли зять Б-жым человеком и чудотворцем. Дни шли, и снова стал он упрашивать Бешта призвать Князя Торы вниз. Бешт ему отказывал. Но как тот упрашивал его много дней – уступил. Снова они постились от исхода субботы до кануны субботы и совершали положенные омовения, а на исходе святой субботы, когда настроились должным образом, вскричал Бешт: “Ой, суждено нам обоим умереть этой ночью, но есть еще надежда на спасение: если будем крепиться всю ночь, и не вкусим сна, и не прекратим настраивать себя, как должно, то „проспал приговор – отменен приговор,, но если задремлем, не дай Б-г, то ведь сон – подобие смерти, дано будет право Губителю, и будет он властен над нами”. Крепились они всю ночь. Перед рассветом не мог больше сын рабби Адама крепиться и задремал. Как увидел это Бешт, побежал и поднял на ноги весь город, рассказав, что тот праведник внезапно упал в обморок. Попытались пробудить его и привести в чувство, но не вышло у них. Вынесли его и похоронили с великими почестями.

(Шивхей а-Бешт)

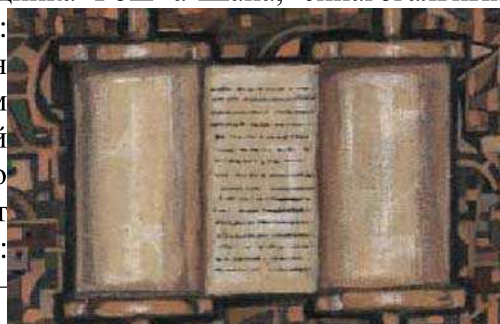
Уединение

Прежде чем Бешт, благословенной памяти, открылся миру, он скрывался в лесах и пещерах, дабы уединиться там с Г-сподом, да будет благословен, – чтобы не отрываться от служения Создателю и от приникновения к Нему, да будет благословен. Особое укрытие было у него между Кутами и Косовом, меж больших гор. Там есть большая пещера, и там он укрывался. И микве была у него там, чтобы всякий раз совершать омовение. И до сих пор она там – открыта взору любого прохожего.

(Кеаль хасидим ге-хадаш, 4)

Этрог

Прежде чем открыться миру, жил он в деревне вблизи Синятина и каждый год в Дни слихот – покаянных молитв – ехал в Синятин и оставался там до окончания праздника Суккот. Однажды, в первый день праздника Рош а-Шана, синагогальный кантор занемог. Забеспокоились горожане, говоря: “Кто встанет завтра перед ковчегом?” И сказал хозяин постоялого двора, где остановился Бешт: “В моем доме есть человек достойный, и честный, и умеющий петь, и знаю я о нем, что он умеет молиться, так что может быть лучше и приятнее, чем если он проведет молитву Рош а-Шана?” И сказал староста синагоги: “Я предлагаю, чтобы он провел сегодня молитвы – минху и маарив, – а мы послушаем и узнаем, насколько верны слова хозяина постоялого двора”. И попросили Бешта почтеннейшие люди города встать перед ковчегом и провести минху и маарив. И послушался Бешт, и провел молитвы. И вот, была его молитва благозвучна и сладка, как мед, и воодушевилось все общество благодаря его молитве, и просило его, чтобы и на завтра он встал перед ковчегом. И молился он и на следующий день, проведя молитвы шахарит и мусаф, и голос его был благозвучен и сладок, как мед, и люди в воодушевлении и пробуждении чувств бежали к нему, чтобы расцеловать его. И вот за десять дней от Рош а-Шана до Йом Кипура оправился от недуга постоянный кантор, тогда забеспокоились люди, ибо всей душой прониклись молитвой Бешта и хотели, чтобы он вел молитву и в день святого праздника. И говорили друг другу: “Давайте-ка исхитримся и придумаем, что делать, ведь нельзя отказать постоянному кантору”. И порешили между собой спросить совета у Бешта. И пошли и спросили его. И сказал им Бешт: “Мой совет таков – скажите ему, что дадите ему оговоренную плату, как во все годы, но только если он пойдет и попросит Бешта подменить его перед ковчегом, ибо он еще слаб после болезни”. Согласился кантор и тотчас отправился к Бешту, и Бешт сказал ему, что выполнит его просьбу. И спросил Бешт у зажиточных людей: “Какова будет моя плата?” И сказали ему: “Назначь свою плату и дадим ее”. И сказал: “Моя плата – купите мне прекрасный этрог к празднику Суккот”. И сказали: “Хорошо, всеми силами своими попытаемся купить тебе прекрасный этрог”. И вот, в тот год не было этрогов, и почти все общины не нашли себе этрога. И разослали жители Синятина посланников искать прекрасный этрог, и готовы были заплатить за него сколько попросят, но не нашли и простого этрога.



Бешт же сидел дома в канун Суккот и был весьма обеспокоен тем, что у него нет этрога. И не пошел в синагогу на минху, а зажиточные люди ждали его на молитву, он же не пришел. И они тоже не показывались ему на глаза, ибо не получилось у них исполнить его желание. И было под вечер, и явился ему пророк Элияу в обличье необрезанного и принес ему прекрасный этрог и прочие предписанные виды растений, все самым наилучшим образом. И спросил на нееврейском языке: “Здесь живет Израэль?” И сказал Бешт: “Да”. И отдал ему четыре вида растений. И воспрянул душой Израэль. А Элияу пошел своей дорогой.

И пошел Бешт в синагогу в веселии и с радостью в сердце, также и жители города благодаря ему удостоились этрога. И знали, что пророк Элияу принес этрог.

После праздника направился Бешт в деревню Ксиловичи и остался там жить. Он и там скрывал свои деяния, и никто не знал величия его.

(Сипурей Яаков, 13)

Позор

В то время когда великий учитель, автор книги “Пней Йеошуа”, да будет благословенна память праведника, был раввином в Лемберге, Бешт был меламедом в одной деревне вблизи Лемберга. И доселе скрывал свои деяния по присущей ему скромности, и вел там общественную молитву, а по субботам собирался весь миньян, и они вместе учили Тору.

Ближе к Рош а-Шана Бешт прохаживался перед ковчегом и возглашал покаянные молитвы – слихот, как принято у канторов. Просили его, не сможет ли он вести молитву в Рош а-Шана. Уступил им, и провел шахарит и мусаф, и протрубил в шофар. Досадило им, людям лембергской общины, что деревенские осмелились собрать свой миньян и не пришли в город, ибо раньше была общине поддержка от деревень, так как все уроженцы деревень приходили в город на Рош а-Шана и Йом Кипур. И сказали главы общины: “Вот только появятся люди из той деревни, мы им устроим!”

И когда людям в этой деревне стало об этом известно, они остались молиться в деревне и в Йом Кипур, Бешт же провел молитву.

Тогда отписали главы лембергской общины в окрестные местечки, чтобы не продавали этрогов жителям той деревни. И деревенские были вынуждены поехать в Лемберг, чтобы купить себе этрог. Обязали их главы лембергской общины явиться в канун праздника Суккот в Лемберг, чтобы получить наказание. И таково было наказание, наложенное на них: чтоб от ворот города до дома раввина шли босиком, одетые в китлы – одеяния Дней трепета, – а их кантор и трубящий в шофар шли бы впереди всех, а оттуда чтобы шли в синагогу, а их кантор произнес бы все молитвы, требующие напева, и если окажутся его молитвы верны и в каждой буковке, и в напеве своем, то на том и конец наказанию, ибо так избыли бы они свой позор, а нет – назначат им другое искупление. Понятно само собой, сколь велик был для них позор, когда все дети увязались за ними с хохотом и насмешками. Бешт произносил все молитвы, и напев его был верен, пока не дошел до “благословения отцов”. Когда дошел до “благословения отцов”, обратил лицо к собравшимся и сказал: “Кто не искупил грехи молодости, пусть не стоит здесь, когда упомяну это”. Они же продолжали насмехаться. И было, когда он произнес “благословение отцов”, – почти все лишились чувств, ощутили слабость и едва не испустили дух. Тотчас началось великое волнение. Привели Бешта к раввину, автору книги “Пней Йеошуа”, раввин сидел облаченный в талит и тфилин и кивком показал им, чтобы отпустили Бешта с миром.

(Сипурим нехмадим)

Три благословения

Потом поселился Бешт в деревне Ксилевичи рядом с Тлустом, и было у него в обычае ходить зимой к небольшой речке и погружаться там в воду, совершая омовение; даже когда река затягивалась льдом, он ломал его и погружался в прорубь.

Как-то сидел у реки один необрезанный. Почувствовал он жалость к Бешту, ибо один раз увидел, как тот выходит из воды и не может поднять ногу, потому как она примерзла, и тогда он с силой поднял ее, сорвав кожу до крови. С того дня необрезанный сторожил его и, как выходил Бешт из воды, подбрасывал ему сено, чтобы тот вставал на него. Так он делал каждую ночь.

Один раз сказал Бешт необрезанному: “Скажи свое желание, и исполнится оно. Богатства хочешь, долголетия или стать судьей?” И сказал необрезанный на языке язычников: “Пан раббин, все добри”, то бишь: “Господин раввин, все [три] хороши”. “Хочу я все три благословения вместе”. И ответил ему Бешт и сказал: “Я благословляю тебя всеми тремя благословениями вместе”. И сказал необрезанный: “Как я смогу стать богатым, коли у меня ничего нет?” И сказал Бешт: “Отведи воду от этой речки, что подле твоего дома, и сделай затон. Каждый, кому потребно будет исцеление, возьмет у тебя пузырек с водой и снова будет здоров”. И попросил его необрезанный намекнуть, как долгоденствие будет его век. И сказал ему Бешт: “Дни твои продлятся, пока после смерти моей не увидишь человека, обличьем подобного мне”.

После всего этого занемогла жена необрезанного и дитя его занемогло. Он омыл их водами речки и дал им испить той воды, и они выздоровели. И распространилась весть об этом, и пошли к нему люди со всей округи за той водой, и вода та исцеляла от разных недугов. И весьма разбогател необрезанный, пока не стало известно об этом докторам, и те ходатайствовали перед властями, и засыпали его затон. Так сделал Бешт, да защитят его заслуги нас и весь Израиль.

И было во время праведного ребе из Ружина: захотел праведный ребе из Ружина увидеть того необрезанного, и привели необрезанного к нему. И было: увидев облик праведного ребе из Ружина, сказал он: “Теперь настал мой час покинуть сей мир, ибо облик этого праведника подобен облику Бешта”.

(Сипурей Яаков, 14)

Слезы

Рассказывал мне рабби Шмуэль-Арье, мир праху его: “В детстве жил я в деревне Ксиловичи, слава о которой разошлась по свету, ибо рабби Исраэль-Бааль-Шем-Тов до того, как открыться миру, был там резником. Нашел я там старого резника, было ему за восемьдесят лет. Сказал ему: „Может, ты был знаком с кем-нибудь, кто знал Бааль-Шем-Това?“, Сказал мне: „Еврея, чтобы видел Бааль-Шем-Това, не нашел я, гоя, видевшего Бааль-Шем-Това, – нашел. В юности жил я у одного крестьянина-гоя, всякий раз, когда я прыскал водой на точильный камень, чтобы точить свой нож, дед крестьянина, старик лет девяноста или ста отроду, качал головой. Я полагал, он это делает от старости. Один раз почувствовал я, что он это делает мне в укор. Спросил его: ‘Почему ты качаешь головой, когда я работаю?’ Сказал мне: ‘Дело свое ты делаешь некрасиво. Исроэлке, когда точил свой нож, камень увлажнял слезами’,”.

Перевод с иврита Сергея Гойзмана

ИЗ ШАНХАЯ

Аәііәәіі Оәәіі



Извещение попало на стол к отцу в первую неделю сентября 1955 года, прочитал он его лишь неделю спустя. Отец был в отъезде – улаживал спор из-за кладбищенских участков в Манчестере. В его обязанности общинного миротворца, своего рода Красного Адэра, призванного гасить вспышки англо-еврейских междоусобиц, входило колесить по стране, умилоствляя раввинов и унимая их порой весьма строптивых прихожан. И только вернувшись в свой кабинет на Тависток-сквер, он узнал, что в лондонских доках лежит посылка на его имя. Извещение пришло из Отдела по делам беженцев, организации практически свернувшей свою деятельность, и он никак не был с ней связан. Что такое они могли ему послать и зачем? В обеденный перерыв отец доехал до Тильбюри и явился на речную верфь, где неповоротливые грузовые суда выстраивались в очередь к высящимся над ними кранам.

Он долго искал нужную контору, еще дольше место, где хранились посылки. Впрочем, отец, привычный к бюрократической волоките, с чиновниками был неизменно терпелив, и, пока они изучали и штемпелевали принесенные им бумаги, вел с ними любезную беседу.

На складе, однако, ему выдали не – как он рассчитывал – пакет в оберточной бумаге, а два огромных ящика, их свалил к его ногам автопогрузчик.

– Что в них? – спросил отец.

– Почем мне знать. Прибыли морем из Шанхая.

– Понятно, – сказал отец в полном недоумении.

После обычных проволочек и разговора на повышенных тонах принесли лом, и отец – помогать, как водитель ни противился, пришлось ему же – отодрал одну из

деревянных планок на боку ящика. Водитель – у него пробудилось любопытство – надорвал тонкую бумажную обертку.

– Вроде бы книжки, – сказал он.

– Книжки?

– Книжки, книжки.

– Но кто их прислал?

Они обследовали ящик; на накладной стояло: П.О. 1308 Шанхай.

– Работать пора, – объявил водитель, сел в свой автопогрузчик и завел мотор.

Отец просунул руку в ящик, вытащил оттуда книгу. Это был немецкий перевод “Избранных сказок” Ханса Андерсена в прочном переплете синего коленкора. Отец вынул другую книгу, она была на непонятном ему языке – японском или китайском. Третья книга, опять же, оказалась “Волшебными сказками”, на этот раз на английском. Отец извлек еще пять разных изданий “Волшебных сказок” Ханса Андерсена в переводе на английский. Снова взял издание на неведомом восточном языке и перелистал книгу. Так и есть, иллюстрации говорили сами за себя: утенок, соловей, три собаки с огромными, как блюдца, глазищами.

Ящики продолжали прибывать еще несколько месяцев – и в каждом очередное дополнение андерсеновской коллекции. Отец договорился, чтобы книги хранили на складе по соседству с доками. Сказать, что мать была недовольна лишними расходами, на которые обрекло нашу семью хранение свалившихся невесть откуда книг, значит ничего не сказать. Как-никак мы только-только освободились от скудного военного рационирования, и мама в первую очередь хотела набить кладовку продуктами, а не оплачивать неизвестно кем присланный непрошенный груз. Отец же с обычной для него беспечностью вел себя так, словно всех нас перенесли в сказку. И на нас неведомо откуда свалился дар. Как знать, какие колдовские события за этим воспоследуют?

К концу года на складе скопилось тысяч двадцать книг. Как-то утром, когда от синего неба особо веяло холодом, отец взял меня с собой на склад, посмотреть на ящики. Путешествие к пирамидам – вот что это было такое. Я пробирался по сумрачным проходам между поставленными по три друг на друга ящиками с такой опаской, будто в них таилась загадочная древняя сила. Что же такое свалилось на нас? Отец, разумеется, написал на адрес, указанный на ящиках, но ответа до сих пор не получил.

Мы уходили все дальше от доков, суда все уменьшались, и вот они уже казались ярмарочными бирюльками, которые ничего не стоит поднять игрушечному подъемному крану. Я задал отцу тот же вопрос, который задавала ему мама, когда ее терпение истощалось: почему бы нам не продать эти книги?

– Потому что они не наши, а раз так, продать их нельзя, – ответил отец.

Дело было в воскресенье, и нас обоих – единственный раз в неделю – не отягощала двойной груз работы (домашних заданий в моем случае) и синагоги. Мы прошлись

пешком до Тауэрского моста. На верфи сгрудилась кучка людей. Неподалеку было пришвартовано пестро раскрашенное суденышко под названием “Верткий малый”. Коренастый бритоголовый крепыш с мерзкой татуировкой на предплечье – голая женщина, опутанная колючей проволокой – пустил по рукам толстые цепи: пусть зрители их осмотрят. Затем незамедлительно обвязал себя цепями. Отцу – похоже, его это зрелище заворожило чуть не больше всех – доверили повернуть в массивном замке, который должен был воспрепятствовать нашему не знающему преград циркачу высвободиться, ключ и спрятать его в карман. После чего Верткий Малый попросил отца заткнуть ему рот кляпом. Затем одна смешливая зрительница помогла Верткому Малому залезть в джутовый мешок, лежавший рядом на каменных плитах. Справившись с этой задачей, зрительница сделала знак рукой своим приятелям и не без шика затянула веревку на горловине мешка.

Позади мешка торопливо катила свои воды черная Темза. Два привлечших мое внимание быстроходных ялика, из тех, что воскресным утром бороздят Темзу, заслонил ползущий с пыхтением буксир. К тому времени, когда ялики показали из-за буксира, наш узник уже был на свободе. Меня это ничуть не удивило. Трюк этот был мне известен. Я много чего узнал о Гудини из книги, взятой в школьной библиотеке. Наш герой, как я понимаю, перед представлением проглотил дубликат ключа, а когда мешок завязали, выхаркнул его. Все так, тем не менее я, сам того не ожидая, был потрясен. Спасись – каким бы путем ты ни спасся – уже триумф!

А весной из Шанхая приехал дядя Хьюго. Строго говоря, он не был моим дядей, отцу он приходился двоюродным братом. С ним приехала жена Лотте, у них не было ничего, кроме того, что на них. В марте в кабинет отца вошел незнакомый человек и предъявил свои права на книги Андерсена и на родство, это и был Хьюго. Отец пригласил Хьюго пообедать с ним, а именно повел его в ближайший парк, усадил на скамейку и поделился с ним бутербродами. Стояла такая переменчивая весенняя погода, когда на солнце уже тепло, а в тени все еще холодно. Пока они сидели бок о бок, задрав лица к еле различимой на небе монетке, Хьюго рассказал свою историю. В 1938-м Хьюго выгнали из его дома в австрийском Бургенланде. Он – и таких, как он, было много – очертя голову бежал в Шанхай, единственный город в мире, куда можно было попасть без визы и где был международный сеттлмент. Один его друг – не еврей – филателист Артур Джелинек переправил книги Андерсена в Китай: Хьюго оставил ему на это деньги. В Шанхае Хьюго прожил пятнадцать лет, работал лаборантом при больнице. По профессии он был биологом и к этому времени уже издал ботаническую монографию о грибах; но по призванию – библиофилом. В Австрии до войны благодаря крохоборству, упорству и сметливости ему удалось собрать, как он полагал, вторую по величине коллекцию книг Ханса Андерсена в мире, больше ее была лишь коллекция датской королевской семьи.

Отец выслушал Хьюго. За последние десять лет в лондонской еврейской общине разошлось бесчисленное множество беженских историй: большинство беженцев рассказывали о страшных испытаниях, кое-кто о не таких уж страшных. Хьюго бежал довольно рано. Ему повезло. Жизнь ему, конечно же, поломали, зато он остался жив, добрался до Лондона, спас свою коллекцию.

– Но как ты меня нашел? – спросил отец.

– Твой двоюродный брат Мики, ну тот, который...

Отец кивнул, не дав Хьюго закончить. Он уже знал все про Мики и не хотел снова слушать его историю во всех мучительных подробностях.

– Так вот, – продолжал Хьюго, – до того, то есть за несколько месяцев до того, как Мики забрали, – я тогда решил, что надо уехать, – он рассказал мне о тебе. Сказал, что ты работаешь в еврейской организации. Адрес твоей организации я отыскал уже в Шанхае.

– Но почему, – продолжал отец, – почему ты не отвечал на мои письма?

– Артрит, – ответил Хьюго и протянул к отцу корявые пальцы. – Не могу удержать ручку.

– Тогда почему... – отец запнулся.

Порой, сказал мне позже отец, что бы ни заставляло человека оправдываться, его слова приходится принимать на веру.

Хьюго познакомился с Лотте в Шанхае. Как и Хьюго, Лотте бежала из захваченной Гитлером Европы. Но, в отличие от Хьюго, в ней ключом били жизнь и веселье. Объяснялось это отчасти тем, что Лотте была на двадцать лет моложе Хьюго. И хотя Хьюго едва перевалило за пятьдесят, из-за копны снежно-белых волос и изрезанного глубокими морщинами лица он представлялся мне стариком. А вот Лотте, та меня очаровала. По субботам она, как правило, являлась к нам на ужин в палантине из черно-бурых лис (одолженном на вечер у соседки), курила одну за другой вставленные в длинный мундштук сигареты. Она любила петь и после ужина обычно призывала отца сесть за пианино в столовой. Отец сопровождал ее, а она с большим подъемом пела хриплым голосом немецкие песни, смысла их я не понимал, а моя мать и Хьюго, судя по всему, их не одобряли. Я обычно располагался поближе к Лотте, вдыхал как можно глубже тяжелый, густой аромат духов, окутывавший ее, как облако.

В войну семья Лотте чудом уцелела, и теперь ее раскидало по свету. Родителей вместе с сестрой Грете забросило в Америку; одного из ее братьев – в Буэнос-Айрес, другого – в Израиль. Иногда Лотте приносила только что полученные открытки и письма, и мы, удалившись на кухню, отпаривали марки и размещали их строго по порядку в моем альбоме. Казалось бы, занятия такого рода больше по части Хьюго, но он мной не только не интересовался, а пожалуй даже сторонился меня, пока я не получил от отца подарок.

Два раза в неделю отец посещал классы живописи по Образовательной программе для взрослых в Школе искусств Святого Мартина. В семье картины отца были предметом насмешек. Чаще всего он писал нагую натуру. Скучного воображения его преподавателя хватало всего на две позы. В первой он, не мудрствуя лукаво, усаживал натурщиц на стул с высокой спинкой как можно более прямо, во второй – “чувственной” – заставлял их зазывно раскинуться на крытом бархатом шезлонге. Отец, поклонник Матисса, но не Б-г весть какой колорист, приносил домой диковатые бурые фигуры,



причудливо
изогнувшиеся
– порой
вопреки
замыслу отца
– в
экспрессиони

стских позах. Картины он ставил у стены в холле. Мы с братом покатывались со смеху. Мама – она в это время готовила ужин – едва достаивала картины отца взглядом. Мы не знали жалости, но отец – надо отдать ему должное – на нас не обижался. Два вечера в неделю ему, по-видимому, хотелось играть роль не замороченного общинного администратора, а художника-одиночки, противостоящего враждебному, филистерскому миру.

Как знать, не из стремления ли самому утвердиться в двойственности своей натуры, а возможно, из желания, вполне вероятно, что и подсознательного, освятить сотворенные его кистью идола, отец метил свои картины в правом нижнем углу ивритскими буквами: змеевидным ламедом и квадратообразным вавом – им надлежало олицетворять художника Лесли Виссера.

После приезда Хьюго и Лотте я стал замечать нечто новое в картинах “Ламеда Вава” (такую кличку мы с братом образовали из его инициалов). Не исключено, что я ошибался, но в чертах натурщиц я находил все больше сходства с Лотте – тот же пухлый рот, те же ни на чьи не похожие зеленые глаза. Но чей полет воображения был тому причиной – мой или “Ламеда Вава”, – я так и не уяснил.

У моего отца в том классе завелся приятель по имени Джо Клайн – он торговал книгами издательства “Эр и Споттсизвуд”. И вот как-то вечером отец принес домой картонную коробку, в которую были упакованы четыре книги.

– Как, еще? – спросила мама: книги в переплетах были у нее под подозрением. Мы по-прежнему платили за хранение андерсеновской коллекции в ожидании, пока Хьюго и Лотте “встанут на ноги”.

– Это подарок от Джо, – парировал отец. – Книги распродали, переиздавать их не будут, это остатки тиража, но книги в отличном состоянии. Правда же, очень мило со стороны Джо. По книге на каждого члена нашей семьи, включая тебя.

В коробке для мамы нашелся роман, для брата руководство по безопасному проведению химических опытов на дому, а для меня – вот те на! – новехонькое, отлично иллюстрированное издание “Избранных сказок” Ханса Андерсена.

– Только этого не хватало, – мама скривилась.

Мне минуло двенадцать – многовато для Андерсена, подумал я, – тем не менее его сказки, хоть я это и скрывал, мне по-прежнему нравились, и вскоре я повадился пялиться на одну довольно откровенную иллюстрацию. На ней прекрасная принцесса из сказки “Огниво” спала на спине огромной собаки, глубокий вырез платья обнажал ложбинку между несоразмерно пышными грудями, которыми решил наделить ее иллюстратор. Эта цветная иллюстрация вплелась в мечты об Ивлин, четырнадцатилетней девчонке, чье окно было



прямо
напротив
моего, причем
разделяли нас
всего два
газончика
размером не
больше

почтовой марки, примыкающие к нашим домам. Не так давно я открутил круглое зеркальце от моего велосипеда, прикрепил его к длинной палке, а палку привязал к спинке кровати.

Это устройство позволяло мне, ничем себя не выдавая, наблюдать за тем,



как Ивлин Бун раздевается у себя в спальне. Но – вот незадача – Ивлин, перед тем, как раздеться, практически всегда задегивала занавески: такие предосторожности были приняты в нашей жившей довольно обособленно округе, и. Так что, несмотря на волшебное зеркало, я мог увидеть не больше того, что подарило мне воображение иллюстратора “Эр и Споттизвуд”, залетевшее куда-то не туда.

Стоило дяде Хьюго увидеть эту книгу, как ему загорелось ее заполучить. В необъятном мире страстей алчность коллекционера практически не имеет себе равных. Хьюго, до того дальний, вполне безразличный ко мне родственник, преобразился в душку-затейника, друга-приятеля. Сказать, что я был невосприимчив к соблазнам, которыми норовили подкупить меня взрослые, нельзя, нельзя и сказать, что я не поддался бы на уговоры, когда мой отец (мягкий, снисходительный отец!) счел своим долгом включиться в осаду и убедить меня отдать книгу Хьюго. Я бы, пожалуй, и уступил, не проси Хьюго то, что, как ни дико, стало частью моей замысловатой эротической жизни, вот почему я никак не мог пойти ему навстречу. Лотте, а она почуяла, что отказ продиктован не только упрямством и своенравием, приняла мою сторону.

– У тебя что, мало книг? – вопрошала она мужа. – Так ты еще хочешь ребенка ограбить?

– Какой же это грабеж? – вклинивался отец. – Взамен Хьюго предлагает Майклу в высшей степени редкое и ценное первое издание. Собственно говоря, это сделка. Обмен, и Майкл будет не внакладе.

Они наседали на меня месяц кряду, но я стоял на своем.

– Почему бы ему не купить эту книгу у кого-то другого, если уж она ему до зарезу нужна? – воззвал я к отцу, после того как Хьюго от нас ушел.

– Да потому, что ее нет в продаже, а из библиотеки Хьюго красть не станет. Сверх того, книги стоят дорого, а сейчас Хьюго и Лотте приходится экономить. Ты еще мал, тебе этого не понять. Джо Клайн сказал мне, что книгу издали тиражом в тысячу экземпляров. И раскупали ее плохо. Уж очень большая конкуренция. Стоит книга не так много, но Хьюго, как бы он ни старался, разыскать ее вряд ли удастся. Для тебя она не имеет никакой ценности, Хьюго же, напротив, пополнил бы свою коллекцию, а для него это много значит. До тебя дошло, что Хьюго предлагает тебе взамен? Ты мог бы получить книгу ценой – шутка ли сказать – в пятьдесят фунтов.

Отказаться от груди Ивлин Бун за пятьдесят фунтов? Потому что – да, да – я уже не отличал только что начавшие наливаться бужорки Ивлин от куда более развитых форм на той иллюстрации. Не может быть и речи!

Из соображений семейно-охранительных (возможно, мама тоже заметила, что лица нагих натурщиц приобрели сходство с Лотте) Вассерманов с середины лета стали приглашать не на субботние ужины, а на воскресные обеды. Хьюго и Лотте купили в рассрочку машину, допотопный “Зингер”, у которого на спидометре было больше ста тысяч километров. В этом почтенном драндулете Хьюго восседал за рулем, а Лотте подавала сигналы вручную, потому что левый поворотник вышел из строя, и таким образом они через час по чайной ложке, с крайней осторожностью что ни уик-энд преодолевали расстояние до нашего дома. Когда их машина сворачивала к обочине, отец выглядывал из окна и говорил: “Драндулет – сто лет в обед”.

К этому времени Хьюго стал полноправным членом “Ватрушкина клуба” – так мой отец прозвал это сообщество. “Ватрушкин клуб” уже насчитывал четырех членов, это были отцы семейств из окрестных домов – они собирались каждую неделю, неумеренно восторгались кулинарным искусством мамы и обсуждали текущую политику. Один из них, Сидни Оберман, всякий раз приходил с пачкой газет под мышкой. В его обязанности входило выбрать и отчеркнуть в газетах статью с темой для дискуссии. Члены сообщества преклонялись перед Уинстоном Черчиллем, покойным Хаимом Вейцманом и Армандом Калиновски, евреем, блестящим участником популярной радиодискуссии “Мозговой трест”. В знак уважения к этим незримым менторам члены клуба щеголяли в галстуках-бабочках, символе хорошего тона и возвышенности мысли.

Месяца через полтора после того, как Хьюго в первый раз взял в руки мою книгу, чтобы рассмотреть и трезво оценить ее, Вассерманы прибыли к нам, как водится опоздав к чаю и, как водится, в разгар ссоры. Причиной их ссор неизменно была Коллекция. Вассерманы перебивались с куска на кусок. Ютились в двухкомнатной квартирке на Уиллесден-Грин. Хьюго искал работу в лаборатории, но возможных нанимателей, как он считал, отвращал его сильный немецкий акцент. Скудные средства их складывались из платы за уроки игры на пианино, которые Лотте давала окрестным

ребятам у них на дому, и из сделанных работ (консультаций по грибкам и противогрибковым средствам), которые Хьюго выполнял в качестве помощника местного ландшафтного дизайнера. Лотте уверяла: продай Хьюго книги, они купались бы в роскоши. И напротив, попробуй он только распаковать ящики с книгами в ее доме, ему не миновать искать себе другую жену.

Презрение Лотте к Хансу-Кристиану Андерсену и его сочинениям не имело границ.

Волшебные сказки! Чушь какая! Сочинения Гете или Толстого – это еще куда ни шло, это она могла бы понять, хотя в их сегодняшнем стесненном положении она бы считала, что и их надо продать. Но взрослый человек, портящий зрение, разбирая “Новое платье короля” на двадцати языках!.. Как можно растрчивать себя попусту!

При этих словах Хьюго вспыхивал и озирался по сторонам: не слушаем ли их мы с братом. Когда наши взгляды встречались, мы делали вид, что витаем где-то далеко и вдобавок тугоухи. Но тут они дошли в споре до точки прямо перед нашей дверью, и, открывая им, я услышал: “Ты что, хочешь, чтобы мы всю жизнь прозябали в нищете?” – “А ты только о деньгах и думаешь?” Это были последние бессильные выпады, удары боксера, у которого руки обмякли, а ноги подкашиваются. Лотте нетвердой походкой направилась в кухню.

– Воды хочу, – сказала она.

Хьюго аккуратно снял пиджак и стал искать в коридорном шкафу вешалку. Уж не стояли ли в его глазах слезы? Кто знает, и тем не менее – чего не ожидал, того не ожидал – меня пронзила жалость. Что тому причиной – вид крайнего изнеможения (он так выглядел давно, но это как-то проходило мимо меня), а может быть, всего-навсего то, что он в первый раз с тех пор, как началось мое с ним противоборство, не сказал: “Ну, так ты уже даешь согласие?” Но что бы ни было причиной, я, пока Хьюго вешал пиджак, околачивался в коридоре, а потом сказал: “Меняюсь”.

Церемония обмена отодвинулась на две недели с гаком. Близилась середина августа – в эту пору мы ежегодно уезжали отдыхать. Обычно родители загодя заказывали места в каком-нибудь тихом, приличном пансионе в Маргите, Суонидже или Саутборне, договорившись заранее, что нам будет обеспечен вегетарианский стол, предупредив и преодолев таким образом сложности, которые могли бы возникнуть из-за кашрута. И уютно устроившись в нашем стареньком “форд-перфекте”, мы отправлялись в путь.

Проехав километров сто, настоявшись в пробках, намаявшись тошнотой, передравшись на заднем сиденье, мы поселялись в чужом доме, мало чем отличавшемся от нашего, где нам оставалось только читать, не выходя из комнаты, пока дождь лил как из ведра, играть в детский гольф под морозящим дождичком, а в те три-четыре теплых дня, которые соблаговолила отпустить нам природа, плавать, дрожмя дрожая, в холоднющем море.

В этот год, однако, все было иначе. Мы сняли рыбацкий домик на берегу в Фолкстоне. Ветер гнал высоченные волны, они с грохотом разбивались о подпорную стену позади нашего домика. По ночам спальня казалась мне корабельной каютой,

которую летние ветра швыряют то вверх, то вниз. По утрам мы с братом обследовали дюны неподалеку от места, куда причаливал паром из Булони. В песчаных холмах и горках там и сям еще попадались бетонные дюты. Мы забирались внутрь их сухих отсеков и выглядывали в узкие амбразуры: изображали артиллеристов, следящих, не приближаются ли немецкие самолеты.

На исходе первой недели отцу внезапно и по неведомой нам причине пришлось вернуться в Лондон. Мы знали только, что ему позвонила Лотте, она была крайне взбудоражена. Отец то и дело перешептывался с мамой. Но после того как он уехал, мама сообщила, что у Лотте и Хьюго неприятности, нет-нет, не медицинского свойства, но вполне серьезные, им нужна помощь, и поэтому отцу пришлось на пару дней вернуться в Лондон, ничего больше, уверяла мама, отец ей не сказал.

После отъезда отца зарядил дождь и лил все три дня, пока отец отсутствовал. Мы совершили экскурсию в магазин, где демонстрировали, как готовятся ириски, сходили в кино на “Придворного шута” с Дэнни Кеем в главной роли, посетили смотр детских талантов в местной ратуше.

Отец вернулся поздним вечером, взбудораженный, смятенный. По правде говоря, он так волновался, что мне представилось всего на миг, не больше – эк меня занесло, – что... нет, нет, это немыслимо.

Датский принц, как нам впоследствии стало известно, отправил к Хьюго посланца. Библиотекарь королевской семьи хотел ознакомиться с коллекцией Хьюго. Копенгаген и впрямь проявил серьезную заинтересованность. Если Хьюго не хочет продать коллекцию целиком, не согласится ли он продать ее по частям?

Лотте попросила отца помочь ей убедить Хьюго, что такая удача выпадает лишь раз в жизни. Они смогут разом избавиться и от убогой квартирки, и от бесперспективных работ. Смогут переехать в Голдерс-Грин, да что там Голдерс-Грин, выше держи – в Хэмпстед! А если уж Хьюго без его “конька” жизнь не в жизнь, почему бы ему не открыть букинистический магазин. Отец провел с Хьюго разговор, но тот наотрез отказался расстаться с коллекцией.

– Лесли, – сказал он, – тебе этого не понять, но я должен сохранить коллекцию в целости. Ее необходимо сохранить.



А

затем
случилось вот
что. На этом
месте отец
прервал
рассказ: по-
видимому,
набирался
духу. Мама
налила ему

чаю. Хьюго получил письмо. Лотте он письма не показал, но, прочитав его, выбежал вон. Пропадал целые сутки и вернулся лишь сегодня на рассвете – простоголовый, вымокший до нитки, лязгая зубами, – рухнул в кресло и ни в какие объяснения вступать не захотел. Отец навестил Вассерманов, пообедал у них. Хьюго был вежлив, но неподступен. О коллекции разговаривать не пожелал. Не исключено, что он все же согласится ее продать, но хочет, чтобы его покамест оставили в покое, дали “время подумать”.

– Ну и ну. Где это видано, – вскинулась мама, когда отец закончил рассказ, – оторвать человека от отдыха, а потом вести себя черт-те как, притом что ты – а никто, кроме тебя, не поступил бы так – помчался им помогать.

Отец промолчал. За стенами бушевало море, швырялось пеной в окна нашей кухни. Я счел – много я тогда понимал, – что мама говорит дело.

Когда мы вернулись в Лондон, отцу с места в карьер пришлось улаживать рабочий конфликт: в Совет синагоги Северного Лондона впервые избрали женщину, и теперь весь штат – раввин, кантор, смотритель и хормейстер – угрожали подать в отставку.

“Наступает начало конца иудаизма” – так отозвался на это известие раввин, а в скобках добавил: “Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая”(Притчи Соломоновы, 9:13). Отца отправили урезонивать и тех и других.

Школьные каникулы близились к концу. Мне нужно было купить новый блейзер и запастись издающими сладостный запах предметами первой необходимости, а именно ластиком, тетрадкой, иссиня-черными чернилами и авторучкой. В волнении, хоть я и старался никак его не показывать, перед новым школьным годом Хьюго и Лотте как-то позабылись.

Однажды вечером, когда в воздух уже прокрался осенний холодок, они неожиданно появились на нашем пороге. Лотте преобразилась. Белая крепдешиновая блуза, черная атласная юбка до колен. Эффектная новомодная прическа. Радость в ней была через край.

– Он ее продает, – объявила Лотте, даже не успев поздороваться.

Хьюго покорно проследовал за ней в дом. По-видимому, Лотте несколько опережала события. В предвкушении больших денег она в один прекрасный день решила – была не была – потратить те небольшие сбережения, что они скопили за полгода трудной и полной лишений жизни.

– Да, я ее продам, – сказал Хьюго. – Но кто знает, сколько за нее дадут?

Поздним вечером Хьюго отвел меня в сторону.

– Пройдем в другую комнату, – сказал он. – Надо поговорить.

Я ожидал, что он станет домогаться моей книги, и недоумевал, почему он медлит.

– Послушай, – зашептал он, придвинув ко мне лицо чуть ли не вплотную. От него шел тяжелый спиртной дух. – Я отдам книгу тебе. Не хочу, чтобы они ее заполучили. Она ничего не стоит, но мне очень дорога. Я хочу, чтобы ты ее сохранил. Продать ее нельзя.

Прутья нашего электрокамина – его включили первый раз за четыре месяца – оранжево светились в темноте, от них едко пахло горелой пылью. Хьюго запустил пальцы в седую шевелюру.

– А у тебя, прежде всего у тебя, – сказал он, взяв меня за плечи, – я должен просить прощения.

И хотя по моей спине волнами ходило тепло, меня прохватил холод. А Хьюго заплакал навзрыд, плечи его ходили ходуном – видно, он не мог унять себя. Но тут в дверях возникли Лотте и мой отец. Они кинулись к Хьюго, обняли его, увели назад в кухню. В этот вечер родители отправили нас с братом спать пораньше. Но в таких случаях мы, как правило, спускались с лестницы и, дойдя до половины, примостившись на ступеньках, подслушивали разговоры взрослых. Садись как есть, в пижамах, обхватив перила. В залитой светом кухне Хьюго начал говорить – чуть ли не шепотом, – голос у него пресекался. Поначалу мы улавливали лишь отдельные слова и фразы: “жена”, “сын”, “договорился”, “всё ждал”, “обманули”, “никому, даже Лотте”. Пришипившись, мы слышали – так ясно слышатся паровозные свистки по ночам, – как у сидящих за столом перехватывало дыхание. Вскоре мы стали различать прерывистый, хриплый голос Хьюго. Будь у нас с братом возможность посреди рассказа Хьюго улизнуть к себе в спальню, мы бы, пожалуй, так и поступили. Но любопытство загнало нас в ловушку. Через десять-пятнадцать минут Хьюго прервал свой рассказ. Отец встал, выключил свет. Станный поступок. Не иначе как отец посчитал, что Хьюго легче будет пытаться себя не при таком резком свете. Теперь голос Хьюго доносился из темноты. – Коллекция, – сказал он, – коллекция прибыла в Шанхай, моя семья – нет. – И надолго замолчал. – Вскоре после войны я получил подтверждение. Моя жена. Одна из ее товаров по женскому лагерю. Она прислала мне письмо. Но не мой сын... конечно же, это вряд ли возможно, пусть даже невероятно, и все же. А две недели назад мне прислали письмо. Сами понимаете, шестнадцать лет. Официальное письмо: место, дата. – Хьюго глухо зарыдал. – Мой Ганс, Ганс Вассерман, Ганс Вассерман. – Он снова и снова повторял имя сына.

Прошло тридцать лет, прежде чем я открыл подаренное мне издание “Избранных сказок”. Учитель моего сына – сыну минуло девять лет – пригласил родителей прийти в школу и рассказать о своей любимой сказке этой свихнувшейся на “Нинтендо” ораве. Я подумал, подумал, и выбор мой пал (могло ли быть иначе?) на андерсеновское “Огниво”. Та старая книжка с иллюстрациями давным-давно затерялась при многочисленных переездах. Но подарок Хьюго я все же сохранил. Это была ничем не примечательная книжка – синий потрепанный переплет, потускневшие золотые буквы.

Первые страницы испещряли бурые пятна. Титульный лист горделиво возвещал: “Новый перевод миссис Э.Б. Полл”. Я перелистал книгу, однако никаких пометок не обнаружил. Заглянул в “Содержание”: “Стойкий оловянный солдатик” был обведен еле заметным кружком. Я открыл рассказ, прочел его с начала до конца. В последнем абзаце две фразы были еле заметно подчеркнуты карандашом: “охватило пламя” и “сгорел дотла”.

Перевод с английского Ларисы Беспаловой

СОЛДАТ С ДЕРЕВЯННОЙ НОГОЙ

Ḥayim Ḥayim

1.

В синагогах благословили начало нового месяца Менахем-Ав, затем пришли новые дни, подобные строю скорбящих на обратном пути с кладбища. Однако в узких и тесных переулках весело продолжались обычные торг и суматоха. Солнце припекало, с лиц капал пот. Солнечные лучи прятались за грудками старого, пыльного тряпья, разложенного в платяных лавках Проходного двора. Солнечные лучи забирались и в подвалы на дворе Рамайлы, где продают уголь. Полосы света игриво рассыпались у высохших сточных канав на улице Виленского Гаона, где сидели торговки фруктами у корзин со своим товаром. Дети запускали бумажных змеев, подпрыгивали и приплясывали босыми ногами на раскаленном асфальте Синагогального двора. Но пожилые евреи с набожно согбенными спинами уже видели перед собой синагогу со священным ковчегом без покрывала и вспоминали плачи Девятого ава. Напев из книги Эйха сливался в сердце и в памяти с шорохом и вздохами ветра среди сухих листьев. Именно теперь во дворе Песелеса появился солдат с деревянной ногой, странствующий повсюду Герц Городец. Он пришел в то же время, что и в прошлом году и два года назад.

Его густая шевелюра и смеющиеся глаза чернее сажи и угля. Глядя на его фотографию до пояса, никто не подумал бы, что этот человек – инвалид, так он весело смотрит. Герц Городец все время носит старую солдатскую шинель с оторванными пуговицами, фуражку козырьком назад и потертые шаровары, зато сапог на его единственной, правой ноге сверкает и лучится, как зеркало. Его лицо гладко выбрито, а усы лихо закручены. Усы помогают Герцу Городцу во всем, что он рассказывает. Рассказывает он, как во время войны шел в атаку на немца, подкручивая пальцем ус – и тот вытягивается, как готовый проколоть штык. Хочет он показать, как упал раненый, и его усы вдруг опускаются. А когда он похваляется, “как гулял в отпуске”, служа в армии фюнки-кваса, его усы распушаются, становясь толстыми и вождедеющими.

Герц Городец любит странствовать. Он исходил уже все местечки, вплоть до Мереча, что на литовской границе, и вплоть до Дисны, что на русской границе. Сколько бы его ни спрашивали, какой черт гонит его, он всегда отвечает, что сам не знает. До службы в солдатах его не тянуло странствовать, но с тех пор, как он вернулся с войны, он не может усидеть на месте. Но он видит, что любопытные все еще тупо пялятся на него, не понимая его ответа. Тогда он смеется, показывая полный рот белоснежных зубов, и разглаживает ус.

– Деревянная нога гонит меня, она не дает мне усидеть на месте.

У странника золотые руки, он все может починить. Если он застревает по дороге у какого-нибудь сельского еврея, то перелицовывает ему шубу. В панском имении он ремонтирует настенные часы. Когда он пошел в солдаты и увидел, что в армии парикмахерам живется неплохо, он сказал, что он тоже парикмахер. И до сих пор его это кормит. Он появляется в молельне в каком-нибудь маленьком местечке и сообщает, что он цирюльник и на Лаг ба-омер он будет стричь на Синагогальном дворе всех от мала до



велика за полцены. Для этого ему нужно только занять у какой-нибудь хозяйки стул, а инструменты у него есть свои. Поскольку в семь недель между Песахом и Шавуот стричься можно только в Лаг ба-омер, в этот день на Синагогальном дворе выстраивается длинная очередь из евреев, до глаз заросших бородами, и Герц Городец стрижет их головы наголо, оставляя только пейсы. Матери приносят мальчиков и девочек, и Герц Городец присвистывает, вытягивая губы, и щелкает языком, чтобы дети во время стрижки не плакали. При этом он сыплет шутками и поговорками, чтобы матери смеялись. В деревнях к нему приходят бриться крестьяне. Его собственные закрученные усы служат для него рекламой: вот каков он мастер! Заработав немного денег, он больше не хочет работать. Он складывает в котомку большие и маленькие машинки для стрижки, бритву, ножнички и расчесочки, забрасывает котомку за спину и уходит в другую деревню, в другое местечко, лишь бы идти, лишь бы странствовать.

Приходя в Вильну, он всегда ночует в молельне во дворе Песелеса, а не на еврейском постоялом дворе и не у какого-нибудь знакомого. В здешней молельне есть длинный пустой женский этаж, и солдат с деревянной ногой вышагивает там версты. “Раз-два, раз-два... Стой!” И сразу же продолжает маршировать: “Раз-два, раз-два... стой!” – пока не насытит свою жажду к странствиям.

Его приход вызывает во дворе Песелеса удивление и радость, потому что он всегда появляется в печальные дни накануне Девятого ава и всегда приходит с чем-то новым. Два года назад он появился с большой губной гармошкой и что ни вечер играл на ней, сидя каждый раз на новом крылечке. К тому же он пел песенки, сыпал поговорками, так что окружающие смеялись. Б-гобоязненная соседка пожаловалась на него: “Ведь приближается Девятое ава, поэтому нельзя веселиться”. Все пальцы рук Герца Городца бегали по губной гармошке, продолжая играть, и казалось, что его усы вот-вот взлетят. Потом он вытер губы, как после жирного блюда, и спросил у еврейки, которая жаловалась на него: разве он виновен в разрушении Храма? Разве из-за того, что он лежал в окопах и остался без ноги, весь мир не водит хороводов, а парочки не танцуют? Ерунда!

В прошлом году Герц Городец стал коробейником и пришел во двор Песелеса с двумя деревянными ящичками товара. В одном ящичке он держал всякие ножи – от простых кухонных до изогнутой сабли в кожаных ножнах; а еще складные ножики со штопорами, ножницы, пилку и колечко с застежкой, чтобы вешать на цепочку разные вещи. В том же ящичке лежали фальшивые пугачи с барабанами для пуль. Население двора Песелеса рассматривало товары, спрашивало о ценах и долго торговалось, пока кто-то что-то наконец не купил. Покупатель потом оправдывался, что, мол, купленный предмет нужен ему как дырка в голове – он, мол, просто хотел помочь калеке. Обитатели двора подумали и пришли к выводу, что Герц Городец остается солдатом, даже став торговцем. Вот и торгует он ножами да игрушечными пистолетами.

Во втором ящичке оказались черно-белые фотографические карточки и множество красочных картинок с видами далеких стран. Вокруг собрались девушки и молодки, рассматривая на снимках дворцы с бесчисленными окнами и высокими башнями. Вот широкая, красивая, богатая улица, по которой едет экипаж с двумя дамами в широких шляпах и под солнечными зонтиками. Вот корабли на море и странные

подъемники на берегу, которые грузят на корабли товары. Вот маленький поезд с вагонетками, висящий на цепях между двумя горными вершинами; длинные мосты с зажженными фонарями, похожие на радуги; сады из высоких, стройных пальм и площади с бронзовыми памятниками, где генералы скачут на лошадях, а вокруг них стоят солдаты с ружьями. Соседки со двора Песелеса никак не могли насмотреться досыта, хотя и не купили ни одной карточки. Тратить деньги на рисованные фантазии? А между собой соседки потом говорили, что солдат с деревянной ногой не может перейти море, вот он и утешает себя картинками далеких стран. Когда у человека манколия, что-то кусает его за хвост, чтобы он шел, шел и снова шел.

В третий раз Герц Городец пришел с двумя деревянными клетками в обеих руках. В одной клетке прыгала коричневая белка с длинным пушистым хвостом. Ее работой было вытаскивать из ящичка счастливые билетки. Во второй клетке сидел попугай с зелеными крыльями, кроваво-красным хохлом на голове, голубым хвостом и острым, изогнутым желтовато-белым клювом. Этот попугай либо орал хриплым голосом убийцы, либо мрачно молчал, спрятав клюв и всю голову под крыло. Обитатели двора Песелеса пожимали плечами: что тут удивительного? Человек не обременен семьей, вот и ведет себя как мальчишка. “А где шарманка?” – спрашивали его. Раз у него были попугай и белка для вытаскивания счастливых билетиков, он должен был еще иметь шарманку. Тогда бы он сделал себе состояние. Герц Городец отвечал, что у него была и шарманка, но он продал ее по дороге, потому что ему тяжело было ее тащить.

Женщины даже забыли, что им надо идти на рынок за покупками или готовить мужьям и детям еду, так их увлекли эти существа, вытягивающие счастливые билетки. Ентеле, дочка портного Звулуна, заплатила солдату десять грошей, и белка вытащила для нее билетик: “Ты настоящее счастье узнаешь в доме и поле, что ты покупаешь”. Ентеле рассмеялась: она и ее жених Ореле не могут пожениться, потому что у них даже комнатухи для жилья нет, так как же она купит поле, да еще и дом? Хорошо, ученая соседка ответила ей, что под полем и домом подразумевается муж, а это означает, что они с Ореле будут счастливы.

Увидев, какое сияющее счастье ожидает Ентеле, крикливая Элька-чулочница тоже заплатила десять грошей, и зеленый попугай вытащил билетик и для нее: “Сватовство удастся, но парочка разведется или же муж убежит”. Элька взвизгнула: Ойзерл с ней разведется? Ойзерл от нее убежит? Враги ее до этого не доживут! Чтобы ее враги не радовались, Элька заплатила еще десять грошей, и по ее требованию на этот раз билетик достала белка, а не попугай. “Он украл и украденное уже перепродал”. Чулочница хотела оторвать белке хвост, а солдату с деревянной ногой выцарапать глаза: ее Ойзерл вор? Ее Ойзерл проходимец? Соседки едва сдерживали смех, но боялись вытягивать билетки дальше, пока одной женщине не пришла в голову идея: она дала солдату десять грошей с условием, что он сам будет зачитывать написанное в билетике, который вытащит зверушка, потому что как излагают, так и случается. Герц Городец читал с билетика, и все вокруг вслушивались:

– Царица Савская, красивейшая женщина в мире, повелевает лисе, самому маленькому зверьку в мире, а лиса повелевает орлу, царю птиц, а орел предсказывает твою судьбу: все, что ты делаешь, будет успешным. Ни одно из твоих празднеств не будет испорчено, а дети твоих детей будут плясать на твоей золотой свадьбе.

– Аминь, – заканчивает женщина и вытирает глаза.

Среди женщин стоит Злата-Баша Фейгельсон, папиросница, она кривляется и смеется над окружающими: “Белка у вас праведница? Солдат у вас за Б-га?” Но когда Злата-Баша слышит о доброй судьбе соседки, она моментально забывает свои насмешки над солдатом и тоже дает ему десять грошей, чтобы он предсказал ей добрую долю. Герц Городец сразу же возненавидел папиросницу за ее издевательства над ним, за ее глаза ведьмы и за то, что ее лицо, полное морщин и голубых жилок, потерто и истрепано, как торба побирušки. Он забирает ее десять грошей и читает по билету:

– Нечестивая царица Вашти с шишкой на лбу повелевает хорьку под землей, а хорек бежит к летучей мышши, а летучая мышь предсказывает твою судьбу: если ты даже поставишь ногу на небо, а другую ногу – на землю, ты все равно ничего не добьешься.

Папиросница умнее крикливой чулочницы Эльки. Она не станет спорить с солдатом на деревянной ноге. Она громко смеется, делая вид, что презирает глупую болтовню билетиков. Но потом она сдвигает на лоб свой платок и со вздохом говорит соседкам, что вдобавок к ее больному мужу ей не хватает только, чтобы ей наговорили плохого. Ентеле упрекает солдата: “Некрасиво с вашей стороны”. Герц Городец берет Ентеле за подбородок, его пронзительные глаза и закрученные усы выдают нескромный интерес: “Красавица!” Благодаря красавице солдат смягчается к папироснице и заявляет, что если ее муж болен, то совсем другое дело. В билетике написано: на старости лет ей будет так хорошо, что она забудет о всех прежних бедах. Да вот, пусть она сама прочтает билетик. Она увидит, что он ничего не выдумывает.

Герц Городец закрывает ящичек со счастливыми билетиками. С ящичком под мышкой, а клетками с попугаем и белкой в руках он поднимается по ступенькам в молельню. Сборище во дворе расходится, домохозяйки – к своим работам по дому, а Ентеле, покачиваясь, как уточка, уходит в бакалейный магазин, где она работает продавщицей. Крикливая Элька-чулочница идет в свою квартиру, где только одна комната с окном напротив уборной. Элька водит каретку машины для вязки чулок и ругает про себя мужа, Ойзерла Баса. Неужели этот байстрюк действительно собирается ее бросить и уйти незнамо куда, как этот солдат с деревянной ногой? Кошки скребут у нее на сердце. Наверное, Ойзерл думает, что она не должна была выходить замуж, раз не приготовила для него квартиру, в которой хватало бы свежего воздуха. Хотя бы двухкомнатную.

Вокруг Герца Городца и его зверюшек стояли, держась за фартуки матерей, маленькие мальчики. Пока взрослые разговаривали и шумели, малышня молчала, восхищенная зверюшками в клетках. После того как Герц Городец уходит, а женщины возвращаются к своей работе, дети еще долго стоят, молчаливые и потрясенные. Даже нарушив наконец молчание, они разговаривают вполголоса, а их глаза светятся близкими тайнами иного мира. Один мальчик говорит про белку, вытягивающую бумажки: “Конечно, эта дурочка думает, что это орешки, потому что она держит бумажку передними лапками, а ее ноздри раздуваются и хвост становится пушистее. Только потом белка понимает, что она жует бумажку, тогда солдат вытаскивает билетик из ее зубок”. Другой мальчик рассказывает, что он видел стеклянный ящик с водой, полный золотых рыбок. Золотых рыбок в стеклянном ящике ему совсем не жалко, потому что они плавают там совершенно свободно, а вот зеленого попугая в клетке ему жалко, потому что он сидит, сгорбившись, как старей еврей.

– Если бы я не боялся, что солдат лягнет меня деревянной ногой, я бы раскрыл клетку и выпустил птицу.

– Ты еще маленький, – говорит третий мальчик и выворачивает карманы своих штанишек, словно в доказательство, что он-то уже большой. – Зеленая птица – это попугай из жарких стран, где люди ходят голышом. У нас нет такой птицы. Если ты его выпустишь на улицу, наши птицы его заклюют или он сам умрет. Для него же здоровее сидеть в клетке, – подводит итог этот всезнайка, и все ребята задирают головы к небу. Они смотрят в разлитую медь слепящего солнечного света – а вдруг там стая голубей, которых выпускают голубятники. Стаи голубей крутятся в небе и шалят, пока какой-нибудь самец или какая-нибудь самка не перелетают в чужую голубятню.

2.

В первый раз, когда солдат с деревянной ногой поднялся на хоры женской молельни и принялся маршировать “раз-два, раз-два, раз-два... стой!”, погруженные в размышления завсегдатаи молельни задрали головы к балкону и прислушались, тихие и испуганные, словно наверху, в женской молельне, поселились черти. Но поскольку инвалид приходит из года в год, аскеты привыкли к его странному поведению и больше не обращают на него внимания. А реб Довид-Арон Гохгешталт, вздрагивающий от стука двери или громкого восклицания во время молитвы, даже выказывает ему при встрече дружелюбие. Может быть, он так расположен к Герцу Городецу, приносящему ему привет из большого мира, потому что ему, ребу Довиду-Арону Гохгешталту, пришлось стать аскетом, чтобы скрыться от своей проклятой жены. Вержбеловский аскет открыто завидует солдату.

– Этот Герц Городец – вот это парень, как ветер в поле. Солдат с деревянной ногой шагает вдоль балкона женской молельни и весело поет: “Соловей, соловей, пташечка!” – а аскет, засунув руки в рукава, бежит за ним с согнутой спиной.

– Ну, реб Герц Городец, вы уже снова обошли весь мир?

– Да, снова обошли весь мир, – отвечает ему солдат и продолжает шагать: – Раз-два, раз-два... Стой!

Вержбеловский аскет догоняет его и мягко упрекает:

– Если еврей ходит из местечка в местечко, он должен иметь при себе на продажу мезузы для еврейских дверей, связки кистей видения и малые талесы, сборники благословений, молитвенники. Накануне Грозных дней он должен иметь при себе шофары и праздничные молитвенники. Ведь еврейские селения нуждаются в предметах святости.

Герц Городец отвечает: кто у него их купит, старухи и отжившие свое старики? Он любит носить с собой товар, привлекающий девушек, молодых, паненок; деревенские шиксы тоже ему подходят. Они с радостью берут его товар, и ему самому это дело нравится.

– Ничего. Не на что жаловаться. – Солдат поглаживает свой черный ус и снова марширует по женской молельне.

– И для вас нет разницы, девушка или мужняя жена, еврейка или дочь необрезанного? – пританцовывает рядом с ним вержбеловский аскет. – Действительно никакой разницы?

– Никакой разницы! – широко взмахивает рукой солдат. – Девушка, молодка, еврейка, гойка. Одна и та же чертовка.

– А потом, реб Герц Городец? Как выбраться из этого дела потом? – горбится вержбеловский аскет и сладостно чешется под мышками. – Просто бросить и уйти?



– Просто бросить и уйти, – широко взмахивает обеими руками инвалид в такт своим шагам. – Иной раз приходишь через год – и снова ты желанный гость. Иной раз она смотрит на вас холодным взглядом, она вроде бы вас не узнает. Нет так нет. В них нет нехватки, в этих чертовках.

Чем больше хвастается солдат своими подвигами, тем больше ему завидует аскет, но совсем не его разгулу, а тому, что он видит мир.

Реб Довид-Арон из Вержбелова знает свое проклятие: он осужден ходить вокруг одного и того же попюпитра и вокруг одной и той же мысли, сможет ли он развестись со своей проклятой женой или нет. Он похож на белку солдата, бегающую безумными кругами по клетке. Неожиданно реб Довид-Арон вздрагивает всем телом – зеленый попугай издает <...> хриплый яростный крик: “Аррр!” Он крутит головой и клювом и расправляет крылья: “Аррр!” Перепуганный аскет бросается бежать с балкона женской молельни, опасаясь, как бы злобная птица не продырявила его сердце и не выклевала ему глаза. Герц Городец провожает его точно таким же хриплым яростным криком и смехом.

– Что вы бежите? Птички испугались? Состригите бороду и отправляйтесь вместе со мной, тогда вы узнаете жизнь.

– Мы еще поговорим, еще поговорим, – отвечает ему аскет уже с лестницы, торопливо спускаясь в мужскую молельню. Вся его тяга к странствиям исчезает в одно мгновение, он хочет как можно скорее забиться в уголок за своим попюпитром.

Герц Городец уже достаточно нашагался, и он тоже спускается в мужскую молельню. Он знает этих просиживателей скамеек еще по прошлому и позапрошлому году. Но первый, кого он видит, – незнакомый ему старичок со здоровой, красной, потной физиономией. Это ширвинтский меламед, реб Тевеле Агрес, который смотрит на солдата своими маленькими, пронзительными глазками:

– Из каких мест идешь? – орет старичок, и Герц Городец отвечает в то же мгновение, как на окрик унтер-офицера:

– Сейчас я иду из деревень, что вокруг озера Нарочь.

Меламед хочет узнать, как обстоят дела с молодой картошкой.

– Готова ли уже новая картошка? – спрашивает с уханьем старичок. – А что с редькой? Тертая редька с гусиным салом – это же райский вкус. Так как же с редькой?

– Очень хорошо. Кто живет, тот до всего доживает, – отвечает солдат, а сам думает: “Такой старый хрыч! А у него еще есть аппетит на молодую картошку, на редьку с гусиным салом”.

Солдат подходит к слепому проповеднику реб Манушу Мацу.

– Как у вас дела, дедушка? Это я, Герц Городец, я тут был в прошлом и в позапрошлом году.

– Знаю, знаю, я вас узнал по голосу, а еще раньше – по походке, – улыбается слепой проповедник и спрашивает, как живется евреям на свете.

– Евреям живется хорошо, – отвечает солдат.

– Дай Б-г! – вздыхает проповедник и рассказывает, что он слышал прямо противоположное. Евреи не могут больше заходить в деревни, чтобы продать свой товар, да и в самом местечке они уже не уверены в своей безопасности. Герц Городец бойко отвечает, что он не боится. Когда он проходит мимо барской усадьбы и собаки хотят на него броситься, он поднимает с земли обломанную ветку и спокойно проходит мимо. Собака действительно боится палки, но не надо ее этой палкой дразнить. А если какой-нибудь иноверец-антисемит называет его “жид пархатый”, он бьет антисемита деревянной ногой прямо в живот.

– Все-таки было бы лучше, если бы вы жили среди евреев и не имели бы дело с врагами Израиля, – вздыхает проповедник и, подняв слепые глаза к потолку, молится: – “Братья наши, весь дом Израилев, пребывающие в беде и в плену у неевреев, находящиеся как на море, так и на суше, Г-сподь да смилуется над вами...”

Герц Городец радуется, он видит стекольщика и хироманта Боруха-Лейба Виткинда.

– Как у тебя дела, Борух-Лейб? Еще не женился? Правильно делаешь, жена – это беда.

Солдат усаживается рядом со старым холостяком, вытягивает деревянную ногу и говорит громко, во весь голос: когда он приближается к деревне или к местечку, он помнит еще с предыдущего раза, что он встретит у околицы – крест или матку боску; пугала на полях или пару обгоревших, выкорчеванных пней; большую грудку камней, старое еврейское кладбище с поросшими мхом надгробиями или христианское кладбище

с упавшей оградой. Точно так же он знает, что в Вильне, в молельне Песелеса он встретит тех же самых аскетов, сидящих над теми же самыми святыми книгами, словно они вырезанные из дерева, камня или кости лесные звери у входа в барскую усадьбу. Борух-Лейб тоже один из этих бездельников и просиживателей скамеек. Утром он ходит от дома к дому и вставляет стекла в окна. Вечером к нему приходит какая-нибудь проклятая старуха, чтобы он погадал по линиям на ее ладони. Он все время видит одних и тех же людей, занимающихся одним и тем же делом, ест одни и те же блюда, изучает одни и те же святыне книги. Разве это жизнь?

Как всегда, когда он слышит речи, которые ему не по душе, набожный старый холостяк начинает еще набожнее раскачиваться над своей книгой и отвечает после долгой паузы:

– Хотя аскеты из молельни Песелеса сидят на одном месте, их думы странствуют в горних мирах, подобно блуждающим звездам, именуемым планетами. Не зная премудрости астрономии и глядя на планеты с Земли, можно подумать, что они неподвижны, но истина состоит в том, что они постоянно вращаются. Точно так же думает и человек, находящийся сердцем и мыслями вне молельни, что аскеты – всего лишь просиживатели скамеек и ничего больше. Однако тот, кто является частью Немого миньяна или, по меньшей мере, здесь не совсем чужой, знает, что перед изучающими святыне книги открываются горние миры.

– Ерунда! – стучит деревянной ногой об пол солдат и показывает на ширвинтского меламеда. – Вот этот старый хрен еще спрашивает у меня про молодую картошку, фантазирует про тертую редьку с гусиным салом. А этот полоумный вержбеловский аскет снова мне завидует, что я странствую по свету и наслаждаюсь жизнью. Так что ты долдонись, Борух-Лейб, про горние миры? Ерунда!

От сердечной боли, что солдат с деревянной ногой высмеивает аскетов, набожный холостяк молчит еще дольше. Наконец он отвечает строгим тоном:

– Герц Городец, я слышал, как рассказывали, что на этот раз вы пришли с белкой и попугаем, тварями, не имеющими души, и вот эти твари предсказывают у вас будущее, вытягивают счастливые билетки из какого-то ящичка. Это все равно как если бы вы подбивали людей на идолопоклонство. Тем более что вы сами не верите в счастливые билетки. Все понимают, что сами вы в это не верите.

– Конечно, не верю! – смеется Герц Городец. – Я верю в эту белку не больше, чем в церковь и в твою хиромантию. Но когда в прошлом и позапрошлом году я просил тебя научить меня гадать по руке, ты не захотел. Ты не свойский человек, Борух-Лейб. Борух-Лейб Виткинд не понимает: зачем Герцу Городцу знать премудрость гадания по руке, если он в нее не верит? Солдат с деревянной ногой отвечает ему: чтобы цыганки умели гадать по руке, а он не умел? Таким путем страннику легко подработать. Это может ему пригодиться и для кое-чего, что интересуется его гораздо больше денег.

– Дай мне, Борух-Лейб, свою руку... Вот так! Теперь представь себе, Борух-Лейб, что ты еврейская молодка, или паненка, или деревенская шикса – это тоже неплохо. Теперь представь себе дальше, что я хиромант, я глажу твою ручку и предсказываю тебе

твое счастье. Ты таешь как масло на солнце и становишься со мной ласковой за какие-то десять минут. После такого поглаживания по ручке и милой беседы эта молодка уже идет за тобой как теленок, куда ты только захочешь. Теперь понимаешь, почему я хочу знать хиромантию? Но ты не свойский человек.

Борух-Лейб вырывает свою руку у этого распущенного человека и даже начинает сопеть от злости.

– Поэтому-то я и не изучаю с вами премудрости гадания по руке. Каждой премудростью можно служить Всевышнему, но можно служить и Сатане. Вместо того чтобы гадать по руке ради утешения и укрепления людей, вы хотите использовать эту премудрость для совершения преступлений.

Герц Городец больше не слушает обличительных речей предсказателя.

– Что я тут вижу! – восклицает он, потрясенный. – В молельне Песелеса отремонтировали пол, скамьи больше не стоят вкривь и вкось, и ступеньки на биму тоже новые. Кто это сделал?

– Столяр и резчик. Он праведный еврей и отремонтировал всю молельню, не взяв за это ни единого гроша. Вон там он сидит, – показывает Борух-Лейб на кого-то в углу, радуясь, что солдат наконец оставит его в покое над святой книгой.

Элюкум все чаще забегает из мастерской в молельню Песелеса, чтобы резать по дереву.

Он уже вырезал для священного ковчега четыре короны и теперь работает над орлами, которые должны эти короны носить. Он режет маленьким кривым ножичком, и вот у полена уже есть голова с клювом, длинная шея и одно крыло. Герц Городец смотрит на него и громко, раскатисто смеется.

– Это про тебя говорит придурочный предсказатель, что ты праведный еврей? Я ведь тебя знаю, ты столяр-недотепа, который живет ниже по улице. Я видел, как ты таскал доски, как стоял на Синагогальном дворе, вылупив глаза. Так что ты имеешь с того, что ремонтируешь молельню и вырезаешь птичек?

Столяр бросает на него быстрый взгляд. Он тоже знает солдата-инвалида, который появляется каждый год в одно и то же время, побирается и продает тряпье, пока не проест и не пропьет все, что наживет, и снова пропадает на год. Элюкум Пап терпеть не может этих разгульных бродяг, веселых голодранцев – он ему не отвечает. Герц Городец видит, что серьезный столяр не отвечает ему, и пытается говорить с ним по-свойски.

– Если тебе приелись столярное ремесло и твоя жена, я тебя понимаю, браток. Никто тебя не понимает так, как я. Пойдем вместе со мной по свету, тебе будет весело. Гулять так гулять! – поглаживает ус Герц, и его выбритое лицо расцветает в счастливой улыбке. – Но на что тебе, браток, эти резные деревянные птицы?

– Не с твоей головой это понять, – бурчит столяр и продолжает работать, наморщив лоб. –

Откуда тебе понять такую деликатную работу, как резьба, если ты сам не умеешь ничего, кроме как гулять да жить за чужой счет?
Герц Городец весело смеется.

– Придурочный предсказатель Борух-Лейб говорит, что ты праведник. Разве праведник ругается? Балда! Это про меня ты говоришь, что я ничего не умею? Ведь всем известно, что у меня золотые руки.

И он принимается перечислять, загибая пальцы, что он умеет: он умеет брить и стричь, перелицовывать шубы, ремонтировать часы.



– Ты умеешь ремонтировать и перелицовывать, но ремесла от начала и до конца, как, например, столярное дело, ты не знаешь.

Правда, есть лучшие столяра, чем я, но они не владеют мастерством резьбы по дереву, а я владею, – так отвечает Эльокум

Пап, и его совсем не волнует, что Герц Городец ржет и отвечает на все: “Ерунда!” Наконец солдату надоедает спорить и он возвращается, стуча своей деревянной ногой, на балкон женской молельни.

Две старшие девочки Эльокума Папа знают, где находится отец, и они приходят к нему в гости. Вместе с ними заходят и мальчики, которые стояли во дворе Песелеса вокруг солдата, когда белка и попугай тянули счастливые билетки. Теперь малышня стоит вокруг столяра и восхищенно смотрит, как он режет. Время от времени дети поворачивают головы к балкону женской молельни и слушают, как пол наверху скрипит под тяжелыми шагами солдата с деревянной ногой. Он поет там и насвистывает: “Соловей, соловей, пташечка”. Эльокуму Папу хочется крикнуть ему: “Чтобы тебе был злой год! Это же святое место!” Еще лучше было бы подняться с большим молотком к этому бродяге и сказать: “Проваливай из нашей молельни, или я тебе голову проломлю!” Но разве станешь бить калеку, живущего с деревянной ногой? Пусть уж себе там поет, свистит и топает, чтобы на него черный год свалился. Все равно он скоро пропадет на год.

– Ты, папа, делаешь деревянную птицу, которая не может летать. А у солдата есть живая птица, которая по правде летает, – говорит дочка столяра, и большие, черные, влажные глаза пылают на ее бледном личике.

– Живую птицу можно поймать или купить за деньги; вырезать птицу из дерева, да чтобы она выглядела как живая, намного труднее, – отвечает отец.

– А зачем солдату с деревянной ногой птица, которая может летать? – спрашивает вторая дочка столяра.

– Потому что он сам живет на деревянной ноге, вот ему и нравится не деревянная птица, а та, что может летать, – снова отвечает отец и углубляется в работу.

Чужие мальчишки вокруг него тоже погружаются в задумчивую тишину и напряженно смотрят на полено, которое все больше походит на птицу. В молельне полумрак, Б-гобоязненная немота ютится в углах. Аскеты учат Тору про себя или дремлют, опершись на пюпитры. Только из женской молельни доносится веселое пение марширующего солдата: “Соловей, соловей, пташечка...”

Перевод с идиша Велвла Чернина

В серии “Проза еврейской жизни” издательство “Книжники” в ближайшее время готовит к выпуску первое русское издание “Немого миньяна” Хаима Граде.

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

Moderato

Их һоб дих либ, эс фэ-лн вэртэр мир, майн штаркэ ли- бэ а
ройс-цу-зо-гн дир, их һоб дих либ, дох шэлт их дэм мо-мэнт
ин ен-эм тог, вэн их һоб дир дэр-кент, дих хот гэ-бэнчт мит
шэйн-кейт ди на-тур, бист зээр а шэй-нэ, гра-цъез ин дайн фи-гур,
вос нуцт а блум, вос ээ-тикт ойг нор блойз, а блум вос
гит кэйн дуфт фун зих а-ройс, Их һоб дих либ, эс
фэ-лн вэр-тэр мир, майн штар-кэ ли- бэ а-ройс-цу-зо-гн
дир, их һоб дих либ, дох шэлт их дэм мо-мэнт
ин е-нэм тог, вэн их һоб дир дэр-кент.

Их һоб дих либ

Их һоб дих либ, эс фэ-лн вэртэр мир,
майн штаркэ либэ аройсцюзогн дир,
их һоб дих либ, дох шэлт их дэм момент
ин енэм тог, вэн их һоб дир дэркент,
дих хот гэбэнчт мит шэйнкейт ди натур,
бист зээр а шэйнэ, грацъез ин дайн фигур,
вос нуцт а блум, вос ээтикт ойг нор блойз,
а блум вос лозт кэйн дуфт фун зих аройс.
рефрен Их һоб дих либ, эс фэ-лн вэртэр мир,
майн штаркэ либэ аройсцюзогн дир,
их һоб дих либ, дох шэлт их дэм момент
ин енэм тог, вэн их һоб дир дэркент.

Их һоб дих либ, дох бисту ништ фар мир,
дир паст а хосн, а райхер кавалир,
вос из блойз гуф ун пуст азой ви ду,



ун хот ан оуто, а шофэр ойх дэрцу,
ун гелт а сах, бист дох фарлибт ин гелт,
вэст кэнэн койфн зих алц вос дир гэфэлт,
ун нор дэрфар hostу кэйн харц фар мир,
их хоб рахмонэс, рахмонэс штарк ойф дир.
рефрен Их хоб дих либ...

Их хоб дих либ, хоб лэйдэр ништ гэвуст,
ви флах ду бист, ах, ви нариш ун ви пуст,
с'хэршт ойф дэр вэлт ан элэндкэйт, а нойт,
а камф фар арбэт ойф лэбн ун ойф тойт,
а вэй-гешрэй нэмт ицт ди вэлт арум –
ди лигт ин зинэн нор пудэр, шминк, парфум,
дэр файнстэр hut, модэрнэ клэйдэр фил,
дос из дайн холэм, дос из дайн лебэнштил.
рефрен Их хоб дих либ, эс фэлн вэртэр мир,
майн штаркэ либэ аройсцюзогн дир,
их хоб дих либ, дох шэлт их дэм момэнт
ин енэм тог, вэн их хоб дир дэркент.

Я тебя люблю

Я тебя люблю, мне не хватает слов
высказать небывалое мое чувство,
я тебя люблю, но клянү минуту
того дня, когда я тебя узнал;
тебя одарила красотой природа,
ты очень красива, твоя грациозная фигура
сродни цветку, насыщающему разве что взгляд,
цветку, не дарящему благоухания.
Я тебя люблю, мне не хватает слов
высказать небывалое мое чувство,
я тебя люблю, но клянү минуту
того дня, в который тебя узнал.

Я тебя люблю, но ты не для меня,
тебе в женихи нужен богатый кавалер,
который всего только тело и пуст, как ты,
но имеет авто, а к нему шофера
и много денег, ты же обожаешь деньги
и сможешь покупать все, чего ни пожелаешь,
и поэтому-то не лежит ко мне твое сердце,
мне жаль тебя, мне очень жаль тебя.

Я тебя люблю... и т. д.

Я тебя люблю, но, к сожалению, не знал,
сколь ты заурядна, сколь глупа и пуста;
на свете царят нищета и нужда,
борьба за работу не на жизнь, а на смерть,
вопли и вой охватывают мир –
у тебя же в голове только пудра, помада, духи,

**изысканная шляпка, бессчетно модных платьев –
это твоя мечта, это твой стиль жизни.**

Я тебя люблю... и т. д.

Публикацию подготовил Асар Эппель



Книга истин, определений и откровений

Ёёçà Ī éääé ĩ ñçäü

Говоря о книге Ильи Кабакова¹, нельзя не отметить, что если его последние выставки в Москве (очень важные для формирования культурного пространства в России) были структурированы весьма сложно, то книга его, напротив, очень проста. Это просто прекрасная книга большого художника об искусстве, о том, как оно делается и как воспринимается, о легендарных теперь уже десятилетиях нашей истории, наконец, о самом Кабакове и его творчестве. Простота и величие этой книги состоят в том, что это разговор художника, в общем-то, с самим собой. От начала до конца она проникнута искренним желанием понять, почувствовать и сделать простым для восприятия все то сложное, неявленное, а иногда – тайное и почти мистическое, что сопровождает искусство и чем оно является. Именно в тот момент, когда искусство стало товаром, политикой, клубом – всем тем, что нужно для жизни в развитом обществе, – появилась книга, возвращающая ему лицо прекрасного древнего занятия, достойного и великолепного самого по себе, без всяких прикладных смыслов и функций

Книга Кабакова, по словам автора, написана на основе записок просто так, для памяти. Но это настоящий трактат об искусстве, встающий не столько в ряд сложных и важных книг XX века, сколько в куда более короткий и впечатляющий перечень книг художников и архитекторов – таких, как трактаты Альберти и Леонардо, китайский трактат “О живописи из сада” и прочие тексты, от которых искусство становится яснее, проще и величественней. Приятная особенность записок Кабакова состоит в том, что программное стремление авангарда к простоте и эффективности воплощено в них со всем великолепием, о котором, кажется, автор и не помышлял вовсе. Выход книги Кабакова был приурочен к огромной акции по заполнению выставочной Москвы его артефактами и, в принципе, мог остаться не замеченным – уж слишком разные жанры. К выставкам, как правило, выпускаются каталоги – цветные, сложные и дорогостоящие по полиграфии, научные по содержанию. Современная русская книга для чтения выглядит совсем по-другому: стандартный формат, дешевая сероватая бумага, экономичная верстка. Так что скромная серая книжка издательства “НЛО”, последовательно публикующего тексты современных художников и искусствоведов, – внешне вполне рядовое книжное событие. Однако даже при первом знакомстве с ней, еще до прочтения, происходит взрыв от столкновения двух реальностей – взрыв, характерно кабаковский по стилистике, невидимый, но мощный. Если присмотреться, книга эта сама по себе является объектом художника. В нее внесено всего одно, но принципиальное конструктивное изменение: последняя страница текста сделана последней страницей фронтисписа. То есть, выходя из текста, вы выходите и из книги – без каких-либо реклам, технических сведений или перечня работников издательства. Хорошо нам, современным зрителям-читателям, изображать из себя эдаких мускулистых ценителей актуального искусства, тем более что для этого есть прямой повод. Искусство действительно обладает отмычками ко многим дверям. Но правда состоит в том, что современное искусство, при видимой демократичности, гораздо сложнее для восприятия, чем классическое. Из многих вопросов, ответы на которые дает книга Кабакова, этот – о реальных сложностях восприятия современного искусства – должен быть поставлен первым.



Существуют как бы два взгляда на эту работу (“Рука и репродукция Рейсдаля”. – Л. П.), взаимоисключающие друг друга. Первая установка: перед нами поставленная набок большая крышка с краями, покрашенная белой краской, на которую

почему-то наклеена старая репродукция картины Рейсдаля, а внизу нелепо положен муляж руки, выкрашенной розовой краской. Но при другой установке это не репродукция картины великого голландца, а настоящий пейзаж, с настоящим светом дня (на этот эффект и рассчитана картина). Тогда белая рама служит как бы окном, за которым разворачивается реальное действие, а рука – это рука зрителя, положенная на подоконник окна, чтобы глядеть и глядеть в него...

Сложность и интеллектуальность структур, создаваемых Кабаковым в инсталляциях и альбомах, грусть и смазанность их образов заставляют опять и опять искать чего-то. В воспоминаниях художник с сожалением отзывается о своих иллюстрациях к детским книжкам как о работе за деньги, на которую уходило очень много времени. Но он всегда пытался делать эту работу максималистски хорошо, так что теперь книжки, проиллюстрированные Кабаковым, до некоторой степени проливают свет на все его творчество. Это классическая советская книжная иллюстрация 1970–1980-х с одним большим отличием от всего того, в рамках чего она была создана. Здесь белая бумага – это действительно пространство, именно такое, как описывается в книге Кабакова:

Легко дать свет в рисунке на маленьком белом листе бумаги. Бумага, как все в графике, легко становится условностью, которую мы привычно принимаем: листа как бы нет, когда мы смотрим на рисунок. Совсем не то, когда перед нами что-то большое, как картина. Первое, с чем я столкнулся, когда стал делать первые три “картины”, – сам предмет, вещь, возникающая в процессе ее изготовления. Приходилось иметь дело с этой глупой, мучительной “неустрашимостью” вещи, существующей вонне, помимо меня и которой нет в бумажном листе из-за его условности. Самое интересное, важное и главное – это то, что у этой возникающей “вещи” не было имени. Когда мы что-то изображаем, мы имеем перед собой прообраз – мяч, муху – и мы копируем его. Если мы имеем в виду что-то “по ту сторону действительности”, нечто “иное”, то оно в принципе не изображаемо, а лишь переживаемо; но зритель, как и художник, знает, где оно находится, где его искать. Но вещь, изделие, не имеющее отношения ни к вещам реальной действительности, ни к действительности “запредельной”, буквально повисает как абсолютная нелепость, как неудачный, несмешной анекдот. Да, но почему все эти картины белые? Мне казалось тогда, что произойти может тот же эффект, как и с бумагой: при известной внутренней настройке из бумаги идет свет. Почему же, при такой же настройке сознания, невозможен этот поток, когда “картина” внешне представлена ящиком, коробкой, матрасом? Этот свет возможен везде, не только за плоскостью бумаги или доски, но и за предметом, который может стоять на полу посреди комнаты или в углу, как стол или холодильник, или просто висеть на стене. Здесь, возможно, дело не в интерпретации, а в верификации, чем-то близком к вере, но это уже пахнет мистикой.

И еще одно – динамика. Персонажи детских иллюстраций Кабакова двигаются легко и быстро, они невесомы и свободны едва ли не больше, чем персонажи мультиков (которые действительно могут двигаться). И как интересно, что свободное от заказа творчество Кабакова так каталогизировано и так сдержанно. Не сказать, чтобы произведения Кабакова были очень пластичными и очень динамичными. Хоть он и поработал со всеми возможными материалами, от бумажных альбомов до металлических антенн и архитектуры, – все это, в общем-то, застывшие образы-тени:



Мне все казалось, что я рисую по поверхности, перпендикулярно расположенной к свету. Поэтому любое изображение на листе как бы плавает в свету, плоская затушевка пачкает, затуманивает, загоразживает этот свет, наподобие мутного стекла. Мне тогда любое изображение казалось грязным стеклом,

мешающим свету идти из глубины сюда, на нас. Но, парадоксально, этот свет возникал, шел только тогда, когда я начинал что-то рисовать на листе, он, можно сказать, нуждался в немногих элементах на листе, в особом балансе их расположения, чтобы из-за них с ослепительной силой рваться из глубины вперед на меня.

Кабаков основывается исключительно на собственном восприятии, по максимуму избегая сослагательных наклонений, проекций реакций на некоего персонажа вообще. Эта честность позиции и классическая сдержанность методов – еще один подарок Кабакова современному русскому искусству, тексты которого обычно насыщены сложными терминами и состоят из многэтажных философских конструкций и множасьихся, специально организованных контекстов и идеологий. Текст же Кабакова менее всего претендует на статус самостоятельного произведения, скорее это размышление. Соответственно все сложное и специальное здесь неупотребимо. Это диалог первого уровня – внутреннего, и он очень прост. Благодаря этой простоте и искреннему желанию большого художника и мыслителя разобраться в задаваемых вопросах самому, становятся очевидны базовые особенности нового искусства, того, чем оно стало в результате XX века и с чем, соглашайся или нет, всем нам приходится иметь дело.

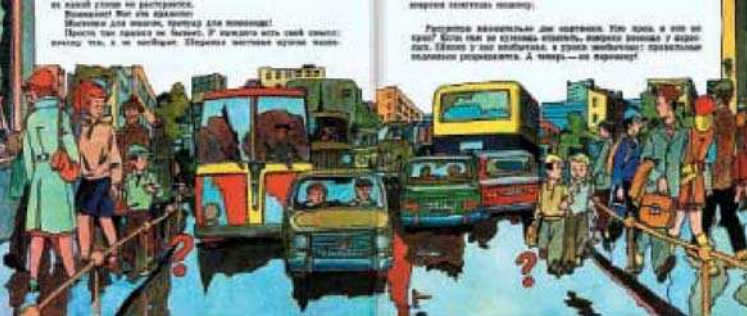
Художник размышляет о композиции произведения, о его теме и об образе произведения в воспринимающем сознании как о трех самостоятельных явлениях, эволюционирующих – каждое согласно своей внутренней логике – на протяжении всего творческого пути Кабакова. Если в классическом искусстве сначала задавалась тема, потом создавалась композиция и лишь затем в голове у зрителя рождался образ, то теперь все обстоит ровно наоборот. Очень грубо это можно было бы описать так: тема произведения – это теперь цель, но она появляется последней в результате восприятия, а вот композиция и образ стали вещами базовыми, инструментами, подготавливающими почву для рождения темы. Понятнее это выглядит, разумеется, в авторском тексте:…зимой 69/70-го года я сделал “Ответы” – более крупную работу, тоже плоскую, на оргалите, которая сплошь по всей поверхности состоит из текстов мнений... Хотя каждый квадратик говорит о своем, картина получает смысл и значение из этих остатков, оказавшихся за пределами смысла в каждом отдельном фрагменте. Говорящие не знают этого, но зато мы со стороны можем узнать. И узнать, кто такой “он”. “Он” не совсем тот, о ком говорится в каждой из фраз. Целое как бы не состоит из частей, но каким-то образом извлекается из них. Таков был мой замысел. И визуально картина должна была производить какой-то оптический шум, хотя каждый в своей “соте” произносит всего одну фразу.

Итак. Илья Кабаков – самый известный из русских художников последних двух десятилетий, человек, влияние которого огромно, власть и успех безграничны, образ сияющ и недостижим. На самом деле, как только разговор о Кабакове становится более пристальным, мы обнаруживаем себя в не таком уж однозначном мире. Все знают Кабакова как главного русского концептуалиста, но известно также, что он многие годы работал иллюстратором детских книг. Кабаков – самый известный русский художник, но



до недавней выставочной акции в Москве работы его видели только специалисты, а сам художник не был в России долгие годы. Когда же произведения объявились – сначала по чуть-чуть, а потом и в виде большой акции, – выяснилось, что всенародная известность, конечно, есть, но вот со всенародным пониманием явно проблемы. Произведения Кабакова совсем не легки для восприятия, можно сказать, герметичны, их трудно просто увидеть и полюбить или сходу почувствовать. Казалось бы, раз уж он самый известный в мире русский художник, мы должны смотреться в его произведения как в зеркало. На самом деле это больше напоминает просмотр канала “Дискавери”, показывающего (вне зависимости от переживаний зрителя) некую экзотическую

действительность отдаленных уголков земли: какой-то забытый СССР, музейную действительность или чей-то страшный, но не лишенный уюта быт. Долгожданная встреча с ними ярче всего обозначила многолетнюю разлуку. Творчество Кабакова и все трудности его восприятия имеют общий корень – это структура не единая, как можно было бы предположить, а двойственная, мир бинарных оппозиций, ключ к прочтению которых долгое время отсутствовал еще и потому, что из-за эффективности одной половины оппозиции и подавленности, скрытости другой никому и в голову не приходило, что необходимы какие-либо поиски. Теперь ключ есть. Его никто не искал, но художник предоставил его сам. Книга “60–70-е”, как уже говорилось, – это настоящий трактат об искусстве, и не только об искусстве самого Кабакова, но и о современных способах мышления в искусстве. Трактат в прямом, ренессансном смысле этого слова – книга, демонстрирующая, объясняющая и дающая ключи. Книга, от которой становится легче и веселее, от которой искусство становится ближе и понятней. Книга, открытая каждому, кто ищет в этой области, и, как и положено настоящему трактату, излагающая абсолютные истины, вытекающие из личного опыта мыслящего, а потому отличающаяся внеположенностью политике, власти и деньгам. Если за что-то сторонники и противники Кабакова и смогут сказать ему спасибо вместе, так это за книгу “60–70-е”. Когда мы обращаемся к творчеству мастеров-шестидесятников – а Кабаков в принципе не исключим из их числа, – мы сталкиваемся с тем, что оно прошло через несколько радикальных смен эпох и, соответственно, терминологий, приоритетов и общественных формаций. И если шестидесятые мифологизированы, а пятидесятые вообще уже почти не поддаются реконструкции, то и гораздо более близкие пласты, как, например, “СССР” и “советское”, тоже оказались на грани исчезновения из активной памяти. То, что было основным нервом искусства восьмидесятых, – разница между официальным и неофициальным – теперь уже практически не реконструируемо. “Советское”, любовно сохраняющееся в творчестве Кабакова и художников его круга, все чаще называется “русским” и опознается как тяжелые особенности жизни в России вообще. Восприятие произведений советского периода очень затруднено, так как достаточно сложно восстановить одну из базовых позиций – неофициальный статус художников, их создававших. Надо сказать, правда, что к разным художникам этот процесс имеет разное касательство. Не занимавшихся социологией и идеологией, таких, как Плавинский, Зверев, Немухин, это касается в меньшей степени, занимавшихся – в большей. И здесь опять в тексте книги многое оказывается яснее и проще, чем в непосредственном восприятии картин и инсталляций. Первые страницы книги Кабакова пропитаны живостью переживания советского/несоветского, бывшего актуальным и неизбежным и уходящего теперь в область воспоминаний. Хотя и тексту уже не один год, это рефлекс времени его написания, впрочем, быстро исчезающий, как любое отражение. Важнее другое: описание пятидесятых-шестидесятых дарит читателю яркую, полнокровную и неполитизированную картину тех десятилетий. Кабакову не надо подправлять действительность, так как он ею управляет, но именно поэтому многое из того, что оказалось сметено и забыто в процессе его триумфального восхождения к вершинам



художественной власти, теперь возвращено и восстановлено. Имена людей, без которых шестидесятые не были бы шестидесятыми, коллекционеров, без поддержки и веры которых молодые художники шестидесятых не

выжили бы как самобытные явления, возвращаются на страницах книги Кабакова к жизни с теплом и благодарностью, чем вносится бесценный вклад в реабилитацию и оживление нашей политизированной до неживого состояния истории искусства второй половины XX века.

Входила ли такая реакция в замысел автора? Думаю, да. Остается понять почему. Трудно же заподозрить столь артикулированного художника и политика, как Кабаков, в спонтанных, непродуманных действиях. С одной стороны, здесь многое не просто так, но с другой – все совершенно просто и естественно, только специально организовано. Книга о шестидесятых и семидесятых годах в русском искусстве, написанная в восьмидесятых в Америке, вышедшая в 2008-м в Москве. Где здесь расчет, где искренние чувства, а где послание

к

читателю?

Всем известна способность художников заглядывать в будущее, и книга Кабакова не исключение. Ее стиль, ее смысл, ее месседжи, скрытые и явные, – все это, организованное в простой и ясный текст, дарит надежду на долгожданное примирение. Примирение между разными группировками, которым в разные периоды в большей или меньшей степени принадлежала власть внутри художественного мира, примирение между художником, весь XX век пребывавшем в агрессивно-менторском настроении, и зрителем, измученным и запутавшимся в хитросплетениях современного искусства, изгнанным из этого мира за вполне естественную тягу к прекрасному и доброму. Книга Кабакова – знак того, что период разрушения сменяется в искусстве периодом созидания. Создается впечатление, что война закончена и теперь все участники могут мирно, как встарь, отправляться

пить

чай.

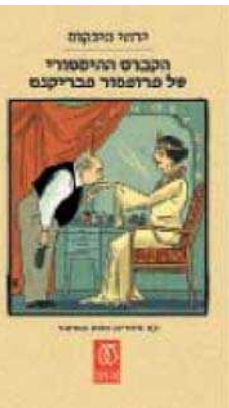
Вне зависимости от имеющегося образа Кабакова и от известных методов его создания очевидно, что он действительно очень крупный художник, встреча с произведениями которого неизменно становится событием. Но при этом часто упускается из виду, что он и один из важнейших мыслителей XX века, каковой статус окончательно и бесповоротно закреплен его книгой. Не случайно, описывая свою юность и первые самостоятельные рисунки, Кабаков признает, что размышления всегда были для него занятием более естественным, чем рисование:

Эти “изделия” (первые неученические рисунки. – Л. П.) были “ограничены”, “непредусмотрены”, “неконтролируемы”, “мои”. Но у них был крупный недостаток – вернее, у меня по отношению к ним – в них не было “рефлексии”, чем наделен я был сверх меры всегда, но тогда в особенности, и, делая эти рисуночки, я видел, что основная часть меня самого как бы не присутствовала в этом процессе, а отказаться от “сознания”, рефлексии я не желал, у меня не было радости освободиться и стать “естественным” идиотом, пусть даже и “художником”. Эта рефлексивная часть меня находила свое выражение в бесконечных записях в альбомчиках, которые мы, ученики, должны были заполнять набросками и эскизами. Мои (все альбомчики сохранились) были наполнены мыслями об искусстве и жизни, иногда амбициозными, иногда робкими, жалкими. “Робкие” и “смущенные” самооценки художника – настоящий подарок его зрителям. Читая книгу, вспоминаешь, что в его богатых инсталляциях действительно всегда присутствует элемент хрупкости, неловкости и непросматриваемости. Но самое главное – художник-мыслитель Кабаков все время настаивает на том, чтобы быть точным: присматриваться и задумываться. Успешность Кабакова, добившегося всего, о чем только может мечтать современный художник, не покрывает всех его качеств и характеристик. Такое впечатление, что, хотя сказано, нарисовано и проанализировано все, всегда остается

что-то ускользнувшее. То, о чем Кабаков многожды пишет как о возможности того, что образ все-таки не будет уловлен. При внешней ровности и интеллектуальности его произведений остается впечатление, что чего-то главного не сказано, что-то личное опущено...

Я был убежден, что такая моя интерпретация вполне материального, осязаемого для меня “нечто”, столь значительная и важная, была таковой только для меня одного, для моего восприятия. Я охотно допускал (а потому и обыгрывал), что мои “некие” предметы с иной, незаинтересованной, мимоходной, что ли, точки зрения (а она не менее правильна и весома, чем моя, призрачно, но истерически заинтересованная) выглядят как дикие, жалкие, мусорные вещи, неизвестно для чего сделанные и достойные быть выброшенными или разбитыми за ненужность.

Это состояние немого крика. В выставках художника, добившегося всего, сквозит ощущение одиночества и нереализованности. Хотел Кабаков того или нет, но его тексты обнажили вещи настолько базовые, что сердце радуется, как такое вообще может быть сказано словами. Это книга художника об искусстве, не о себе и не о других, а именно об искусстве. И в результате мы видим образ современного художника таким, каков он стал в ходе эволюции за последнее столетие. Нет больше места художнику-гению-творцу в скучновато-жестоким мире. Есть абсурдный, растерянный художник в сияющем мире произведений. Художник-наблюдатель, находящийся в диалоге с произведением-образом, живущим собственной жизнью по вечным законам сильного, сложного и великого искусства.



Сумасшедший дом на колесах, или Культурная альтернатива

Aia Emetai

Никчемный юнец Герман Фабрикант получает от дядюшки неожиданное наследство: деньги, дома, бриллианты и... труппу бродячего еврейского театра, состоящую из девиц-сироток, каждой из которых хорошо за шестьдесят. Происходит это невероятное событие в Черновцах в конце тридцатых годов прошлого века.

Надо сказать, что добрый дядюшка в своем завещании не ставит племянника перед дилеммой: театр или наследство, а только просит его позаботиться о знаменитом историческом кабаре профессора Фабриканта, просвещавшем на протяжении полусотни лет еврейскую Галицию и Буковину живыми картинами из мировой истории. Практичная мамаша юного Германа считает, что забота о вздорных актрисах пенсионного возраста должна состоять в том, чтобы поместить их в приличный пансион, а имущество, деньги и бриллианты следует пустить в дело под присмотром старшего брата, Аврума, самой природой приспособленного к увеличению количества денег, имущества и бриллиантов. Самому же Герману такое решение сулит спокойную жизнь безвестного поэта, наслаждающегося уютной атмосферой черновицких кофеен и собственным душевным разладом, к чему он, Герман, тоже полностью приспособлен собственным характером и всем предыдущим образом жизни. Но автор и Герман решают иначе, и историческое кабаре профессора Фабриканта отправляется в очередное турне, обделенный Аврум уезжает в Америку делать деньги, а алчная мамаша разругавшихся братьев превращается из достойной черновицкой дамы в свирепую гарпию, приводящую сына-ослушника и его старушенций к вполне реальной гибели.

От завязки драмы и до ее развязки мы успеваем выяснить, как покойный профессор Фабрикант создавал свой театрик, собирая талантливых сироток из еврейских детских домов в округе, как эти сиротки оказались в детских домах, как они дружили и ссорились на протяжении пятидесяти лет совместной жизни в труппе, которая заменила им семью, и почему ни одна из них так и не попыталась улизнуть из этого сиротского дома на колесах до последней минуты его существования. Впрочем, одна сиротка – мудрая Мими Ландау, фактический финансовый директор труппы при малопрактичном профессоре Фабриканте и его совершенно непрактичном наследнике, все же совершила бесчестное действие: умыкнула бриллианты и спряталась в Цюрихе, где ее нашел после войны американец Аврум. К своему удивлению, обделенный братец выясняет, что коварная воровка вовсе не сожалеет о похищении бриллиантов, поскольку считает, что они были ей положены в возмещение жизни, украденной бродячим театром. Жалеет она только о том, что не разделила страшную судьбу остальных членов труппы: не была с ними в дни отчаяния, связанного с принятием расистских законов, лишивших труппу имущества и возможности выступать, не помогла юному Герману избежать расставленных матерью-гарпией сетей и не оказалась на месте, чтобы решительными действиями спасти товарок во время погрома и спрятать их от рук нацистов. В общем, речь идет о достаточно обыденном сюжете из недавней еврейской истории, не слишком изощренно выписанном и интерпретированном. Автор не соотносит его со схожими сюжетами, уже заслужившими литературную известность, не раздувает значимость своих героев и героинь до мифологических размеров, но и не превращает их в

этическое ничто, не заходит в ностальгическом трансе и не пытается провести параллель между судьбой своих героев и героинь и трагедией европейского еврейства. Перед нами просто очень симпатичный рассказ о забавных приключениях провинциальных евреев Восточной Европы накануне второй мировой войны с тщательно вымеренной пропорцией смешного и трагического, не позволяющей произведению скатиться ни в мелодраму, ни в фарс.

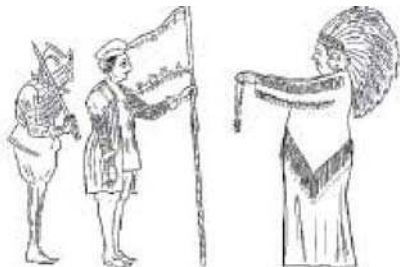
Вместе с тем невольно задаешься вопросом: с чего это молодой израильский автор занялся подобными приключениями, чем руководствовался, выписывая детали забытой жизни? А поскольку в тексте появляются Ида Камински и Ицик Мангер, начинаешь задумываться, не идет ли речь о каком-то реально существовавшем еврейском театре исторических миниатюр, давно забытом и не упоминаемом ни в одном обзоре театральных событий того времени? Возможно, автору достались архивные документы, которые он решил превратить в забавный и приятный для чтения художественный текст? С чего бы иначе один из самых удачливых молодых израильских книжных иллюстраторов, тель-авивец 1966 года рождения, выпускник знаменитой художественной школы “Бецалель”, автор забавных комиксов, признанный не только в Израиле, но и на всем пространстве Европы, член знаменитой международной группы создателей комиксов “Артус” и постоянный карикатурист самой крупной израильской ежедневной газеты “Едиот ахронот”, а также ведущий преподаватель известной своим авангардистским уклоном художественной школы “Шенкар” занялся галутной историей провинциальных старушек-актрис Буковины и Галиции?

Рассказ полностью выдуман, – обескуражил меня автор. – Не было никакой труппы профессора Фабриканта. Все началось в 2001 году с серии комиксов для газеты “Франкфуртер альгемайне”. Мне казалось забавным и политически правильным придумать именно для этой газеты серию комиксов, главными действующими лицами которой будут еврейские старики и старушки с ашкеназскими фамилиями, оставшиеся в живых после Катастрофы. Один из комиксов был посвящен молодому бездельнику, получившему в наследство труппу старушек, которых ему пришлось возить на гастроли по предвоенной Европе. Так появился сюжет романа. Правда, в комиксе историю этого театрала рассказывает уехавший в Америку брат Аврум, разбогатевший на написанной им книге под названием “Капитализм и ревматизм”.

И как же автор, прекрасно разбирающийся в конъюнктурных тонкостях израильского книжного рынка, решился выйти с первой книгой явно галутного содержания, на какую аудиторию рассчитывал, к кому обращался?

– Я происхожу из буржуазной семьи потомственных коммерсантов, – снова удивил меня автор. – У нас в доме не был принят классический социалистический тон, обязывающий к отрицанию старых порядков и галутного наследия. Я не религиозен, но уважаю еврейскую традицию. Галутный еврейский мир кажется мне смешным, но в то же время он мне глубоко симпатичен, и в каком-то смысле это мой мир. Вообще, мир, говоривший на идише, на мой взгляд, был гораздо более теплым и мягким, гораздо менее агрессивным, чем еврейский мир, говорящий на иврите. В этом смысле культура идиша все еще остается альтернативой ивритоязычной культуре. Я учил идиш пять лет, но к истории создания книги это отношения не имеет. Я писал не манифест, а роман о самой ткани той галутной жизни, о том, из чего она состояла. Пять лет ушло на изучение деталей, добываемых из самых разных источников, – от разговоров со старушками и старичками, свидетелями времени, до изучения исторических документов

Несмотря на столь тщательную подготовку, в тексте нет отсылок к знаменитому роману Шолом-Алейхема “Блуждающие звезды”. Кроме того, автор превратил Черновцы, считавшиеся важным интеллектуальным центром восточноевропейского галута, в глубокую и дремучую провинцию. В ответ на мой удивленный вопрос автор неожиданно рассмеялся.



– Ах, в истории написания романа было столько странных случайностей. Иногда мне кажется, что и возникали-то они не случайно. Я, конечно, читал Шолом-Алейхема, но именно этот роман ни разу не попался мне на глаза. Узнал я о его существовании, когда половина моей книги была уже написана. Узнал и ужаснулся: а вдруг сюжет совпадает? Купил “Блуждающие звезды”, но читать не стал. Прочел, когда мой роман уже вышел, и вздохнул с облегчением: совсем другая история.

И с Черновцами получилась забавная ситуация. Ничего меня с этим городом не связывает.

Мой отец родом из Варшавы, мать – из Вены. Я искал глубокую еврейскую провинцию. Дело в том, что у создателя исторического кабаре, квазипрофессора Фабриканта, была поначалу благородная просветительская цель – донести до необразованной публики ключевые события мировой истории. То, как все это превратилось в провинциальный кич, должно было стать одной из сюжетных линий романа. Поэтому мне нужна была примитивная, провинциальная среда. Румыния как раз подходила. Я заказал в “Яд ва-Шем” материалы о довоенной Румынии, но этого тома у них не оказалось. Взамен они прислали мне материалы о Черновцах.

С другой стороны, в любом, даже самом просвещенном месте существует “культура возле”... как это объяснить... Вот в романе есть персонаж, который жил возле Макса Фактора и потому продает косметические препараты, пользующиеся спросом. Один слой людей покупает косметику Макса Фактора, а другой – косметику человека, который жил возле Макса Фактора... Один театр – высокое искусство, а рядом с ним – тот, который возле... люди искусства второго ряда. Я писал о них, о второразрядной культуре.

– А как восприняли роман в Израиле? Кто основной читатель? Кого могут заинтересовать приключения довоенных провинциальных актрис пенсионного возраста?

– Приняли хорошо. Все рецензии положительные. Много просто положительных, но есть и очень положительные. Что до читателей – встречи с ними многочисленны и приятны. Средний возраст – от тридцати до шестидесяти плюс. Тридцатилетние принимают книгу лучше. Шестидесятилетние ностальгируют по прошедшему времени и хуже воспринимают иронию. Все же в основе произведения лежит комикс, а у комикса свои правила.

Остается добавить, что книга, разумеется, иллюстрирована автором. Иллюстрации забавные, но жесткий гротеск комикса смягчен авторской симпатией до уровня доброжелательной иронии. Как ни крути, а поиск прошедшего времени не хочет укладываться в эстетические рамки сиюминутности, и горький смех Шолом-Алейхема по поводу провинциального быта его современников не может не превратиться в мягкую усмешку молодого израильянина, видящего и в знаменитом авторе, и в его героях альтернативу агрессивной культуре современности.

Арсен Ревазов: “Два неба, как одно”

Беседу ведет Николай Александров



Арсен Ревазов родился в 1966 году в Москве. В конце 1980-х годов уехал в Израиль, в середине 1990-х вернулся в Россию. В 1995 году начал заниматься рекламным бизнесом, с 1999 года – интернет-рекламой. Один из учредителей и председатель совета директоров агентства Internet Media House Russia (ИМНО). Его дебютный роман “Одиночество-12”, вошедший по итогам книжного сезона – 2005 в десятку российских бестселлеров, переведен на 13 языков. Издательством “Ad Marginem” анонсирован новый роман Арсена Ревазова.

– Арсен, давай сначала поговорим о твоём первом и на сегодня последнем романе “Одиночество-12”. С чего вдруг ты решил писать не просто роман, а откровенный экшн?

– А так получилось, совершенно случайно. Я вообще не планировал ничего писать. У меня никогда не было желания становиться писателем. Я, конечно, в детстве написал несколько стихотворений, но не собирался заниматься литературной деятельностью. Но получилось так, что последние несколько лет...

– Это все в каком году происходило?

– В 2000?м. Получилось так, что вокруг меня случались вещи, прикольные, забавные.

Какие-то мысли, фразы отдельные, мордобои, всякие пьянки-гулянки. И все это не фиксировалось нигде и никак. Меня это расстраивало. Было такое чувство, что жизнь проходит, а следы растворяются, исчезают, не сумев даже толком отпечататься. А память у меня не слишком с этим справляется.

Дальше произошло со мной очередное приключение. Мы с другом пошли в казино, там страшно напились. Совершенно невероятно. Привели с собою такого какого-то полужнакомого. Совсем полужнакомого. Я его видел один раз в жизни или два.

Продолжили пить у меня дома. Все это было 30 апреля 2002 года, я это знаю на 100 процентов. Больше не помню ничего. Кроме того, что ко мне в девять часов утра пришли менты в полной боевой амуниции, в бронежилетах, с калашниковыми. Пнули меня автоматом в живот и сказали, чтобы я просыпался. Отчего я, конечно, офигел, и любой нормальный человек на моем бы месте офигел. Оказалось, что этот чувак, который с нами пришел, он к утру сел на измену, вышел на лестничную клетку, стал звонить всем соседям и говорить, что я взял его в заложники. Вызвали ментов, те приехали, увидели, что дверь открыта, что он просто пьяный, что у него белая горячка, побыли со мной минут 15–20, проверили документы и уехали спокойно. Но все равно, потрясение у меня было глубочайшее. Когда в девять часов утра с тяжелейшего похмелья тебя будят автоматчики – это действительно некое событие.

Придя в себя ближе к вечеру, я решил, что это надо записать. Потому что это история. И записал. Потом увидел, что чего-то не хватает – и ввел труп с отрезанной головой. Ну, написал, сцена и сцена. Потом перечел, понравилось: а что, все так круто идет, так бодренько написано, живо. Подумал: а откуда отрезанная голова? И начал придумывать приквел к этой сцене – она оказалась потом главой 13, по-моему... Последняя глава первой части. К ней придумывался приквел с нашей жизнью, с нашими реалиями, героями.

В общем, я написал три или четыре главы запоем, за неделю. И отправил без читки, без редактирования друзьям, Аркану (Кариву. – Н. А.) в частности, который уже к тому времени роман написал и считался специалистом. Он прочел, сказал: здорово, круто. То есть, конечно, плохо написано, ты все это перепиши, но так – бодро, весело. Кому-то еще показал. Мне сказали: реально клево, интересно, пиши.

Начал писать дальше. Оказалось, что это затягивает. Придумывать вселенную дико интересно оказалось, фантастически интересно. Все это выстроить, состыковать. Дальше – мне же было что сказать, что-то накопилось. Какая-то музыка, которую я любил, вставлялась в роман более или менее легко. Я решил, что у меня будет роман с саундтреком. Анекдоты какие-то, то есть все, что я люблю и что меня окружало, что было частью моей культурной биографии – все попало в это роман. Ну, я, например, учил латинский, специально брал уроки...

– Отсюда возникла тема Рима, Ватикан?

– Да. Я очень люблю Умберто Эко – здесь и его влияние. В общем, багаж, который был накоплен, достаточно аккуратно ложился в канву некоего боевика. Но это ведь не совсем боевик. Там есть и детектив, есть и наша жизнь. Я почувствовал к концу первой части, что это какая-то симфония. Есть одна нитка, другая, все это должно как-то звучать, одна мелодия, другая, они как-то поднимаются, опускаются, уходят. Вот так получался некоторый текст.

Дальше мне это надоело. Третья часть была написана совсем плохо. Не было финала. Я же не знал, чем кончится роман. То есть, написав две части, я понятия не имел, чем кончится третья. Все как-то происходило спонтанно, герои жили своей жизнью. Или я прочел какую-то книгу – тут же включал это в роман. Так все и двигалось.

Получился почти готовый текст. Я отправил его одному критику – не буду называть его имени. Тоже через друзей. И спросил его: что мне с этим делать? На что он честно мне сказал: с этим сделать ничего нельзя вообще, это абсолютно безнадежно, неинтересно, скучно. Все пытаются написать книгу, не ты первый, не ты последний, не расстраивайся, займись своим бизнесом. Я даже не слишком расстроился. Хотя расстроился.

А на работе люди знали, что я что-то пишу. Поскольку время от времени из принтера выходили какие-то распечатки, я что-то вычитывал, правил. И один из моих сотрудников, Олег Николаев, спросил: “Слушай, а можно я почитаю вот эту фигню, которая лезет из принтера?” Я говорю: “Да, конечно, забирай”. Он прочел, сказал: “Офигенно, мне дико нравится”. Я отвечаю: “Да нет, шансов никаких, мне один критик сказал, что бесполезно, а он специалист”, – он правда реальный специалист. На что Олег сказал: “Слушай, у меня есть знакомые в „Ad Marginem,,”, можно я им покажу?” “Что мне, – говорю, – жалко что ли, покажи”.

Ну, там прочли первые 15 страниц, поняли, что оторваться нельзя, вызвали меня, спросили, могу ли я переписать третью часть. Я сказал: “Конечно, могу ради вас”. И переписал, сократил, что-то выкинул. Ведь у меня не было чувства меры – когда остановиться, когда чего, композиция романа складывалась достаточно случайно. Почему и финал получился такой скомканный. Они сказали: “Ну все, берем, это будет бестселлер, не сомневайся”. Я говорю: “Это вы великие, делайте что хотите”.

– А почему Дема Кудрявцев говорит, что Ревазов пишет, внимательно изучив рецепты изготовления бестселлеров?

– Не знаю. Ничего такого не было. Естественно, я изучал то, о чем пишу. Если я писал феней, то читал книжки, сам делал обратный словарь (которого нет). То есть я изучаю материал, например, расписание поездов. Если у меня герой едет на поезде из Казани в Киров, то, разумеется, такой поезд существует. А если не сходилась по времени, то у меня поезд опаздывал на четыре часа. То есть точность в деталях вот такая. А о детективах я ничего не знаю. Если уж брать образцы, то это скорее “Три мушкетера”, “Одиссея”, Умберто Эко, которого я знаю и люблю, Довлатов.

– Роман многими был воспринят как наш ответ Дэну Брауну...

– Это гениальная идея редакторов “Ad Marginem”, которые сказали, что если мы ни к чему его не привяжем, то и читать роман не будут. Брауна я не читал.

– А в финале многоточие почему – потому что не хотел завершать роман или не знал, как завершить?

– А и то, и то. С моей точки зрения, эта история принципиального конца не имеет. Естественно, я рассчитывал на продолжение. У меня даже первая глава второго романа написана и напечатана в одном из переизданий “Одиночества-12”. Но это отдельная тема.

Мне кажется, что финал принципиально задумывался как ничья. И, если говорить футбольным языком, это значит, что будет дополнительное время. И второй роман я хотел сделать таким овертаймом.

– На сегодня второй роман – это реальность?

– Да, но он будет другим от начала до конца. В этом засада.

– Но с теми же героями?

– Не факт. Я нахожусь сейчас на перепутье. Конечно, там будут те же герои, но не факт, что они будут основными. Они будут участвовать в одной или, допустим, в трех главах, другие герои как-то с ними пересекутся, сдружатся, поругаются...

В следующем романе будут другие темы и по-другому поданные. Например, там появятся квантовая физика, космология, теория Большого взрыва – то есть все, что знает современная физика про Вселенную. Потому что это будет роман в том числе о том, как устроен мир, чего совершенно не было в первом романе. Там по-другому будет решена музыкальная тема. Там возникнет тема поиска некоторого конкретного предмета, который является как символом мироздания, так и прибором. Отсюда у героев появится некая цель. Там будет черная археология, всякие приколы. Непонятно, что делать с женскими персонажами. У меня очень много нерешенных вопросов, тема любви толком не раскрыта. То есть некоторые хорошие романтические сцены есть, но не более того.

– Как будет называться роман?

– “Два неба, как одно”. Плохо звучит. Вот это “как”. Но...

– Арсен, скажи, а вот израильское существование, с точки зрения творческого импульса, для тебя ценно было?

– Ну, там моя молодость прошла. Я там прожил с 23 до 28 лет. Там у меня любовь, друзья. Всё там. Там я встал на ноги. Я уехал от родителей, из собственного дома.

Приехал – не было ни знакомых, ничего. Естественно, это дико сказалось. Израиль – страна совсем непростая. Иерусалим, где я основное время прожил, город очень странный. Конечно, на мне это отразилось.

Сама атмосфера Иерусалима тех лет была волшебной. Она была пронизана и любовью, и мозгами, и литературой, и искусством. Была настоящая богема. Все жили бедно, жили в долг. Ну, все как положено... Это кончилось. Все разъехались, остепенились, разбогатели. Тогда все было очень напряженно, очень нервно, прозрачно, воздушно, зыбко, неустойчиво. Было потрясающе!

– Это было случайное решение – уехать в Иерусалим?

– Уехать в Израиль было решением не случайным, потому что я себе плохо представлял жизнь при коммунистах. Мои родители не уехали, потому что их держали всякие закрытые допуски. А у меня ничего этого не было, и я решил уехать, как только смогу, – и уехал. Ну а потом стало понятно, что единственное место в Израиле, где можно жить, – это Иерусалим.

– Определенного занятия, как я понимаю, поначалу не было?

– Нет. Сначала я доил коров, потом выращивал помидоры, полел кактусы, потом год учился в университете, потом начал издавать книжки и с этого жить (ну, хоть как-то жить, потому что русские книжки издавать в Израиле – это дело специфическое). Потом мой бизнес накрылся и я уехал в Москву.

– А что было для тебя главным в Иерусалимском литературном клубе?

– Клуба как такового не было. Была тусовка. Ну да, мы тусовались постоянно. Все время встречались, трепались, общались, выясняли отношения, спорили, ругались, мирились, пили, гуляли, соблазняли девушек. В общем – была настоящая жизнь. Там я и с Генделевым познакомился. Со всеми познакомился. С Арканом. А потом я уехал. Денег не было катастрофически, были долги. А расплатиться с долгами можно было, только уехав в Россию. Я вернулся. И здесь тоже все начал с нуля.

Периодика в фокусе

Евреи в Галиции. Оконченный роман?

Независимый культурологический журнал “Г”
Гебрэйський усе-світ Галичини, 2008, № 48
Гебрэйський Львів,
2008, № 51



Львовский журнал “Г” – из тех высоколбых изданий, что не обременяют собой газетные раскладки или киоски “Пресса”. Его место – в “рафинированных” книжных магазинах, университетских библиотеках и украиноязычных интеллектуальных салонах. Каждый номер журнала, отражающего “галицкий

интеллектуальный дискурс”, посвящен отдельной проблеме, будь то “Насилие, власть, террор”, “Гендер, эрос, порно” или “Украина–ЕС: перезагрузка”. К еврейской теме “Г” впервые обратился еще в 1996-м, посвятив ей выпуск “Україна і юдеї, гебреї, євреї”.

И вот – с промежутком буквально в несколько месяцев – два новых “еврейских” номера. В предисловии к первому редактор журнала, культуролог, политолог и главный львовский интеллектуал Тарас Возняк рассуждает о формировании специфического еврейского субэтноса – “галицких жидов”. Легитимность слова из трех букв оправдывается тем, что “жид” не имеет в украинском языке отрицательной коннотации. Это почти правда.

Почти, потому что вряд ли издатели не понимают, что в стране, частью которой Галиция стала в 1939-м, слово это воспринималось во вполне определенном контексте. Вряд ли не понимают они и того, что национальным языком украинских евреев (плохо это или хорошо – другой вопрос) сегодня является русский, как, скажем, национальным языком большинства чешских, венгерских (и, кстати, галицких) евреев в начале прошлого века был немецкий.

Впрочем, столь спорная позиция не сказалась на высоком качестве журнала. Академическим в полном смысле слова его не назовешь, но охват феномена впечатляет – от прав иудеев в Австро-Венгерской империи и реформ Иосифа II до одежды украинских евреев XIV–XVII веков, музыкальной культуры шетлов и архитектуры “еврейской” улицы.

Особого внимания заслуживает военная тематика, в частности небольшой материал о евреях в Австро-Венгерской армии. Перед первой мировой, например, евреи составляли 17% офицеров резерва (при доле населения в 4,4%), а в ходе войны 25 из них дослужились до генеральского звания. Рассказывают, что фельдмаршал-лейтенант Эдуард

Риттер фон Швайцер регулярно посещал синагогу и соблюдал кашрут даже на обедах у императора. Еще увлекательней читается хроника Еврейского пробойового (ударного) батальона Украинской Галицкой армии, который, наряду со знаменитым Отрядом погонщиков мулов, относят к первым еврейским воинским формированиям Нового времени. Так называемый “Жидівський курінь”, насчитывавший к 1919 году 1200 бойцов, нанес несколько поражений как польской армии, так и большевистским частям. Вообще, вся недолгая история Западно-Украинской народной республики – яркий пример совпадения украинских и еврейских национальных устремлений и интересов. Например, лидер галицких сионистов Леон Райх добивался создания в Восточной Галиции нейтрального государства под контролем Лиги Наций. В проекте конституции Галицкой республики предусматривались выборы по трем национальным куриям – один из вице-премьеров должен был быть поляком, второй – евреем, а президент – украинцем. Изюминка второй части номера – в очень оригинальной (браво редакторам) структуре. Каждый из шести разделов интеллектуального путеводителя по еврейской Галиции “персонифицирован”, например: “Дорога к Паулю Целану”, “Дорога к Бруно Шульцу”, “Дорога к Йосефу Агнону” и т. п. Разделы в свою очередь разбиты на главки – описания населенных пунктов. Названия этих бывших штетлов известны гораздо меньше, чем имена их знаменитых уроженцев. Например, один из основоположников европейской школы психоанализа, ученик Фрейда, скандальный (чего стоит основание “Немецкого имперского союза пролетарской сексуальной политики”) Вильгельм Райх родился под Перемышлянами. Кстати, и корни самого отца психоанализа недалеко от этих мест – в Тисменице (под Ивано-Франковском), где родился его отец Яков Фрейд, а дед Шломо занимался торговлей мануфактурой. В горах между Косовым и Кутами, в пещере, семь лет прожил в молитвах Бааль-Шем-Тов; Дрогобыч – родина известного художника Эфраима-Моше Лициена и Бруно Шульца; Броды, на границе Волыни и Галиции, подарили миру выдающегося писателя Йозефа Рота, из Золочева подо Львовом – Нафтали Герц Имбер, автор “Атиквы” (хотя об этом, главным, факте его биографии в “Г” почему-то ни слова).

Среди других (вполне простительных) недочетов – небольшая путаница в ивритском переводе топонимов и несколько навязчивый “хвост” после упоминания каждого исторического персонажа или термина в виде латинского и ивритского вариантов его написания. Впрочем, последнее может обернуться и плюсом, если пытливый читатель решит поискать дополнительную информацию в Интернете.

Второй “еврейский” номер открывается предисловием соредатора Ирины Магдиш – “словом на захист галицьких жидів і редакції журналу „I,“. Защищать журнал, по словам автора, пришлось от “звонков иноязычных дамочек, суть претензий которых сводилась к одному: „а за жида атеветишь,“. Не возвращаясь к трехбуквенной теме (см. выше), отметим только, что, судя по материалам “Г”, далеко не все его авторы и переводчики столь лексически радикальны. И если публикации г-жи Магдиш действительно пестрят “жидами”, то большинство ее коллег довольствуются “искусственными” для украинского языка “евреями”. Собственно, и в названиях обоих журналов используется высокопарное “гебрейський”.

Вполне оправданно треть номера занимают “Очерки еврейской истории Львова” Владимира Меламеда, написанные в середине 1990-х. Читательно, лаконично и весьма познавательно. Особенно интересен период 1867–1914 годов – эпоха расцвета львовского еврейства, когда евреи составляли около 70% всех адвокатов города, около 60% врачей и 70% членов торгово-промышленной палаты. Треть студентов Львовского университета были евреями. На политическом поприще успехи были скромнее, хотя в

десяти городах Галиции, в частности в Бродах и Стрые, в конце XIX века евреи занимали посты бургомистров.

Характерно для той поры сближение украинцев и евреев на фоне еврейско-польских противоречий. Один из ближайших сподвижников Герцля Натан Бирнбаум отмечал, что “среди всех европейских народов только украинцы не принимали участия в создании грандиозной всемирно-исторической неправды против евреев”. “В лице евреев украинцы находят сильного и независимого товарища, который защищается от ассимиляции, враждебной также и украинцам”, – подчеркивал будущий генсек Агудат Исраэль.



Говоря об украино-еврейском романе (весьма, впрочем, кратком), нельзя не упомянуть фигуру Якова Оренштайна – владельца издательства “Галицька накладня”, которое практически монополизировало книжный рынок Галиции, напечатав 120 томов украинской и зарубежной классики. Более того, уже в эмиграции Оренштайн поддерживал контакты с правительством Петлюры, основав в Берлине издательство “Українська накладня”.

Роман закончился 5 сентября 1924 года. Тогда в карету польского президента Войцеховского, посетившего Львов, была брошена бомба, которая, правда, не взорвалась. Полиция арестовала еврея Станислава Штайгера, случайно оказавшегося на месте преступления. Через три дня подпольная Украинская военная организация (УВО) взяла на себя ответственность за теракт, направив в газету “Хвиля” соответствующее заявление, которое полностью снимало обвинения со Штайгера. Тем не менее он провел в тюрьме 15 месяцев и был освобожден лишь после подписания еврейскими лидерами соглашения с польским правительством, предусматривавшего еврейско-польское примирение. Украинцы, разумеется, усмотрели в этом измену общему делу, газета “Діло” прямо писала, что соглашение “стало могилой жидівського емансипаційного руху”.

Небезынтересен ряд статей о еврейском Львове выдающегося историка Маера Балабана, погибшего в Варшавском гетто. Возглавляя на протяжении целого десятилетия раввинскую семинарию Тахкемони, Балабан пользовался огромным авторитетом среди духовных лидеров польского еврейства. Многие из них летом 1939-го повторяли его слова, что войны не будет. Еще в конце августа он упрямо твердил: “Не верьте, что война неминуема”. Когда через три года, уже в гетто, ему напомнили об этом, основатель Института еврейских исследований с горечью признал: “Это была самая большая моя ошибка в жизни”. Что ж, великие историки нередко оказывались плохими пророками. Даже их эта своенравная дама ничему не научила...

Судьбу Балабана разделил и Максимилиан Гольдштейн – еще один фигурант альманаха. Хранитель собрания львовского Еврейского музея, он примерно до осени 1942 года пользовался, благодаря главе Отдела науки и образования А. Регге, статусом квалифицированного специалиста, другими словами – “полезного еврея”. Холокост,

однако, пережила в запасниках (и то частично) лишь коллекция Гольдштейна, сохранению которой он отдал свою жизнь.

Авторы сознательно ограничили хронологические рамки сборников периодом до середины второй мировой. Ибо рассуждать о “еврейском” Львове после Холокоста можно лишь с большой натяжкой. Большой (150 тыс. человек – треть населения Львова!) и неоднородной общине не помогли ни польский патриотизм, ни проукраинские симпатии. Первый погром, унесший жизни тысяч евреев, был учинен местным населением на следующий день после вступления в город немецких войск. А потом... “Потом” у “эмансипированных” и ортодоксов, социалистов и ревизионистов, хасидов и реформистов было общим, точнее, не было у них этого “потом”. Сегодня во Львове осталось меньше 2000 евреев. Кому-то нравится называть их “жидами”. Дело вкуса.

Михаил Гольд

Слова и формулы

Шолом Аш

ЗА ВЕРУ ОТЦОВ

М.: АСТ; Зебра Е; Владимир: ВКТ, 2008. – 656 с. Пер. с идиша Исроэла Некрасова

М.: Книжники, 2008. – 224 с.

(Серия ”Проза еврейской жизни”)



Шолом Аш относится к тем писателям, которых лучше поменьше переиздавать – ради их же репутации. Судите сами, чуть ли не сто лет существовала благоуханная легенда о великом писателе, идишском классике, многолетнем претенденте на Нобелевскую премию, а что его по-русски читать нельзя, так это неумелые переводчики начала XX века все испортили. И то сказать – школы переводческой как таковой тогда еще не существовало, переводы в массе действительно были вполне дилетантскими, не то что Шолом Аш, но и русский Данте той поры выглядит совершенным ремесленником, и непонятно, с чего это весь мир им так восхищается. Но вот на рубеже XX–XXI веков на волне интереса к еврейской культуре в России

начинали заново переводить Аша – и немедленно выяснилось, что прозаик он был более (вернее, менее) чем средний и профессионализм переводчиков тут ни при чем. Вот и очередной его роман “За веру отцов” (в оригинале – “Кидуш а-Шем”, традиционный русский перевод заглавия – “Во славу Б-жию”), несмотря на качественную работу переводчика Исроэла Некрасова, откровенно слаб.

Состоит он из двух компонентов – собственно романная линия (немного местечкового колорита, немного трепетных глазок и коралловых губок, призванных обозначать любовную коллизию) плюс беллетризованные свидетельства еврейских хронистов о погромах времен хмельниччины. Причем “беллетризованные” – это еще щадяще сказано. Если положить рядом, скажем, самую известную еврейскую хронику, описывающую события “гзерот тах”, “Пучину бездонную” Натана Ганновера, или “Тяготы времен” Мейера из Щебржешина, и роман Аша, то найти десять отличий при описании резни в Немирове или в Тульчине едва ли сможет и самый заядлый отгадчик шарад.

В этом стремлении вышивать по чужой канве, впрочем, нет ничего странного – своего строительного материала у романиста явно не хватает. Виктор Шкловский в одной из ранних теоретических работ пересказывает арабскую сказку, герой которой, ограбленный и раздетый донага разбойниками, взошел на гору и в отчаянии “разорвал на себе одежды”. Так, комментирует Шкловский, живые некогда слова окаменевают, становятся мертвой формулой. Аш тоже работает не с живыми словами, а с готовыми формулами, клише. Упоминает он, допустим, реб Янкева Коэна из “маленького немецкого городка, разрушенного из-за навета на тамошних евреев” – “только реб Янкев спасся”. А через пару страниц читаем о том же реб Янкеве: “Свиток Торы – единственное, что осталось у него от семьи, от целой общины, разбросанной теперь по всему свету”. Так вырезали немецкую общину или она рассеялась по миру? Неважно, ведь и то и другое не реальные события и не живые эмоции, а лишь формулы для описания горестного положения европейского еврейства XVII века.

Парадоксально, но факт: в поисках строительного материала для своего романа Аш обращается даже к идеологическим противникам. Главный герой, корчмарь Мендл из Злочева, арендует православную церковь. Комментатор с удивлением констатирует, что факты взятия евреями в аренду православных церквей, широко использовавшиеся в антиеврейской пропаганде, никакими документальными источниками не подтверждаются.

В сухом остатке получаем роман мало того что предельно ходульный, но еще и абсолютно внешний. Не случайно столько места Аш уделяет описанию убранства синагоги, женских украшений, ярмарочных товаров. Герои же лишены не только психологии, но и вообще хоть какой-нибудь индивидуальности. Если уж учиться у идеологических противников, то отчего бы тогда не у Гоголя? Но увы, наш ответ “Тарасу Бульбе” явно не получился.

АллМихаил Эдельштейн

ЖЕНЩИНА, НЕ ПОЖЕЛАВШАЯ ОСТАВАТЬСЯ ТЕНЬЮ

Вирджиния Хаггард

**Моя жизнь с Шагалом.
Семь лет изобилия
М.: Текст, 2007. – 224 с**



Автор книги – Вирджиния Хаггард (1914– 2006) – безусловно, незаурядная личность. Отказавшись от блестящей светской будущности, предназначенной ей рождением (отец был английским дипломатом), она предпочла непростую жизнь свободной художницы, училась в Париже у Билла Хейтера, общалась с Максом Эрнстом и Альберто Джакометти, а во время войны оказалась в Нью-Йорке, имея на руках пятилетнюю дочь и мужа-художника, погруженного в тяжелую депрессию, усугубляемую длительной безработицей. Дочь Марка Шагала Ида, почти ровесница Вирджинии, пригласила ее исполнять роль экономки в доме своего отца, глубоко переживающего недавнюю смерть любимой жены – Беллы. Очень скоро Вирджиния стала гражданской женой Шагала, родила от него сына Давида, прожила с ним семь лет, а в 1952 году навсегда оставила художника, через четыре месяца после ее ухода связавшего себя узами теперь уже законного брака с Валентиной Бродской.

Как ни странно, открывая книгу с желанием узнать побольше о Шагале, очень скоро начинаешь с не меньшим интересом следить за перипетиями жизни Вирджинии, за развитием ее отношений с близкими, потому что рассказчица умна, и драматическая интрига этой женской судьбы излагается с большим тактом и художественным мастерством. Чувство собственного достоинства, вследствие которого Вирджиния не пожелала превращаться в тень мастера, стало одной из причин ее ухода от Шагала. Вирджиния Хаггард явно знала и помнила о нем гораздо больше, чем сочла возможным сообщить другим. Но и сказанного ею довольно, чтобы читатель представил себе Шагала-человека (“он никогда не осмеливался признать себя счастливым, словно боясь накликасть беду”): по-детски жаждущего восхищенных взглядов и слов, ревнивого к славе Пикассо и Матисса, ранимого и ранящего, так и не научившегося говорить по-английски и водить машину, одинаково любящего и уединение, и поездки в Нижний Манхэттен, где жили евреи первой волны эмиграции – “где все говорили на идише, где он покупал фаршированную рыбу, штрудель и газету „Форвертс,,”. Вирджиния умела понимать и

мистическую природу дара Шагала, напоминавшего ей во время работы даосского мастера, занятого поиском тайны (“Марк в самом деле видел взбирающихся по лестницам рыб и растущие вверх корнями деревья, пока разум не возвращал его к действительности”), и безжалостный деспотизм славы, лишаящей художника свободы. Вспоминая его слова – “если бы я был абсолютно свободен <...> я провел бы остаток жизни, рисуя мою Библию”, она комментирует: “Следовало бы спросить, почему Марк считает себя недостаточно свободным, чтобы немедленно осуществить это желание”.

ÀëÏ èõàëÿ Yääüöòáí

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Илья Зданевич [Ильязд]

Философия футуриста: Романы и заумные драмы М.: Гилея, 2008. – 840 с.



На первый взгляд нет никакого смысла рецензировать в “Лехаиме” громадный том выдающегося русского футуриста Илья Зданевича, прославившегося своими заумными драмами из пенталогии “пятерка действ”, куда входят произведения типа “Янко круль албанскай” или “Ле Дантю фарам”, созданные между 1915 и 1923 годами и изданные в Тифлисе или в Париже.

Конечно, факт издания редчайших авангардных текстов, ставших наконец доступными не только обладателям коллекций футуристической книги, знаменателен и сам по себе. Однако наш интерес в другом. “Гилейский” том содержит впервые печатаемый по рукописи роман “Философия” о революции, Гражданской войне и раннем послевоенном времени. Текст этот написан примерно в 1929–1930 годах и никакой зауми не содержит. Это действительно философский роман, призванный осмыслить то, что произошло с Россией в начале XX века. В нем множество разговоров и обсуждений различных аспектов бытия России, отсылающих ко всей русской философской традиции – от ранних славянофилов и Федора Тютчева с его идеями построения единой Славянской империи под короной русского царя до Владимира Соловьева и даже Алексея Лосева.

Однако центром всего романа является мистическое путешествие героя-автора Ильязда через всю белую и советскую Россию в Константинополь, владеть которым так стремилась Российская империя на протяжении всей ее истории. В ходе этого путешествия Ильязд встречается с человеком, который всем своим поведением, разговорами и т. д. стремится показать, что является Мессией. Но из еврейской истории мы знаем, что в Константинополь приходил знаменитый лжемессия Шабтай Цви, и именно в этом городе, уже увлекший за собой массы последователей, евреев и христиан, он под угрозой смерти принял ислам.

Этот историко-религиозный подтекст проступает на всем протяжении романа, в “Философии” упоминается даже имя Шабтая Цви. Однако конструкция романа Зданевича куда сложнее. И сложность эта обусловлена, прежде всего, исторической реальностью того времени. Ведь и в самом Константинополе, и на Принцевых островах, и на

Галлиполи разворачивались тогда судьбоносные для всей мировой истории события. На Галлиполи, к примеру, был когда-то лагерь сторонников Шабтая Цви. Теперь же здесь оказались и русские беженцы, и даже сионисты из Еврейского легиона Жаботинского, а недалеко отсюда – сторонники изгнанного красного лжепророка Льва Троцкого. Все это в сочетании с окружающими острова знаменитыми мечетями и бывшими христианскими храмами провоцировало мистическое осмысление событий 1920-х годов.

И тут Ильязд, не только выдающийся авангардист, но и крупный византолог, исследователь храмовой архитектуры Черноморского побережья и константинопольской Софии, ставшей мечетью (что немаловажно в связи с Шабтаем Цви), решил разработать новую сюжетную линию. Он придумал историю про неких евреев, которые прячутся в каменных гробах под Айя-Софией, чтобы в какой-то момент взорвать ее и не дать возникнуть месту лжемессиянского поклонения, противостоящему Иерусалиму. В свою очередь мусульмане охраняют свою святыню от посягательств не только евреев, но и русских офицеров-эмигрантов, которые, в полном соответствии с имперскими целями рухнувшей державы, хотят восстановить на константинопольской Софии крест.

Заканчивается все предсказаниями Ильязда о том, что к Софии приближаются большевики. Чуть позже, уже во время второй мировой войны, нечто подобное хотел сделать Сталин, однако – видит око да зуб неймет. Иерусалим, как и предвидел Владимир Соловьев, стал столицей еврейского государства, а вот Антихрист, предсказанный в “Краткой повести” о нем, все еще не пришел. Впрочем, если и придет, то, по Соловьеву, его поддельность, т. е. необрезанность, разгадают евреи и восстанут против лжемессии. Но будет это все же не в Стамбуле, а на Святой земле. Что же касается последователей Шабтая Цви, то они, кажется, продолжают жить примерно там, где застал их когда-то Ильязд. *АллМихаил Эдельштейн*

ЖАБОТИНСКИЙ В БЕССАРАБИИ

Я.М. Копанский

Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918–1940 гг.)

Кишинев: Высшая антропологическая школа; Институт культурного наследия АН РМ, 2008. – 369 с.



Вышла в свет монография Якова Михайловича Копанского – известного историка, ушедшего от нас в 2006 году. Ее появление заставляет лишний раз задуматься о соотношении еврейской политической и общественной жизни на бывших окраинах Российской империи и на территории СССР в период между 1917 годом и началом второй мировой войны.

Достаточно сопоставить хотя бы многочисленные работы последних лет, посвященные деятельности Культур-лиги, где основное внимание уделяется ее достижениям в развитии еврейского искусства, театра, педагогики и т. д., с подзаголовком соответствующей главы монографии Копанского – “Сложности сионистов во взаимоотношениях с „Культур-лигой,“. Хорошо, казалось бы, исследованное объединение характеризуется здесь как центр просоветского коммунистического подполья – каковым оно, собственно, и являлось. И без учета этого невозможно дальнейшее изучение существования “Культур-лиги” на пространстве от Киева до Кишинева, от Варшавы до Нью-Йорка.

Другим “мостом” между сионистами Бессарабии и подсоветскими евреями оказывается соратник Герцля и лидер бессарабских сионистов доктор Яков Коган-Бернштейн. Несмотря на обещания Хаима Вейцмана, Когану-Бернштейну так и не нашлось места в новой Палестине, и, не найдя работы ни в “Адассе”, ни в больничной кассе, он был вынужден переехать в одну из колоний на Украине, где и скончался в мае 1929 года.

Многие лидеры бессарабской общины были связаны с сионистами Одессы либо просто перемещались из одного центра сионистского движения в другой. И здесь хотелось бы обратить внимание на одну из самых ярких глав книги, которая называется

“Активизация деятельности сионистов-ревизионистов”. Эта часть работы Копанского заполняет существеннейшую лакуну в биографии и библиографии Зеэва Жаботинского.

Наибольшая активность Жаботинского в Бессарабии пришлась на годы борьбы за освобождение его соратника Авраама Ахимеира, облыжно обвиненного в убийстве профсоюзного деятеля Хаима Арлозорова, международной травли-ревизионистов и знаменитой петиционной кампании за разрешение въезда евреям в английскую подмандатную Палестину.

Несмотря на то что Жаботинский явно не был героем романа Копанского, его роль и место в межвоенном сионистском движении описаны в монографии честно и адекватно. К сожалению, смерть не позволила исследователю проанализировать петиционную кампанию в Бессарабии – книга обрывается на том месте, до которого успел довести ее автор. Однако теперь у историков бессарабского еврейства есть задача, которую завещал им виднейший историк в своей закатной книге

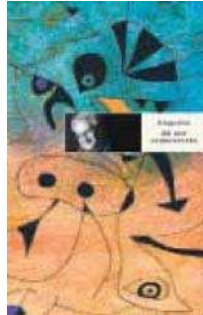
Леонид Кацис

80 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Игорь Кон

80 лет одиночества

М.: Время, 2008. – 232 с.



Среди полутора сотен научных, научно-популярных и научно-публицистических книг, выпущенных в разных странах мира известным обществоведом Игорем Семеновичем Коном за последние полвека, не было, пожалуй, только одной: о самом И.С. Коне. И вот в год восьмидесятилетия ученого такая книга им написана. Это не столько мемуары в чистом виде, сколько сплав воспоминаний о себе (а также о родных, коллегах, учениках, обстоятельствах), скрупулезного отчета “о проделанной работе” и общих рассуждений о дисциплинах, которые он осваивал в течение жизни. Родившийся недоношенным и выросший без отца, Игорь Кон с детства проявлял чудеса витальности. Мог погибнуть, но все-таки выжил. Мог навсегда остаться инвалидом, но переборол недуги. Мог попасть под каток “борьбы с космополитизмом”, однако повезло. “Из моих близких никто не был репрессирован, – читаем в книге, – но я на всю жизнь запомнил, как в 1937 году у нас в комнате, на стенке, карандашом, незаметно, на всякий случай, были написаны телефоны знакомых, которым я должен был позвонить, если мою маму, беспартийную медсестру, вдруг арестуют”.

В пятнадцать лет студент, в двадцать два – дважды кандидат наук, Кон был честолюбив, азартен и не боялся трудностей. Не оставили в Ленинграде? Ладно, он поедет преподавать в Вологду. Не взяли в штат “Вопросов философии” (кадровик Академии наук спросил о национальности отца – после чего вакансия схлопнулась)? Хорошо, он пойдет на полставки в Химико-фармацевтический.

“Если бы не социальная маргинальность, связанная с еврейской фамилией, закрывавшая путь к политической карьере и способствовавшая развитию изначально скептического склада мышления, из меня вполне мог бы вырасти идеологический погромщик или преуспевающий партийный функционер”, – признается автор. Тем более что “положение еврея-философа, которому разрешали работать на идеологическом факультете в условиях жесткого государственного антисемитизма, было крайне деликатным и уязвимым... Страх потерять положение и место заставлял некоторых ученых-евреев симулировать гораздо большую ортодоксальность, чем это было им свойственно или объективно необходимо”. Его самого, однако, никто бы не рискнул назвать догматиком: ученый быстро прошел путь от начетчика-сталиниста, компилирующего цитаты из “вождя народов”, до самостоятельного исследователя, не

боящегося острых тем и непроторенных дорог.

Его “Социология личности” (1967) стала бестселлером: автор открыл дверь в прежде закрытую – по идеологическим причинам – область научного знания; критика казарменного коммунизма была, по сути, критикой советской действительности. Философ, этнограф, историк, антрополог, Кон отважно нарушал запреты. Мир, жестко поделенный на своих и чужих, был для него неприемлем. Понять другого, посмотреть на другого незашоренным взглядом – эта проблема всегда была близка Кону-ученому и Кону-публицисту. Не случайно он опубликовал в “Новом мире” у Твардовского знаковую статью “Психология предрассудка” (1966), где едва ли не впервые в подцензурной печати затронул вопрос “природы, социальных истоков и психологических механизмов антисемитизма и вообще этнических предрассудков”.

Национальная самоидентификация автора, как и у многих русских евреев, возникла “от противного”. “Я почувствовал себя евреем, хотя к еврейской культуре, в отличие от некоторых своих товарищей, так и не приобщился, – пишет мемуарист. – Зато у меня появилась нетерпимость к любой ксенофобии и чувство солидарности с ее жертвами. Не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе! Это чувство я считаю одним из самых ценных человеческих качеств”. Кон отстаивал право на жизнь молодежных субкультур, вступался за рок-музыку, требовал толерантности к секс-меньшинствам, ратовал за реформирование советской педагогики и введение сексуального просвещения.

В стране, где, по известному признанию героини телемоста, “секса не было”, коновское “Введение в сексологию” (1988) пробивало брешь в многолетнем табу. Не ограничившись ролью первопроходца, Кон опубликовал с тех пор еще немало книг и статей, прочел сотни лекций на эту тему. Его оппоненты вели с ним не только научную полемику: однажды к двери квартиры подбросили муляж взрывного устройства, а на самой двери намалевали звезду Давида. “Ни тревожиться, ни беречься я не стал, а спокойно продолжал работать, – пишет мемуарист. – Звезда Давида красуется на дверях по сей день, напоминая мне и моим гостям, в какой замечательной стране мы живем”.

Алла Солопенко

ГЕНЕТИК СРЕДИ ГУМАНИТАРИЕВ

Виктор Гиндилис

Эпизоды из советской жизни:

Воспоминания

М.: ОГИ, 2008. – 264 с.



Виктор Миронович Гиндилис (1937–2001) – крупный генетик и психиатр, доктор биологических наук. Среди прочего, он занимался и такими “закрытыми” в СССР темами, как генные повреждения у космонавтов и работников атомной отрасли. Не считал себя диссидентом, хотя всегда “внутренне был настроен против режима”. В 1991 году он эмигрировал в США, где и написал свои воспоминания.

В книге две части. В первой Гиндилис в основном рассказывает о событиях “общего характера” (быт – семья – круг общения), вторая же посвящена профессиональным вопросам. Материал собран пестрый, но интересный – ведь автору довелось иметь непосредственное отношение сразу к нескольким узловым, знаковым событиям и явлениям своей эпохи.

Он был современником (и активным участником) возрождения отечественной биологии после череды лысенковских погромов. Не слишком вдаваясь в научную специфику, мемуарист выразительно передал атмосферу, царившую в советской генетике и психиатрии в 60–80-е годы, сочными штрихами набросал портреты ученых, с которыми ему довелось работать или общаться.

Интеллектуальные досуги Гиндилиса были связаны со знаменитой квартирой на улице Горького, 6, где жили Лев Копелев и Раиса Орлова, бывали известные писатели, ученые, правозащитники. Здесь он познакомился со своей будущей женой Натальей Броуде (тоже биологом). В этом кругу, объединявшем людей разных профессий и устремлений, Гиндилис оказался вполне своим человеком. Умный, симпатичный, общительный молодой ученый, типичный представитель естественных наук в обществе гуманитариев, заядлый полемист, он не затерялся в этой элитарной полудиссидентской тусовке. Интересны его воспоминания о встречах с Сахаровым, Анатолием Марченко, рассказ о поездке к Бродскому в ссылку (с целью медицинского обследования поэта),

едкие отзывы о Солженицыне. Мемуарист пишет о “пророках” и “властителях дум” без пафоса и заискивания. Это взгляд как бы чуть-чуть извне, но этим-то он и ценен. Не обошлось, конечно, и без еврейской темы. В той сфере, где трудился Гиндилис, вопрос о “пятом пункте” стоял особенно остро, тем более во времена массовой эмиграции в Израиль. Научное и университетское начальство было призвано блюсти чистоту рядов. В книге Гиндилиса много недобрых отзывов о таких блюстителях (в том числе – и поныне занимающих высокие академические посты). Оголтелых борцов с призраком сионизма мемуарист без всяких политкорректных затей именуется “жидофобами”.

Щепетильный по части свидетельств очевидца, Гиндилис резко пристрастен в некоторых комментариях. Публикаторы “Эпизодов...” даже задумывались: не “причесать” ли текст, убрав из него “сомнительные места”? Однако в результате оставили воспоминания без изменений. И правильно сделали – быть может, эта книга несовершенна с точки зрения строгих литературных законов, но как свидетельство эпохи и характерное воплощение ее духа она заслуживает серьезного внимания.

Αίτιοί τῆς ἐπίστασις

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ

Тайны еврейских мудрецов, т. 9

Киев: “СН-Столичные новости”, 2008. – 304 с.



Серия, основанная в 2004 году, оставляет двойное впечатление. За пять лет рубрикация сборника практически не претерпела изменений. Разве что раздел “Еврейская народная медицина” исчерпал себя, не дотянув до последнего тома. Да и круг авторов (весьма немногочисленных) мог бы расшириться куда значительней. Видимо, когда-то составители сделали “нарезку” из различных изданий и до сих пор используют ее как основу для очередного блюда-тома. Источники – классические еврейские тексты (Танах, Талмуд, мидраши), а также вполне уважаемые персоналии – от Хафец Хаима и Хазон-Иша до седьмого Любавичского Ребе. Проблема – в отборе цитат и соответствии их броскому, если не претенциозному названию.

Спору нет, большинство суждений более чем здравы и поучительны, но... слишком очевидны. Какую, например, тайную мудрость несет следующий отрывок из “Шульхан аруха”: “...после еды не следует много двигаться, поскольку из-за этого пища спустится в кишечник из желудка до того, как успеет полностью перевариться, и повредит ему; следует же немного пройтись и отдохнуть”? Разумеется, среди сотен цитат встречаются афористичные, оригинальные, глубокие и, главное, незатасканные мысли. Чего стоит, например, “Творец слышит всех и всегда. И всегда отвечает. Но порой Его ответ – „нет,“. Или меткое и ироничное: “Один человек пожаловался Хазон-Ишу, что он всю жизнь бежал от почестей, и те все еще не настигли его. Хазон-Иш мягко пожурил его: „Убегая, вы слишком часто оглядывались через плечо,“.

К сожалению, эти жемчужины теряются в откровенных банальностях вроде “Недостаточно заботиться о физических потребностях ребенка. Он ищет общения и ласки” (М. Адахан, “Аэробика духа”).

АВТОРИТЕТНО. СВЕЖО. ДОСТУПНО

Jews and Slavs, т. 19 Евреи, украинцы, русские. Очерки о межкультурном взаимодействии.

Под ред. В. Московича и Л. Финберга Иерусалим – Киев, 2008. – 424 с.



Доступный академизм – таков, как ныне модно выражаться, тренд сборника, посвященного украинско-еврейским отношениям. Научные статьи со множеством ссылок способны увлечь, как дежурно пишут в аннотациях, широкий круг интеллигентных читателей. Намек на чаемый читательский уровень – лингвистический плюрализм: из 24 материалов 13 написаны по-русски, восемь по-английски, два вышли на украинском языке и один (о Пауле Целане) – на немецком.

Воздержимся от оценки уровня публикаций – он гарантирован авторитетом соредакторов. Но для знакомства “на одной ноге” с проблематикой “украинского” тома “Jews and Slavs” не обойтись без примеров. Киевлянин Игорь Туров исследует феномен отношения хасидов к неевреям. Любопытен зеркальный аспект проблемы – народные поверья о магической силе евреев. На территории Галиции, например, был зафиксирован обычай поклонения славян-католиков могиле цадика, который спасал их от бед и хранил “от глада”. В Киевской губернии главы “местного самоуправления” обращались к цадикам с просьбой обеспечить их полям плодородие и защитить от саранчи. А макаровские крестьяне встречали главу хасидов Аарона Тверского хлебом-солью со словами “раввин наш, благодетель”.

Деликатную и малоизученную тему принятия еврейскими женщинами христианства поднимают Ольга Минкина и Дмитрий Фельдман. Случаи эти исключительны – и тем интересны. Так, дочь могилевского купца Биньямина Шпеера, крестившись, становится женой князя Долгорукова. О связях с домом, не прерванных столь радикальным шагом, свидетельствует некое переданное князем императору Иосифу II письмо “относительно евреев”. Известна также фигура Эмилии Невахович – дочери первого русско-еврейского писателя Лейбы Неваховича и матери великого биолога и физиолога Ильи Мечникова. А Лея Рафалович-Сталинская, жена адмирала Крейга, несмотря на переход в христианство, оставалась почитательницей Ружинского цадика, посылая средства на его содержание, испрашивая совета во всех делах и ведя с ним переписку на иврите.

Антиеврейскую шпиономию периода первой мировой препарирует Семен Гольдин. И речь не о предрассудках темной крестьянской массы, а о стереотипах, двигавших профессионалами из армейской контрразведки. Судите сами. Основанием для ареста Айзика Минского стало то, что он “все время был чем-то занят и куда-то спешил”, а также “стремился знакомиться с офицерами”. “Я сразу опознал в нем жида”, – докладывал агент. Большая часть обвинений формулировались в подобном духе. Вместе с тем, хотя дела на “евреев-шпионов” заводились с удивительной резвостью, единицы доходили до суда – слишком уж торчали из них “белые нитки”. Часто суды оправдывали обвиняемых, как это произошло, например, с шестью евреями из Судян, которым инкриминировались установка телефона (свидетель якобы видел провод длиной семь [!] верст, закопанный в землю) и снабжение немцев продуктами. Сам доносчик просил у обвиняемых прощения, признавшись, что поляки – конкуренты евреев подговорили его лжесвидетельствовать.

О евреях УССР – жертвах политических преследований 1953–1972 годов рассказывает Михаил Мицель. Краткие справки об осужденных и их “злодеяниях” очень рельефно передают дух эпохи. Среди серьезных “преступлений” (“в ресторане требовал, чтобы оркестр играл буржуазно-националистический танец Фрейлехс”) встречаются и почти анекдотические случаи – как, например, выступление на траурном митинге 6 марта 1953 года некоего Котлярского А.Н., заявившего: “Мы потеряли дорогого и любимого врага”.

События последних лет нашли отражение в обзоре текстов украинских интеллектуалов об украинско-еврейских отношениях, подготовленном Леонидом Финбергом. Интересен анализ антисемитских публикаций газеты “Русь православная”, сделанный Симоном Крайзом. Особенно заняты утверждения о засилии евреев в... православной церкви. “Талмудические правила прямо предписывают жидам вступать в ряды православного духовенства с целью проведения работы по осквернению престолов и алтарей, по развращению духовенства и растлению верующих”. Конец цитаты.

На этом фоне материалы о Василии Гроссмани, караимах в Восточной Галиции и украинизмах в поэзии Осипа Мандельштама выглядят не столь эпатажно. Впрочем, эпатаж и не входит в число обязательных достоинств академического издания, а сухости, чопорности и псевдонаучного словоблудия сборник лишен напрочь. Вердикт: рекомендовано всем, для кого иудаика – нечто большее, чем “буржуазно-националистический танец Фрейлехс”.

Михаил Гольд

которых мы живем, и селедка, которую мы едим, и водка, которую мы пьем, и цветы, которые мы любим, то есть все, что фигурирует в моих картинах, является „омерзительными клиническими отбросами,“, – с невинным видом замечает художник.

Иначе говоря, Рабин не нарушал правил. По крайней мере тех, что были прописаны в законах черным по белому.



Фантастичность происшедшего была именно в том, что Оскар Рабин сыграл по тем правилам, которые установила власть, и... обыграл ее.

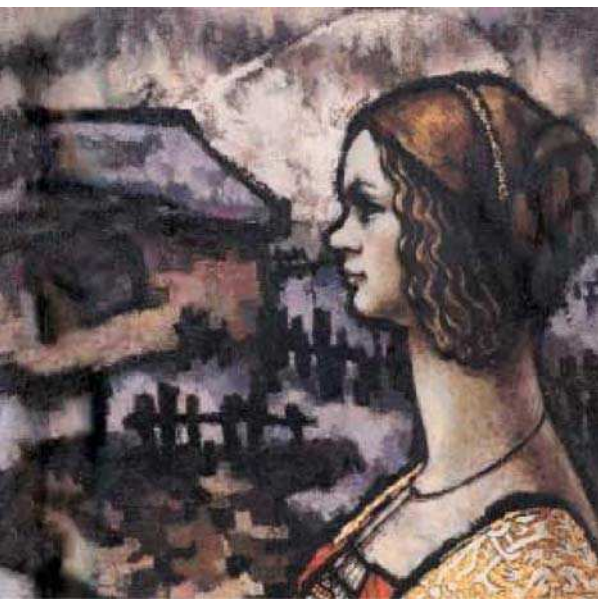
В заявлении для прессы в связи с лишением его гражданства летом 1978 года он сравнивает систему с “бюрократическим танком”, который ни для чего другого не предназначен, как только крутить гусеницами, пугать, давить, стрелять. Понятно, что для того, чтобы шахматная партия с “танком” была возможна, нужно как минимум, чтобы танк отказался от соблазна просто раздавить противника. Неудивительно, что, рассказывая о своей жизни, Рабин выделяет два рубежа: смерть Сталина, после которой в принципе стало возможно быть художником, “не кривя душой и не подделываясь под официальное искусство”, и лишение гражданства в 1978-м, когда он с семьей “оказался невольным эмигрантом в Париже, уже сложившимся художником”.

Вряд ли надо объяснять, что даже в условиях политического “потепления” вступающему в поединок с мирным советским “танком” нужны были хладнокровие и смелость. Позже в своих воспоминаниях Илья Кабаков напишет: “В 70-х группа художников повернулась и стала смотреть прямо в лицо тому самому орудию, которое нацелено на всех, в самое лицо страха, если так можно сказать. Но это стало возможно, когда угроза ослабела и испепеляющее действие страха уже не могло нанести ожога лицу, повернутому к нему. В 60-х годах смотреть в лицо этого безглазого, безротого чудовища, никто, кроме Рабина, не осмеливался”...

Краски вместо хлеба

Истоки бесстрашия Оскара Яковлевича – отдельная тема. Может быть, все дело в том, что ничего страшнее того, что пережил он, двенадцатилетним мальчишкой, когда зимой 1942 года в разбомбленной Москве у него умерла мама, быть уже не могло. Отец умер еще раньше, когда Оскару было шесть лет. Родители его были врачами, познакомившимся во время учебы в Цюрихском университете. Папа, Яков Рахмаилович Рабин, родом был из Украины. Мама, Вероника Леонтина Андерман, была из Латвии. Вспоминая 1942 год в Москве, Рабин напишет: “Оставшись дома один, в ледяной, черной от копоти комнате, я плакал долго и не мог остановиться. <...> Пока жива была мать, я постоянно чувствовал ее внимание и скрытую ласку. После ее смерти до меня никому не было дела, целый день я лежал под грудой одеял в замороженной комнате и думал только о том, чтобы поскорее наступило утро, когда пойду в магазин и отоварю свои 400 граммов черного хлеба. <...> Но, однажды шатаюсь по рынку, вдруг наткнулся на дядьку, который продавал

целый набор настоящих масляных красок! Не раздумывая я тут же поменял их на только что отоваренный хлебный паек”. Осенью 1942 года он записывается в художественную и поэтическую студию в Доме пионеров, которую вел Евгений Леонидович Кропивницкий. Кропивницкий стал его первым настоящим учителем. Позже дом Крапивницких станет для Рабина по-настоящему родным. А в 1950-м он женится на Валентине Кропивницкой, дочери Евгения Леонидовича. Их брак продлится 58 лет – до смерти Валентины Евгеньевны, о которой стало известно, когда эта статья готовилась в номер. Но тогда, в 1943-м, Рабин пробует попасть в действующую армию. В 1944-м, когда от гитлеровцев была освобождена Латвия, перебирается туда к родственникам матери. Страсть к рисованию привела его в Рижскую академию искусств. В Академии он учился и...



ночевал. “Но хуже бездомности был голод”. Он едет в Москву, поступает на второй курс Суриковского института, потом снова возвращается в Ригу. К 1947 году Рабин обнаруживает, что хуже бездомности и голода может быть отсутствие паспорта. После нескольких попыток самоубийства он обращается с письмом в Президиум Верховного Совета СССР о предоставлении новых документов. Паспортные мытарства повторятся в его жизни в 1978-м. Тогда нарисованный на картине “молоткастый, серпастый” на какое-то время останется единственным удостоверением личности. В 1990-м ему вернут советское гражданство. Он узнает об этом из объявления мелким шрифтом в газете, которую пришлют в Париж друзья. Новый российский паспорт ему с женой вручит посол России во Франции в 2006-м. Неудивительно, что картина “Три паспорта” (2007) выглядит символом земного пути.

Королевство ЛиАнозово и другие страны

Смелость Рабина проявлялась прежде всего в том, что он вел себя так, словно чудовищ, рожденных сном разума, не существует. Все равно как если бы человек, живущий в замке с привидениями, делал вид, что этих удивительных существ нет. Но Оскар Рабин, его жена Валентина Кропивницкая и двое их детей жили не в английском замке, а в бараке в Лианозово. Бараки с земляным полом остались от лагеря, который закрыли. И вместо заключенных туда поселили гражданских. Семье Рабина повезло: ему дали девятнадцатиметровую комнату в отсеке, где была еще только одна соседка.

Длинная комната со столбом посередине, к которому когда-то крепились нары, и стала местом, где начали происходить удивительные вещи. Например, вернисажи и приемы. Поскольку телефона, естественно, не было, то воскресенье было объявлено “приемным днем”. На прием поначалу являлись родственники и друзья: Лев Кропивницкий, ученики тестя Евгения Леонидовича Кропивницкого поэты Игорь Холин, Генрих Сапгир, художники Владимир Немухин и Лидия Мастеркова, Николай Вечтомов... Потом появились другие художники, любители искусств, потом коллекционеры... Потом и вовсе все желающие. Первую картину у Рабина купил собиратель русского авангарда Георгий Дионисович Костаки. Первого иностранного корреспондента привел в барак Игорь Холин с соблюдением всех правил подпольной

конспирации: американка А. М. оделась скромно, в электричке не разговаривала, внимания к себе не привлекала.

Дальше начались события из серии “очевидное – невероятное”. Английский коллекционер, владелец лондонской галереи Эрик Эсторик, купив много работ Рабина, пообещал устроить его персональную выставку в своей “Гросновер галери”. И слово свое сдержал. Выставка открылась одновременно в Лондоне и в... Лианозово. “Мы для себя тоже устроили вернисаж, – напишет в автобиографической книге Рабин. – Отобрали с Валеи фотографии проданных Эсторикю картин – дрянных, любительских фотографий, разложили на полу и, расхаживая по комнате, воображали, что находимся в лондонской „Гросновер галери,“. О выставке одобрительно отозвались ВВС и газета английских коммунистов, выразившая надежду на “продолжение культурного обмена между СССР и Западом”.

Иначе говоря, самый обычный маргинальный подмосковный барак вдруг начал обретать свойства центра, вокруг которого кипит жизнь. “Мысль, куда пойти, каких художников посмотреть, в 1960-х означала – к Оскару Рабину, мастерская которого была всегда открыта, и он очень спокойно, почти бухгалтерски-методично, отстраненно „показывал,„ – так описывает ситуацию Кабаков. – И там можно было найти все средоточие последних новостей – взаимоотношения с властями, с покупателями. С приехавшими художниками из других городов – весь комок напряжения художественной жизни, творческой и бытовой, содержался в оscarовской мастерской”. Позже, после переезда семьи Рабина на Преображенку, “приемы” продолжались уже в панельной многоэтажке.

Фактически Оскар Рабин спародировал жест власти. Власть стремилась расширить границы публичной жизни, добиваясь прозрачности частного мира для недремлющего ока Старшего брата (если вспомнить антиутопию Оруэлла). Оскар Рабин, напротив, раздвинул границы частной жизни, открыв “неофициальную”, частную жизнь для публичных споров, обсуждений искусства. Фактически Рабин придал “неофициальной жизни”, а тем самым и “неофициальному искусству” статус публичности. Одним словом, он вывел его из “угла” на сцену для всеобщего обозрения. Не зря друзья в шутку называли его “министром культуры”.

Среди жестов теневого министра, закрепляющих этот выход, было и создание музея неофициального искусства Александра Глезера, которого Оскар Яковлевич поддерживал, и выставка в ДК “Дружба” (1967), закрытая через два часа после открытия, и, наконец, “первый осенний просмотр картин на открытом воздухе” в 1974 году на пустыре в Беляево. На пустыре – потому что там общественный порядок невозможно нарушить. Здесь и произошла знаменитая битва художников с бульдозерами. Рабин тогда развернул картины, пытаясь показать их приглашенным зрителям. Дальше лучше дать слово очевидцу: “Разъярившийся бульдозерист сначала раздавил машиной холсты, а затем двинулся дальше. Рабин висел на верхнем ноже, подогнув ноги, чтобы нижним их не отрезало. На помощь отцу бросился сын. Кто-то из милиционеров остановил бульдозер.



Отца и сына бросили в милицейскую „Волгу,, и увезли”. Затем в битву включились поливальные машины и люди с плакатом “Все на субботник”. Потом вышедшие на субботник в воскресенье победно сожгли три картины.

Международный резонанс “бульдозерной выставки” принудил власти к миру. Уже в конце сентября в Измайловском парке на несколько часов был открыт “Второй осенний просмотр картин на открытом воздухе”. Этот open-air завершился без хэппенинга псевдоактивистов. А в ноябре 1974-го открылась экспозиция “неофициалов” уже в ЦДРИ. Как вспоминал коллекционер Леонид Талочкин, “ничего страшного не произошло, не считая того, что толпа зрителей сломала чугунные перила на лестнице и доступ желающих на выставку пришлось ограничить”.

Простой как Рубль?

Известность Рабина в качестве главного стратега “неофициального” искусства, как ни странно, сослужила ему не лучшую службу как художнику. В том смысле, что его собственные полотна критики предпочитали толковать так, словно были внимательными слушателями на том давнем партсобрании в худкомбинате. Защита художника была проведена так мастерски, что даже в откликах на нынешнюю выставку художника в ГТГ можно прочесть, что Рабин продолжает традиции передвижников и вообще критического реализма XIX века. Пока одни рифмовали бараки на его полотнах с “Последним кабаком у заставы” Перова, другие считали его знаменитый “Один рубль” “апофеозом безвкусного антизаказа”. Третьи охотно хватались за обманку-подказку самого художника, который назвал ряд своих работ “Русский поп-арт”, и начинали проводить параллели если не с Энди Уорхолом, то с работами Эрика Булатова. Благо Рабин действительно любит изображать фотографии и листы газет, постеры к выставке Ренуара и денежные купюры, разбросанные карты и собственный паспорт... В 1972-м он нарисует “Паспорт”, где в графе “национальность” напишет “латыш (еврей)”, а в невиданной графе “место смерти” укажет не без черного юмора: “под забором? в Израиле?” Тогда за кафкианским мотивом всевластия бюрократического порядка проступит едва ли не впервые очень личная тема национального самоопределения и отношения с родиной. Рядом с возможностью выбора национальности (латыш/еврей) неожиданно начинает брезжить другая альтернатива – выбор родины не по месту рождения, а по месту смерти... Но для этого нужно взглянуть на жизнь с другого, дальнего берега Стикса. Именно взгляд из-за временного предела часто определяет перспективу художника Рабина. Поэтому в его любви к символам цивилизации Гуттенберга вряд ли можно усмотреть следы постмодернистской всеядности. Иначе говоря, внешняя простота его живописи, где пространство тяготеет к плоскости, а экспрессия цвета ограничена графикой черного контура, весьма обманчива.

Мне-то кажется, что более правы те критики, что вписывают художественные поиски Рабина в русло экспрессионизма. А после выставки немецких художников группы “Мост”, показанной в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 2008 году, сходство это кажется особенно выпуклым. Дело не во внешних признаках, будь то сочный темный контур, которым обведены предметы или выделение немцами фрагментов, которые обретали “брутальную автономность и значимость некоего акцента-„аккорда,,”. Нетрудно видеть и смысловое сходство. Юрий Маркин в статье к каталогу выставки “Мост” пишет об эффekte, который

получали немецкие художники: “Изображение предметного мира превращалось в итоге в условную и внутренне экспрессивную проекцию мира реального, подчиненную идее „простых форм,, то есть обыденных предметов, превращенных в емкие... символы и знаки”. Но это именно то, чего добивался Рабин. “Я стал писать объекты-символы, наделяя их двойным смыслом, придавая им другую функцию, кроме общеизвестной”, – признавался художник.

Сближение работ Рабина с полотнами первых немецких экспрессионистов влечет за собой еще одну параллель. Художники “Моста” очень ценили гравюры Дюрера, восхищались “старыми печатными досками в Нюрнберге”. Их интересовали не только выразительные приемы великого графика, но и удержание мощного духовного потенциала Средневековья. Примерно те же задачи решал и Оскар Рабин. Отсылающий к чеканным образам раннеренессансных красавиц портрет Валентины Кропивницкой 1964 года (“Моя жена”), образы святых на фоне блочных домов в Химках-Ховрино аккумулируют ту же энергию духовного напряженного поиска. С этой точки зрения от работ Рабина до соц-арта или поп-арта так же далеко, как до луны. Он вообще не решает социально-критических задач. Он – о другом. Об апокалиптическом видении мира, забытого Б-га. Неудивительно, что его стилистика не изменилась после переезда в Париж.

В отличие от экспрессионистов, он не использует технику гравюры. Но ему явно импонируют ее суровая сдержанность и точность штриха. Интересно наблюдение Льва Кропивницкого, так описывавшего работу Оскара Рабина: “В его работах нет ничего от нашей русской расхлябанности и безответственности. Напротив – он отвечает за все. От качества грунта до строго найденной подписи. Он рационалист. Всякая случайность чужда ему. Все, что он делает, должно быть создано им. Состав краски и характер деформации, очередной экстравагантный прием и общий живописный эффект. Он никогда ничего не упускает. И не ищет вдохновенья. Он заставляет себя работать ежедневно в определенные часы и почти без неудач”.

Странным образом рационализм и строгая внутренняя дисциплина художника служат для передачи отпечатка мистического опыта. Опыт этот явлен в его работах с прямотой, которая может показаться безыскусной или декларативной. Но, сдастся, чем дальше, тем больше шансов у нее оказаться востребованной.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЕТОПИСЬ

Àéàñ Ðàíííííðð

Г. Франк на сцене амфитеатра МЕОЦа перед началом фильма “Вечная репетиция”



Режиссер Герц Франк

Вечная репетиция

Израиль, 2007

В МЕОЦе состоялась московская премьера фильма выдающегося режиссера документального кино, старейшины и лидера “рижской школы документалистики” Герца Франка “Вечная репетиция”.

Франк в Израиле с 1993 года, он ведет активный образ жизни, преподает в университетах Таль-Авива и Иерусалима, дает мастер-классы в крупнейших киношколах мира. Фильм включает кадры, снимавшиеся на протяжении десяти лет на репетициях израильского театра “Гешер” в Старом Яффо (район Тель-Авива), а также во время гастролей в Нью-Йорке и в Москве. Ранние кадры ленты датированы декабрем 1994 года, самые поздние – августом 2004-го, общий объем отснятого материала составляет более ста пятидесяти часов – хватило бы на документальный сериал. Режиссер смонтировал из этого фильм на сто семь минут экранного времени.

Тот, кто следит за новостями культуры из Израиля, прекрасно осведомлен о “Гешере” и его месте в израильской театральной жизни. Но когда Франк начал снимать, будущее молодого коллектива актеров из России во главе с режиссером Евгением Арье предсказать решались немногие.

Сегодня, видя снятые на сцене и за кулисами, в гримерках и в салоне аэробуса кадры, думаешь о том, насколько “Гешеру” с Франком повезло: сотни спектаклей других театров, тысячи достойных актерских работ не были запечатлены на пленку и, как ни

грустно, ушли в небытие, а у молодой труппы уже на заре ее существования появился собственный “летописец”, да какой! Репетиции он подает зрителю как самостоятельные спектакли, своего рода джазовые сейшен, где царит импровизация, участники по очереди солируют, а общее звучание подчинено внятному ритму, нанизано на отчетливую



мелодическую основу. Кстати, о музыке. В “Вечной репетиции” использована музыка Ави Беньямина (Ави Недзвецкий). Композитор родился в Эстонии, был создателем и участником популярной таллинской группы, музыкальным руководителем Русского театра в Таллине, работал в московских ТЮЗе и театре “Эрмитаж”. В 1991 году переехал в Израиль и стал музыкальным руководителем “Гешера”, за музыку к мюзиклу “Дьявол в Москве” (по мотивам Михаила Булгакова) признан в Израиле композитором года, написал музыку к спектаклю “Раб” (по роману Исаака Башевиса Зингера) и ряду других спектаклей. Пишет также для кино. Для его музыки характерно сочетание классики и модерна, он – соавтор многих успехов “Гешера”.

...Дорогого стоит проникнуть в прошлое и увидеть, как в “Гешере” репетировали “Одесские рассказы”, “Дьявола в Москве”, “Раба” или “Адама бен Келева”, заглянуть за кулисы МХАТа и Линкольн-центра. Но фильм “Вечная репетиция” – больше чем летопись одного успешного театра.

Что, собственно, делает художник? Что делает режиссер-кинодокументалист? И что, в частности, делает Герц Франк? Он подносит к жизни рамку и говорит: смотрите! Кадрирует действительность и показывает нам картину. Однако это обманчивая легкость, картина (а не любительское фото) получится только у мастера.

Необходимость написать рецензию о фильме или спектакле, как правило, мешает смотреть. Но я с какого-то момента об этой необходимости начисто забыл. Забыл, что мне нужно заметить “художественные приемы” и описать их. Я их попросту не увидел, настолько они уместны и не отвлекают внимания. Возможно, высшая степень мастерства – когда прием не виден, непонятно, как сделано.

Не думал я и о том, учитывают ли камеру актеры, постановочный передо мной кадр или нет. Позднее, анализируя увиденное, понимаешь, что работа автора фильма состоит здесь, главным образом, в отборе и в монтаже. И потом – в написании закадрового текста, комментирующего происходящее.

Фильму предпослан датированный 1923 годом эпиграф из записок художника К. Петрова-Водкина: “Не есть ли все Искусство только вечная репетиция к превращению самого человека в Искусство на сцене Вселенной?..” Сказано велеречиво, но вполне характеризует метод самого режиссера: каждый проживаемый момент жизни достоин запечатления, он интересен, поскольку многое сообщает о человеке, он, момент, – произведение жизни, но может, правильно увиденный, стать искусством, – утверждает Герц Франк “Вечной репетицией” и всем своим творчеством.

И в заключительных кадрах его фильма главные герои “Раба” Ванда (Е. Додина) и Яков (И. Демидов) застывают на экранном полотне, как на холсте живописца.

ВВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


Ààà Àðààèèííîî

Режиссер: Дэниел Левингард

Собственно говоря

(As a matter of fact)

США, 2008



Этому фильму, скорее всего, не суждено выйти за пределы специализированных фестивалей, что особенно жаль ввиду того, что он несет в себе меседж, не Б-г весть какой оригинальный, но подрывающий одну из ключевых установок современной американской цивилизации, наследницы кальвинистского этоса. Из конъюнктурных ли соображений (ради вписывания в вышеозначенные фестивали) или ради декларации дискретности бытия фильм построен как серия короткометражек с фиктивными титрами: режиссер Бу-бу-бу, продюсер Бла-бла-бла, в ролях Трам-пам-пам и Чири-бири-бом. В том числе и потому, что продюсер, режиссер и “в ролях” здесь, собственно говоря, почти одно и то же лицо – Дэниел Левингард.

Нью-йоркский невротик вудиалленовского типа, еврей-интеллектуал с букетом комплексов, в неизменных роговых очках, зеленых вельветовых штанах и мокасынах. У него дурацкое имя – Бруно Кальтенбруннер. Он говорит, что пытался когда-то сменить – то ли имя, то фамилию, но так и не собрался. Может, впрочем, это и не имя вовсе, а творческий псевдоним. Бруно – фотограф. Фотографирует индустриальные пейзажи, пожарные лестницы и помойные контейнеры, битые машины в Гарлеме и инсталляции из использованной бумажной посуды в фастфудовских забегаловках. Его фотографии вмонтированы в фильм и органично дополняют тот причудливый портрет Манхэттена, который создает эстет-оператор. Ибо второе лицо в этом фильме после режиссера и главного героя – это, конечно же, оператор, виртуоз, создающий свой Манхэттен – город, отраженный в зеркальных окнах небоскребов и очках мотоциклистов, в лужах и тонированных стеклах роллс-ройсов, город суровой неоготики и пожарных лестниц, голубей и крыс, спин и теней.

А еще есть Эллен. Просто Эллен. “Маленькая ухоженная женщина. Живет с дочкой и собакой. Серьезная и ответственная. Любит пряные духи, французские сыры и вводные конструкции”. Это то, что главный герой находит нужным сообщить о ней

таксисту – случайному, но самому задушевному своему собеседнику. И это, собственно говоря, то, что мы о ней знаем. Больше мы о ней не знаем ничего. Мы ее даже не видим – только на паре фотографий, ну и еще в самом финале, когда герой идет по залитому солнцем тротуару и видит ее на другой стороне улицы. Он машет ей и собирается перейти к ней, но она улыбается в ответ столь умиротворенно, что он остается на своей стороне и продолжает путь. Нет-нет, это вовсе не признак разрыва, это просто так у них получается, ну, или не получается. Ее искусственное, вероятно, спокойствие и литературная речь одновременно и завораживают героя, и лишают его способности – или желания – действовать.

Хотя он пытается, и не раз. В каждом из пяти сюжетов Бруно задумывает воплощение разных сценариев: то мести библейского размаха – первому мужу своей возлюбленной, то библейской же патриархальности. Он хочет предложить Эллиен руку и сердце, пригнав к ее дому три новеньких велосипеда – для будущих семейных воскресных прогулок. А потом звонит ювелиру и обсуждает нетривиальный дизайн обручального кольца. Он собирается жить с ней долго и счастливо, стать любящим отцом для ее дочери и завести с ней еще двух девочек и трех мальчиков, пускать петарды в рождественскую ночь, произносить благословение на вино в пятницу вечером, купить загородный дом в Пенсильвании и ловить там в озере радужную форель. Но прежде он, конечно, не может не позвонить ей и не спросить, нравится ли ей и дочке кататься на велосипеде или украшения из какого металла она предпочитает. И она отвечает ему что-то – мы не знаем что, – но он, слушая, встает, идет ставить чайник, делает себе тост, собирает объективы по карманам своих вельветовых пиджаков и под конец приглашает ее поужинать в одном милом веганском ресторанчике – он улыбается, но мы понимаем, что в затитровом пространстве, над морковным котлетками и грибными шницелями никаких брачных предложений не зазвучит. И так каждый раз. Ни один гештальт не завершен, ни один план не осуществлен – герои вполне довольствуются их обдумыванием и смакованием.

В картине последовательно воплощается чеховский принцип нереализованности, редкий в кино, искусстве сравнительно акциональном. Только здесь все смягчено этим парадоксально уютным невротизмом, растворенным в геометрии большого города, где стаканчик кофе из “Старбакса” вполне соразмерен браку, разводу и мировому рекорду. Чеховская неподвижность без чеховской депрессии, необязательность без охлаждения, ступор без фрустрации, бездействие без разочарования, неудача без надрыва. Поведение, максимально далекое от столь ценимой деловой культурой achievement orientation, – это anti-achievement anti-orientation. Это просто жизнь. Кто-нибудь спросит: зачем так жить? А, собственно говоря, зачем жить иначе?



ВСЕ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ

Αἰὲν Ἀδόκῆι τᾶ

Ровно год назад барышня Эми Уайнхаус из лондонского района Саутгейт была официально возведена на трон лучшей певицы планеты. На церемонии “Grammy” в Лос-Анджелесе ей присудили пять статуэток, из них три – “Лучший артист года”, “Запись года” и “Песня года” – из “большой четверки „Grammy,,”, для полного набора не хватило только “Альбома года”. Но и здесь справедливость не обошла певицу. Продюсер ее диска-триумфа “Back To Black” Марк Ронсон получил приз как “Продюсер года”.

Своевременный неформат

Незадолго до церемонии отец Эми Уайнхаус Митчелл заявил: “На „Grammy,, ей еще рано”, имея в виду, что дочуре, вообще-то, важнее разобраться со своим здоровьем и вредными привычками. А уж потом примерять на себя лавры мировой звезды № 1. Но Академия звукозаписи решила по-другому. Видимо, R’n’B-дивы, неизменно собирающие урожай “Grammy”, порядком поднадоели академикам. Многолетний диктат черного соула разнообразных модификаций никто оспаривать не собирался, но для разнообразия можно раз в три-четыре года давать “Grammy” какому-нибудь “неформатному” персонажу. Несмотря на шесть номинаций, Эми Уайнхаус до самого последнего не давали американскую визу. Голос голосом, а к людям, находящимся в столь непростых отношениях с алкоголем и наркотиками, власти США относятся невзирая на титулы и достижения. В итоге выступление Эми Уайнхаус транслировалось из Лондона через спутник. Это была классическая Эми, такая, какой ее впоследствии увидели зрители концертов европейского турне. Тощая, словно богомол, обильно покрытая гримом еврейка с пирсингом в губе, татуировками на плечах и огромной копной волос, уложенных в стиле 60?х. Победоносной гордости в позе Эми Уайнхаус было минимум, скорее можно сказать, что она с трудом держалась на ногах и часто ими перебирала. Тем не менее она не забыла посвятить свои награды матери, которая тут же выбежала на сцену и оказалась типичной еврейской мамой, которую легко представить на кухне где-нибудь на Молдаванке.

Оксюморон из лондонского предместья

Эми Уайнхаус выросла в семье таксиста и аптекарши, которые воспитали дочку в традициях любви к черному джазу, что, в общем-то, не слишком характерно для лондонского спального района. Где джаз, там и хип-хоп. Среди ее ранних увлечений были черные женские поп-группы вроде “Salt-n-Pepa” и “TLC” – любимиц MTV начала 90?х. Любой другой артист предпочел бы скрыть от биографов подобные пристрастия, но в

случае с Эми все наоборот: публика вновь открывает для себя канувшие в Лету поп-проекты лишь потому, что они вдохновляли главную певицу современности. В 10 лет Эми Уайнхаус вовсю читала рэп в школе, в 13 ей подарили гитару, в 14 она сочинила первые песни. В ее биографии также занятия в театральной школе с последующим исключением из нее за указанный выше пирсинг, к тому же в ее резюме есть строчка “работа музыкальным обозревателем”. То есть уже в очень юном возрасте она отлично знала, что нужно прессе и как артисту обратить на себя внимание. Вряд ли все ее скандалы были ею же самой трезво срежиссированы, но азы публичного “звездного” поведения у нее в подкорке были еще на заре карьеры. В возрасте 19 лет при содействии создателя прообраза всех “Фабрик звезд” проекта “Pop Idol” Саймона Фуллера Эми Уайнхаус подписала контракт с “Island Records”. Дебютная пластинка певицы “Frank” вышла в 2003 году.

Это был период, когда самым громким явлением на поп-сцене были тихие песни под рояль в исполнении дочери Рави Шанкара Норы Джонс. Диск “Frank” отсылал к Саре Вон и Билли Холидей и вполне вписывался в тренд, состоявший в простом тезисе из актива группы “Аукцион”: “девушки поют”. Новые джазовые исполнительницы не слишком соответствовали понятию “дива” и тем были симпатичны. Бархатный голос Норы Джонс и мягкая манера “Лолиты соула” Джосс Стоун были гораздо уютнее и ближе слушателю, нежели кричащий звездный лайфстайл Мэрайи Кэри или Дженнифер Лопес. Однако на роль девушки из соседнего двора лучше всего подошла, конечно, Эми Уайнхаус. Чем громче были скандалы с участием госпожи Уайнхаус, тем успешнее работал оксюморон, на котором строился весь ее дальнейший успех. В ее происхождении не было ничего аристократического, она была далека от напыщенного глянцевого мира, а ее страсть к кричащим нарядам и шокирующим прическам была на грани стиля “я надена все лучшее сразу”. Иногда она выглядела совсем как городская сумасшедшая. Регулярно позволяла себе появляться перед камерами в растянутых майках-”алкоголичках”, не скрывала следов ссор с видеомонтажером, драгдилером и по совместительству ее женихом (а впоследствии мужем) Блейком Филдер-Сивилом. То ложилась в реабилитационные клиники, то сбегала из них, умирала от обезвоживания, отменяла концерты из-за нервного истощения, а одну из своих “Grammy” посвятила памяти любимого папа, сгоревшего во время пожара в Камдене. Английская публика постановила: “она такая же, как мы”, и вскоре после выхода второго альбома Эми Уайнхаус “Back To Black” каждая вторая молодая британка усердно рисовала тушью на своем лице стрелки “как у Эми”, сооружала прическу-гнездо и высчитывала миллиметры для правильного расположения мушки-пирсинга. Все это сумасшествие нашло отражение в клипе Марка Ронсона на песню “Valerie”, где голос Эми Уайнхаус звучал только за кадром, а на сцену к продюсеру нескончаемым потоком поднимались клоны певицы, одна другой эффектнее, чтобы “спеть” в микрофон одну-две строчки.

И параллельно со всем шумом вокруг неумеренного стиля жизни и вычурного внешнего вида Эми Уайнхаус из динамиков всего мира лился ее потрясающий, ни с кем не сравнимый голос, признать который за “девушкой из соседнего двора” никак не получалось. Альбом “Back To Black”, состоявший из сплошных хитов, сопровождал жизнь, словно новый медицинский препарат, безусловно гораздо более оздоравливающего действия, нежели те, которыми увлекалась носительница голоса. Нам в уши влили новую жизнь, и передоза быть не могло. Песня “Rehab” “делала” любую вечеринку. Прочие номера складывались в единый гедонистический саундтрек, способный вывести из

ступора самого депрессивного сухаря. Было решительно непонятно, когда у этой девушки нашлось время до такой степени отточить свое авторское и исполнительское мастерство.

Примерно так же выглядели и концерты.

Автору довелось видеть самое, пожалуй, провальное выступление Эми Уайнхаус в 2008 году и самое триумфальное. В начале летнего сезона в Лиссабоне на фестивале Rock In Rio Lisboa мне показалось, что, наверное, со времен Дженис Джоплин мир не видел такого сочетания зависимости от препаратов и выдающегося таланта. Певица с синяком на шее и забинтованной рукой то и дело прикладывалась к бокалу, роняла микрофон, не к месту хваталась за гитару, моменты концентрации давались с трудом, а слезы легко лились из глаз. Она не стояла у микрофона, а, шатаясь, ходила мимо, но в те мгновения, когда голос попадал точно в микрофонную мембрану, от его красоты и точности захватывало дух. Несколько недель спустя Эми Уайнхаус пела в лондонском Гайд-парке на фестивале в честь Нельсона Манделы. Не было сомнений, что главная звезда, на которую собрались 42 тыс. зрителей, – не именинник и уж тем более не воссоединившиеся с Полом Роджерсом у микрофона “Queen”, а именно она, и вокруг нее здесь все крутится. Не было уверенности в том, что лечившаяся в тот момент от эмфиземы легких певица все же доберется до фестивального поля, но она приехала, исполнила две песни, а потом еще вышла на сцену в качестве основной вокалистки финального номера “Free Nelson Mandela”. Виновника торжества Эми Уайнхаус не вспомнила вне текста песни ни разу, зато упомянула в припеве находившегося в тюрьме мужа: “Free Blakey my fella” (“Освободите моего Блейки”).

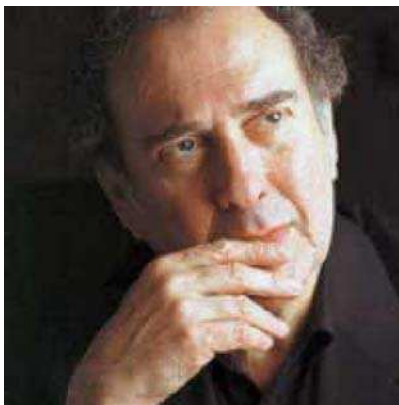
Новые берега, новые горизонты

Ясности в том, что будет представлять собой третий альбом певицы, нет никакой. Ее издатели, конечно, трубят о том, что новый материал носит “сенсационный” характер, а также сообщают о том, что Эми Уайнхаус “учится играть на барабанах”. Верится в это с трудом – данное занятие все же требует концентрации и координации. Есть и сведения о том, что великий Куинси Джонс попросил Эми принять участие в записи его нового диска, но, опять же, официального решения на этот счет нет. Зато ее брак можно с большой долей вероятности считать распавшимся. В ноябре 2008 года Блейк Филдер-Сивил сменил тюремную камеру на палату реабилитационной клиники, а по дороге из одной в другую заявил прессе: “Я должен отпустить ее, чтобы сохранить ей жизнь”.

Эми Уайнхаус встретила новый год на карибском острове Сент-Люсия и вознамерилась “зависнуть” там надолго – вдали от страстей шоу-бизнеса и лондонских соблазнов. Судя по сообщениям прессы, завершить работу над новым альбомом она хочет под здешним ярким солнцем, чередуя занятия музыкой с тренировками в фитнес-центре. Пока все говорит о том, что самая скандальная и самая талантливая певица современности “встала на путь исправления”. Вот только сможем ли мы верить “исправленной” Эми так, как верили порочной? 2009 год даст все ответы.

Гарольд Пинтер.

Первый после Хичкока



Вечером 24 декабря на семьдесят девятом году скончался выдающийся английский поэт и драматург, кавалер ордена Британской короны и лауреат Нобелевской премии в области литературы Гарольд Пинтер.

Лет десять назад “Нью-Йорк таймс” назвала Гарольда Пинтера “одним из двух жителей лондонского Ист-Энда, которые оказали огромное влияние на мировой кинематограф”. Вторым был Хичкок.

Если подумать, то сегодня невозможно говорить об английской драматургии или английском театре, не упоминая имени Гарольда Пинтера. Своим творчеством ему удалось совершить, казалось бы, невозможное для одного человека: изменить подход к драматическому искусству в стране в целом. Драматургия и театр разделились надвое – на “до” и “после”, и точкой отсчета новой эпохи английского театра стали произведения Гарольда Пинтера. Его драматургия, которую критики и театроведы попеременно называют то “комедией угроз”, то “драмой абсурда”, оказалась совершенно новым и уникальным явлением, после которого писать по-старому стало просто невозможно. Творчество Пинтера во многом сформировало – и продолжает формировать – тот театр, который мы сейчас знаем.

Гарольд Пинтер появился на свет 10 октября 1930 года в одном из беднейших районов лондонского Ист-Энда – Хэрни в семье еврейского портного, перебравшегося когда-то в Британию из Одессы. В Хэрни проходило детство драматурга, здесь он, окончив школу, устроился на свою первую работу и несколько лет зарабатывал на жизнь тем, что разносил еду и мыл полы в дешевых закусочных. Денег едва хватало, чтобы сводить концы с концами, и Пинтеру пришлось бросить Королевскую академию драматического искусства, обучение в которой он пытался совмещать с работой. Несколько лет будущий Нобелевский лауреат под именем Дэвида Бэрона колесил по английской провинции в составе различных театральных трупп, но совершенно безуспешно: его актерский талант, о котором критики отзывались крайне прохладно, не снискал Пинтеру славы. Да и постановки были не из тех, что делают из простого человека мегазвезду. В конце концов, молодой человек понял, что занимается не своим делом, и оставил театральные подмостки. Но не театр.

В конце 1950-х годов имя Гарольда Пинтера вдруг как-то сразу зазвучало. Это произошло благодаря первой же его работе в драматургии: в 1957 году в бристольском

театре поставили его пьесу “Комната”. Спектакль имел поистине оглушительный успех, и этот успех перевернул судьбу молодого человека, утвердив его в намерении стать драматургом. Несколько месяцев спустя “Комната” уже собирала аншлаги в Лондоне.

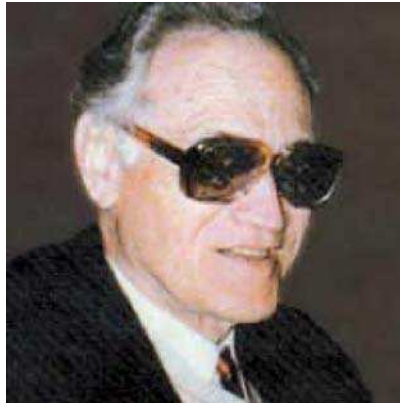
В жизни часто случается так, что за первым успехом следует провал. Так было и с Пинтером: после благосклонного внимания к его первой пьесе критики и публики неудача “Дня рождения”, продержавшегося в репертуаре всего неделю, была крайне обидной. Но не стала фатальной. Уже в начале следующего десятилетия Гарольд Пинтер один за другим выдает шедевры, ставшие сегодня классикой мировой драматургии и принесшие своему автору признание.

За тридцать шесть лет, с 1960 по 1996 год, по сценариям Гарольда Пинтера было снято множество известных кинофильмов во многих странах мира, начиная со знаменитой трилогии Джозефа Лоузи (“Слуга” – “Несчастный случай” – “Посредник”). Сегодня пьесы Гарольда Пинтера переведены на десятки языков и на карте мира нет такой страны, где его имя не встречалось бы на театральных афишах. В последние годы Гарольд Пинтер несколько отошел от драматургии и посвятил все свое время поэзии. Пинтер много болел, возраст стал брать свое. Недавно врачи поставили страшный диагноз – рак печени. Знаменитый драматург не привык сдаваться – его характер просто не допускал бездействия, а жизнь научила бороться до конца. Однако 24 декабря Гарольда Пинтера не стало. Нам же остались его замечательные пьесы, которые еще не одно десятилетие будут вызывать смех и слезы у отзывчивого зрителя.

Αἰδὸν Ὀὶ δέει

Эдуард Нитобург.

СТАРОСТЬ – ЗИМА только ДЛЯ НЕВЕЖД



27 декабря, в Москве, не дожив до 90-летнего юбилея всего один день, скончался выдающийся историк, специалист по этнологии и социально-политической истории США и Латинской Америки Эдуард Львович Нитобург. Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно выступал со своими статьями в нашем журнале. Успел даже поздравить сотрудников журнала с Ханукой, не успел только завершить последнюю статью, готовившуюся для “Лехаима”.

Эдуард Нитобург родился во Владикавказе 28 декабря 1918 года. Мать умерла через год, отец служил в Красной Армии, мальчик оказался в детдоме, но вскоре его забрал к себе дед, сын кантониста и “николаевского солдата”, с ним он и рос до двенадцати лет. Затем три года жил с отцом в Архангельске и Детском Селе под Ленинградом (Царское Село). Комнату в одном из общежитий отец, Лев Владимирович, одаренный прозаик, публицист и журналист, получил благодаря протекции родственницы – Марии Львовны Маркус, жены С.М. Кирова. В соседней комнате “квартировал” художник К.С. Петров-Водкин. В 1934 году отца арестовали, в 1937-м он был расстрелян, реабилитирован в 1957-м. С пятнадцати лет Эдуарду не на кого было полагаться, и это сформировало его характер: ежедневная, напряженная работа – главное содержание жизни.

В 1960 году начинается самая плодотворная глава в трудовой и творческой жизни Эдуарда Львовича: он становится сотрудником недавно созданного сектора народов Америки Института этнографии АН СССР. Здесь защитил докторскую диссертацию, стал ведущим научным сотрудником. Основными направлениями его научной работы были этническая история, теоретические проблемы этнических процессов и формирования наций, проблемы расизма и межрасовых отношений. Особое внимание в своих исследованиях он уделял черным жителям Америки, достаточно перечислить ряд его работ: “Черные гетто Америки”, “Негры США. XVII – начало XX в. Историко-этнографический очерк”, “Церковь афроамериканцев в США”, коллективная монография “Африканцы в странах Америки. Негритянский компонент в формировании наций Западного полушария” (автор нескольких разделов). На 90-м году жизни Эдуард Львович закончил свою итоговую книгу, которая должна выйти весной, – “Афроамериканцы США, XX век. Этноисторический очерк”. Эта его последняя монография – в полном смысле творческий и человеческий подвиг.

В начале 1990?х годов его как исследователя заинтересовали судьбы еврейской общины в США, и в 1996 году появилась книга “Евреи в Америке на исходе XX века”. Затем он обратился к мало изученной в нашей стране, но очень значимой теме – и в 2005 году вышла его книга “Русские в США. История и судьбы, 1870–1970. Этноисторический очерк”. Воистину, прав был Вольтер, сказав: “Старость – зима для невежд и время жатвы для ученых”.

Эдуард Львович был редкостно скрупулезен в отборе фактического материала, глубинно основателен в его осмыслении. Работая на стыке различных наук – истории, этнологии, этнопсихологии, религиоведения, он много сделал для насыщения исторических сюжетов этнической “плотью и кровью”, равно как этнологические его работы по-настоящему историчны. Нитобург – из круга тех ученых, кто фактически создал новую научную дисциплину – этноисторическую американистику.

Продолжая в последние десятилетия жизни вести огромную научную работу, Эдуард Львович находил время и силы двенадцать лет подряд читать спецкурс по истории и этнографии евреев США в Государственной классической академии им. Маймонида.

Эдуарда Львовича, талантливую, многогранную исследователя и преподавателя, высоко ценили и уважали коллеги по академическим институтам и вузам, где он работал. Он был очень доброжелательным человеком, а потому к нему с искренней симпатией относились все, кто с ним сталкивался по работе и в разных жизненных ситуациях. А таких людей за много десятилетий жизни Нитобурга было много. Таким он и останется в истории отечественной науки и в нашей памяти.

Αἰδὸν Ὀι ὀεί

АНАТОЛИЙ ГУРЕВИЧ

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ “КРАСНОЙ КАПЕЛЛЫ”



В ночь с 1-го на 2-е января 2009 года в Петербурге на 96-м году скончался Анатолий Маркович Гуревич – легендарный советский разведчик, известный под псевдонимом Кент. В декабре в Государственном Кремлевском дворце проходило вручение премий Федерации еврейских общин России “Человек года 5768/2008”. Овацией встретил зал слова ведущего о том, что в номинации “Мужество” лауреатом назван советский разведчик Анатолий Гуревич.

А путь разведчика Кента начался сразу по его возвращении из Испании, когда Гуревича пригласили в “здание без вывески” и предложили стать кадровым сотрудником. После подготовки “сын богатых уругвайских предпринимателей” Висенте Сьерра прибыл в Бельгию для предпринимательской деятельности и быстро вошел в курс дел акционерного общества и советской резидентуры. Вскоре из “Центра” поступило задание: помочь швейцарской разведгруппе наладить прерванную связь с Москвой. Гуревич блестяще справился с поручением, узнал, что Гитлер готовит агрессию против СССР, и доложил в Москву. Было это за год до нападения Германии.

Летом 1940 года немцы оккупируют Бельгию. Советские разведчики, в большинстве своем евреи, покидают страну. А “Центр” назначает Кента главой резидентуры. Молодой бизнесмен заводит знакомства с немецкими офицерами.

До войны в Берлине действовали две группы, снабжавшие “Центр” информацией, и еще одна – в Праге. Неожиданно связь с ними прервалась, и “Центр” поручил Кенту выехать в Берлин и Прагу. Кент выяснил, что группа в Праге провалена; в Берлине он обучает радиста новой программе и новому шифру; встречается с Харро Шульце-Бойзенем, передавшим ему информацию: командование вермахта изменило планы на весну 1942 года – главный удар направляется на Кавказ. Вернувшись в Брюссель, Кент передает эту новость в Москву.

Гитлеру докладывают о неуловимых “пианистах”, и он приказывает создать специальную зондеркоманду “Красная капелла”. (С легкой руки послевоенных журналистов это название укоренилось за советской разведсетью.) В лапы зондеркоманды один за другим попадают разведчики, в ноябре 1942 года хватают и Кента. В гестапо решают использовать Кента в радиоигре с Москвой. Его допрашивает сам Мюллер. В Москву по шифру Кента идут сообщения, сочиненные гестаповцами. Анатолий Маркович исхитряется дать понять, что он “под колпаком”, и радиоигра идет под диктовку Москвы.

Начальник ГРУ дает указание Кенту: приступить к вербовке гестаповцев (!). В результате фантастического психологического поединка Кент доставил в Москву руководителя зондеркоманды, его радиста и секретаршу, да еще вдобавок с чемоданами сверхсекретных материалов. В июне 1945 года самолет с немцами и Гуревичем приземлился в Москве. И прямо с аэродрома всех отправили на Лубянку.

Была у разведчика и личная жизнь, правда, тесно связанная с делами. В Брюсселе Кент познакомился с семьей венгерских евреев Барча. Когда старшие покидали Бельгию, попросили “уругвайца” позаботиться об их дочери Маргарет. Вскоре дружба переросла в обоюдное глубокое чувство. Маргарет арестовали тогда же, когда и Кента. В гестапо возник дьявольский план: дать возможность им встречаться, ведь угроза жизни Маргарет заставит Кента быть покладистым. Уже в лагере у нее родился сын Мишель. В один черный день Кенту сообщили: Маргарет, Мишель и ее дети от первого брака погибли во время бомбежки лагеря...

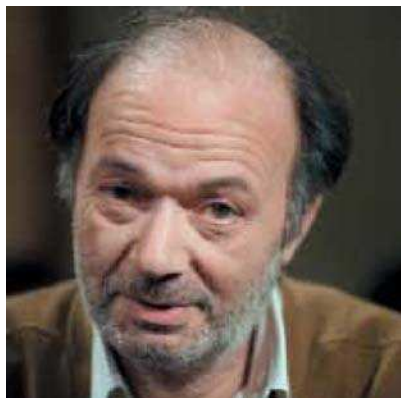
В ноябре 1990 года в квартире Гуревичей раздался звонок. “Папа, я Мишель!” – кричал в трубку незнакомый мужчина. Ни в гестапо, ни на Лубянке Кент не падал в обморок, а тут лишился чувств... Мишель не раз приезжал с женой и сыном в Петербург. От него Гуревич узнал, что Маргарет и Мишель разыскивали его, но никто не знал настоящую фамилию Анатолия Марковича. Маргарет умерла в 1985 году. А Мишель продолжал поиски.

Главный раввин России Берл Лазар в послании соболезнования вдове Анатолия Марковича написал: “Светлую память о Вашем муже мы сбережем. <...> Его светлый образ сохранится в сердцах еще многих поколений”. Так и буде

Αἰδῶν Οἱ αἰεὶ

КЛОД БЕРРИ

ЕВРЕЙ, СТАВШИЙ СИМВОЛОМ ФРАНЦИИ



В парижском госпитале Сальпетриер 12 января от второго инсульта на 75-м году скончался легендарный французский режиссер, продюсер, сценарист и актер Клод Берри. Клод Берри – псевдоним Клода Берела Лангманна. Он родился 1 июля 1934 года в Париже в еврейской семье с польско-румынскими корнями, глава которой, Гирш Лангманн, был меховщиком и коммунистом. Во время немецкой оккупации родители были вынуждены оставить ребенка знакомым-неевреем, а сами скрывались в Лионе. Через полвека Берри приедет в Лион, чтобы снять фильм о французском сопротивлении “Люси Обрак”. Историю собственной жизни в оккупированном Париже он рассказал в картине “Старик и мальчик” (1967). С начала 50-х он играл маленькие роли – преимущественно в проходных фильмах, – но, не добившись успеха, решил стать режиссером. Тогда же Клод сменил фамилию – он считал, что Берри звучит более по-французски, нежели Лангманн, и это облегчит продвижение его картин. Неизвестно, преуспел ли бы он под своей настоящей фамилией, но как Берри сразу добился успеха. Первая же его комедийная короткометражка “Цыпленок” (1965) – о мальчике, который, пытаясь убедить родителей не убивать его любимую курицу, каждый день подкидывает в ее гнездо по яйцу, – снятая на деньги, занятые у друзей, завоевала приз Венецианского фестиваля и получила “Оскар”. Но следующего режиссерского успеха Берри, перешедшему на полный метр, пришлось ждать 20 лет.

За свою почти полувековую карьеру Берри в том или ином качестве принял участие более чем в сотне фильмов. Однако для всего нефранкоязычного мира он остается в первую очередь режиссером провансальской дилогии 1986 года “Жан де Флоретт” и “Манон с Источников” с Ивом Монтаном, Жераром Депардьё, Даниэлем Отюем и Эммануэль Беар. Фильмы способствовали росту популярности Прованса среди туристов и даже побудили многих иностранцев переехать туда. Сам Берри, впрочем, уверял, что больше прочих своих лент любит “Жерминаль” (1993) по Эмилю Золя – провансальская дилогия показывает трагедию индивидуалистов, говорил он, тогда как в “Жерминале” главным героем является рабочий класс, масса, что гораздо важнее.

Несмотря на зрительскую популярность фильмов Берри, они нередко подвергались критике. Рецензенты полагали, что режиссер потакает вкусам массового зрителя, расчетливо скрещивая приемы французской новой волны с голливудской манерой. Берри много лет дружил с Франсуа Трюффо, поэтому их картины часто сравнивали, однако в большинстве случаев сравнение было не в пользу Берри.

Основные удачи Берри связаны с его продюсерской работой. Он продюсировал многие из самых громких французских проектов последних десятилетий – фильмы об Астериксе и Обеликсе, “Африканца” Филиппа де Брока, мелодраму Жан-Жака Анно “Любовник”, “Кус-кус и барабульку” Абделатифа Кешиша, “Королеву Марго” Патриса Шеро. Среди спродюсированных им картин еще две выдающиеся экранизации – “Вальмон” Милоша Формана по “Опасным связям” Шодерло де Лакло и “Тэсс” Романа Полански по роману Томаса Гарди.

Берри на протяжении нескольких десятилетий считался на родине одним из самых влиятельных кинематографистов, “крестным отцом французского кино”. С 2004 года он возглавлял Французскую киноакадемию, на его смерть откликнулся Николя Саркози. В мире, однако, он был известен значительно меньше, оставшись по преимуществу “тением для внутреннего употребления”. Впрочем, Берри, ощущавший себя стопроцентным французом, едва ли искал мирового признания. “Я еврей, это часть меня, но я не эксплуатирую свое еврейство, – говорил он в 1993 году в интервью английской газете „Гардиан,, – не могу назвать себя практикующим иудеем, хотя и испытываю эмоциональный подъем, когда приезжаю в Израиль, а палестино-израильский конфликт ранит меня. Но моя французская сторона сильнее. По культуре я француз”

Áíðèñ Ñì óèèí



...один из пионеров мировой кинодокументалистики, сценарист в теоретич. кино, сказавший свои первые хроникальные ленты еще на фронтах Гражданской войны. <...> Новаторское построение большинства фильмов Вертова, по его словам, определила форма "внутреннего монтажа рассказанного революцией человека". Он придумал учение "Киноглаз", то есть съемки абсолютной правды и теория мирового восстания фактов...

ФЕВРАЛЬ

Борис Явелов

8.02.1949

60 лет назад, почти через полмесяца после того, как в конце января 1949 года в СССР была дана "отмашка" на начало громогласной антисемитской кампании против "безродных космополитов", И.В. Сталин подписал постановление Политбюро о роспуске объединений еврейских советских писателей в Москве, Киеве и Минске и закрытии альманахов "Геймланд" (Москва) и "Дер Штерн" (Киев). Документ был подготовлен писателем Александром Фадеевым, одним из основателей Союза писателей СССР и с 1946 года по 1954-й его председателем. За постановлением последовали аресты ряда еврейских писателей, а также журналистов и редакторов, сотрудничавших с Еврейским антифашистским комитетом (ЕАК). В большинстве все они были обвинены в шпионаже в пользу США. Двоих – Мириам Айзенштадт-Железнову и Шмуэля Персова – расстреляли. Были закрыты Еврейский музей в Вильнюсе, Краеведческий музей в Биробиджане, Историко-этнографический музей грузинского еврейства в Тбилиси; в середине февраля прекращены передачи московского радио на идише. Также в феврале было закрыто Московское государственное еврейское театральное училище имени Соломона Михоэлса, после чего уничтожили все существовавшие в СССР еврейские театры: в Минске, Черновцах, Биробиджане и – как заключительный аккорд – 1 декабря 1949 года ликвидировали всемирно знаменитый московский ГОСЕТ (Государственный еврейский театр). Комиссия ЦК в справке о ГОСЕТЕ утверждала: "Репертуар театра крайне неудовлетворителен по идейно-художественному качеству и ограничен узкими рамками национальной тематики".

11.02.1959

50 лет назад в лондонской газете "The Daily Mail" в подстрочном переводе на английский было опубликовано стихотворение Бориса Пастернака "Нобелевская премия" ("Я пропал, как зверь в загоне. / Где-то люди, воля, свет, / А за мною шум погони. / Мне наружу хода нет"). Стихотворение произвело на Западе сенсацию и сопровождалось тенденциозным комментарием, в котором вера поэта в конечную победу добра отождествлялась с ожиданием крушения советской власти. Текст "Нобелевской премии" вывез за границу парижский корреспондент "The Daily Mail" Энтони Браун, посетивший Пастернака 30 января на его даче в Переделкино. Поэт попросил его передать стихотворение своей французской знакомой графине Жаклин де Пруайяр, филологу-слависту и переводчице с русского языка, но Браун, человек сомнительной репутации, распорядился стихотворением по собственному усмотрению. Русская диаспора познакомилась с произведением по обратному переводу на русский, выполненному известным эмигрантским поэтом Иваном Елагиним. После лондонской публикации Пастернака вызвали к Генеральному прокурору СССР Роману Руденко, где ему было предъявлено обвинение по 64-й статье Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине). Угрожая дать ход уголовному делу, от поэта потребовали, чтобы он уехал из Переделкино на период визита в Москву премьер-министра Англии Гарольда Макмиллана, который вполне мог выразить желание с ним повидаться. Пастернак был вынужден отправиться в Тбилиси, где он пробыл с 20 февраля по 6 марта 1959 года.

12.02.1954

55 лет назад, нищим и забытым, от рака умер Дзига Вертов, один из пионеров мировой кинодокументалистики, сценарист и теоретик кино, снявший свои первые хроникальные ленты еще на фронтах Гражданской войны. Дзига Вертов, настоящее имя Давид (позже Денис) Абелевич (позже Абрамович, затем Аркадьевич), появился на свет в 1896 году в Белостоке (ныне Польша) в семье книготорговца. “Дзига” – по-польски “юла”, Вертов – от русского глагола “вертеть”, так что своим странным псевдонимом легендарный кинодокументалист подчеркнул динамизм и напряженную энергетику своих творческих исканий. Его творческий путь начался в 1918 году с работы в отделе хроники Москинокомитета, где он принимал участие в съемках и монтаже первого отечественного киножурнала “Кинонеделя”. В годы Гражданской войны Вертов разъезжал на агитпоездах, руководил съемками на фронтах: фильмы “Бой под Царицыном” (1919), “Агитпоезд ВЦИК” (1921). В 1929 году он снял признанный шедевр мирового киноавангарда “Человек с киноаппаратом”. Его искусство не укладывается в привычные шаблоны. Новаторское построение большинства фильмов Вертова, по его словам, определяла форма “внутреннего монолога раскованного революцией человека”. Он придумал учение “Киноглаза”, то есть съемок абсолютной правды и теорию “мирового восстания фактов... во имя мировой пролетарской революции”, но сам так и остался беспартийным, хотя и был награжден боевым орденом Красной Звезды (1935). Его последним прижизненным триумфом стал фильм “Три песни о Ленине” из советской кинопрограммы, удостоенной Гран-при на Венецианской международной выставке 1934 года (предшественница Венецианского кинофестиваля). Посмертная слава пришла на рубеже 1950–1960-х годов и, как это обычно бывало с отечественными авангардистами, с Запада – из Франции, Англии, США. С кинематографом также связали свою жизнь младшие братья Вертова – Моисей (Михаил) и Борух (Борис) Кауфманы, причем последний после войны обосновался в Голливуде и в 1954 году получил “Оскара” за операторскую работу. В 1957 году в качестве главного оператора он участвовал в съемках классического американского триллера “12 разгневанных мужчин”, римейк которого недавно с успехом продемонстрировал Н.С. Михалков на кинофестивале в Венеции.

15.02.1944

65 лет назад, за три месяца до начала тотальной депортации крымских татар, И.В. Сталину было направлено письмо, подписанное всемирно известным еврейским актером Соломоном Михоэлсом и другими руководителями Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), с предложением создать на территории Крыма Еврейскую АССР (Еврейская АО существовала на территории Хабаровского края с 1934 года). Письмо сначала поступило к курировавшему (вместе с НКВД) ЕАК министру иностранных дел В.М. Молотову и было отредактировано его заместителем, начальником Совинформбюро Соломоном Лозовским, революционером ленинского круга, расстрелянным в 1952 году. В преамбуле выправленного и завизированного Молотовым письма отмечалось: “Создание Еврейской Советской республики раз и навсегда по-большевистски, в духе ленинско-сталинской национальной политики решит проблему легальной государственности еврейского народа и дальнейшего развития его многовековой культуры. С этой проблемой никто не был в состоянии справиться в течение многих столетий. Она может быть решена только в нашей великой социалистической стране”. Документ содержал детальный план создания ЕАССР, которая мыслилась как национальный очаг всего мирового еврейства. Имеются указания на то, что на самом деле инициатором создания автономной еврейской республики была богатая еврейская община США и что Сталин всерьез рассматривал

возможность реализации этой идеи с помощью огромного американского кредита. На пост главы “советского Израиля” будто бы намечался Михоэлс, единственный, кто, помимо высших руководителей СССР, был посвящен в этот грандиозный и далеко идущий проект. Однако развитие событий пошло по совершенно иному пути. В 1948 году при мощной поддержке Москвы еврейское государство Израиль было создано – на те деньги, на которые рассчитывал Сталин, но совсем в другом месте. При этом вскоре выяснилось, что вопреки советским ожиданиям в дружеские объятия СССР новорожденное государство вовсе не стремится. А что касается письма ЕАК, то спустя несколько лет оно было использовано НКВД в качестве “вещдока” для фабрикации обвинений советской еврейской творческой интеллигенции и медиков в коварных буржуазно-националистических устремлениях и связях с международным сионизмом. Михоэлс, знавший слишком много, по прямому приказу Сталина был тайно убит в январе 1948 года, а двенадцать руководителей ЕАК после закрытого процесса расстреляли в августе 1952 года. Но с “врачами-убийцами”, “разоблаченными” в январе 1953 года, вождь разобраться уже не успел: в марте он был срочно затребован к Себе Верховным вершителем судеб.

18.02.1964

45 лет назад, в суде Дзержинского района Ленинграда начались слушания дела по обвинению в тунеядстве 24-летнего поэта Иосифа Бродского, будущего нобелевского лауреата, арестованного пятью днями ранее. За предыдущие четыре с половиной года его официальный трудовой стаж составил – о ужас! – девять месяцев. После возмутительного “обличения” поэта в паразитическом образе жизни, подкрепленного бессмысленными показаниями типа “Я Бродского не читал, но...” совершенно не осведомленных в деле свидетелей, было принято постановление о направлении подсудимого на судебно-медицинское обследование. Второе, выездное заседание суда состоялось 13 марта в Клубе строителей на Фонтанке, 22. Никакие справки о договорах с издательствами не помогли, и, несмотря на “оттепельные” времена, был вынесен максимально суровый для “преступлений” подобного рода приговор: “Выслать Бродского на пять лет в специально отведенные местности с обязательным привлечением к труду”. Журналистка Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) законспектировала оба заседания, и ее записи, размноженные на пишущих машинках в большом числе экземпляров, по существу положили начало легендарному самиздату. Доставленный по этапу в глухую деревню Норинская Коношского района Архангельской области, Бродский, благодаря заступничеству советской и западной творческой интеллигенции (А.А. Ахматова, К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, Д.Д. Шостакович, никогда не “страдавший” либерализмом поэт А.А. Сурков, Ж.П. Сартр и др.), спустя полтора года был освобожден с мотивировкой, гласившей, что приговор излишне суров и следует ограничиться отбытым сроком.

19.02.1924

85 лет назад в украинском городе Белая Церковь родился международный гроссмейстер (1950) Давид Ионович Бронштейн, блестящий шахматист, мастер атаки, наделенный редкой шахматной фантазией и виртуозным умением играть в цейтнотах. Высшее спортивное достижение Бронштейна – его победа в отборочном марафоне и матч в 1951 году с Михаилом Моисеевичем Ботвинником на первенство мира, завершившийся вничью 12:12. По регламенту ничейный исход означал сохранение шахматной короны за Ботвинником, чемпионом мира с 1948 года. Бронштейн внес значительный вклад в теорию дебютов, его творчество оказало и продолжает оказывать влияние на всех шахматистов, которые подходят к игре как к импровизационному процессу с



... выдающийся ученый-физик, в 1926–1928 годах стажировавшийся в Англии у великого Эрнеста Резерфорда, главный конструктор отечественного ядерного и термоядерного оружия... он был сыном еврейского журналиста Бориса Осиповича Харитона, в 1910-х годах редактировавшего кадетскую газету "Речь", развернувшую после Февральской революции кампанию против большевиков.

непредвидимым заранее результатом. По мнению многолетнего первого претендента на шахматную корону мира Виктора Львовича Корчного, крайне скупого на похвалы коллегам, Бронштейн в свое время глубже всех его современников понимал эту древнюю игру. А еще он был одним из главных реформаторов временного контроля в шахматах, с его легкой руки начались соревнования по быстрым шахматам. Бронштейн придумал идею поединка, при котором гроссмейстеры одновременно играют друг с другом несколько партий. Давид Ионович скончался 5 декабря 2006 года в Минске.

21.02.1879

130 лет назад уроженец Бердичева 23-летний сын купца 2-й гильдии Григорий Давидович Гольденберг, киевский революционер-народоволец, участвовавший в подготовке неудавшихся покушений на императора Александра II, в отместку за жестокое обращение с политическими заключенными застрелил харьковского губернатора князя Дмитрия Николаевича Кропоткина, двоюродного брата знаменитого "столпа" анархизма, учено-географа и историка князя Петра Николаевича Кропоткина. В ноябре того же года Гольденберг, в связи со своей национальностью прозванный друзьями-подпольщиками Гришкой Биконсфильдом (титул лорда Биконсфильда был сенсационным образом присвоен британскому премьеру Бенджамину Дизраэли, выходцу из семьи сефардов, в 1876 году), был арестован. В одесской тюрьме к нему посадили опытного провокатора Федора Курицына, а затем доставили к наделенному особыми полномочиями по борьбе с революционерами-террористами графу Михаилу Лорис-Меликову, министру внутренних дел. Там Гольденберг дал подробнейшие показания, сыгравшие решающую роль в последующем разгроме народовольцев. Осознав в разговорах с товарищами по заключению свое предательство, Гольденберг повесился в тюремной камере на полотенце в июне 1880 года. Перед смертью он написал исповедь, в которой открывал душу "знакомым и незнакомым честным людям всего мира": "Я думал так: сдам на капитуляцию все и всех, и тогда правительство не станет прибегать к казням, а если последних не будет, то вся задача, по-моему, будет решена..."

27.02.1904

105 лет назад в Петербурге родился академик (1953) Юлий Борисович Харитон (ум. в 1996 году), выдающийся ученый-физик, в 1926–1928 годах стажировавшийся в Англии у великого Эрнеста Резерфорда, главный конструктор отечественного ядерного и термоядерного оружия, трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), лауреат Сталинских (1949, 1951), Государственной (1954) и Ленинской (1956) премий. И все это при том, что анкетные данные ученый имел самые "отвратительные": он был сыном еврейского журналиста Бориса Осиповича Харитона, в 1910-х годах редактировавшего кадетскую газету "Речь", развернувшую после Февральской революции кампанию против большевиков. В 1922 году в числе пары сотен "неблагонадежных" представителей российской творческой интеллигенции по ленинскому списку Борис Харитон был выслан из России с запретом (под угрозой расстрела) возвращаться на родину. Свою журналистскую деятельность Харитон-старший продолжил в Берлине, а с 1924 года в Риге, где выпускал еврейскую русскоязычную газету "Народная мысль" и до 1940 года работал в редакции газеты "Сегодня вечером" – вечернего выпуска крупнейшей в Прибалтике русскоязычной газеты "Сегодня". В 1936 году русская эмиграция отмечала 60-летие отца будущего виднейшего советского "атомщика". Так что об анкетных данных Юлия Борисовича действительно можно сказать "отвратительные".